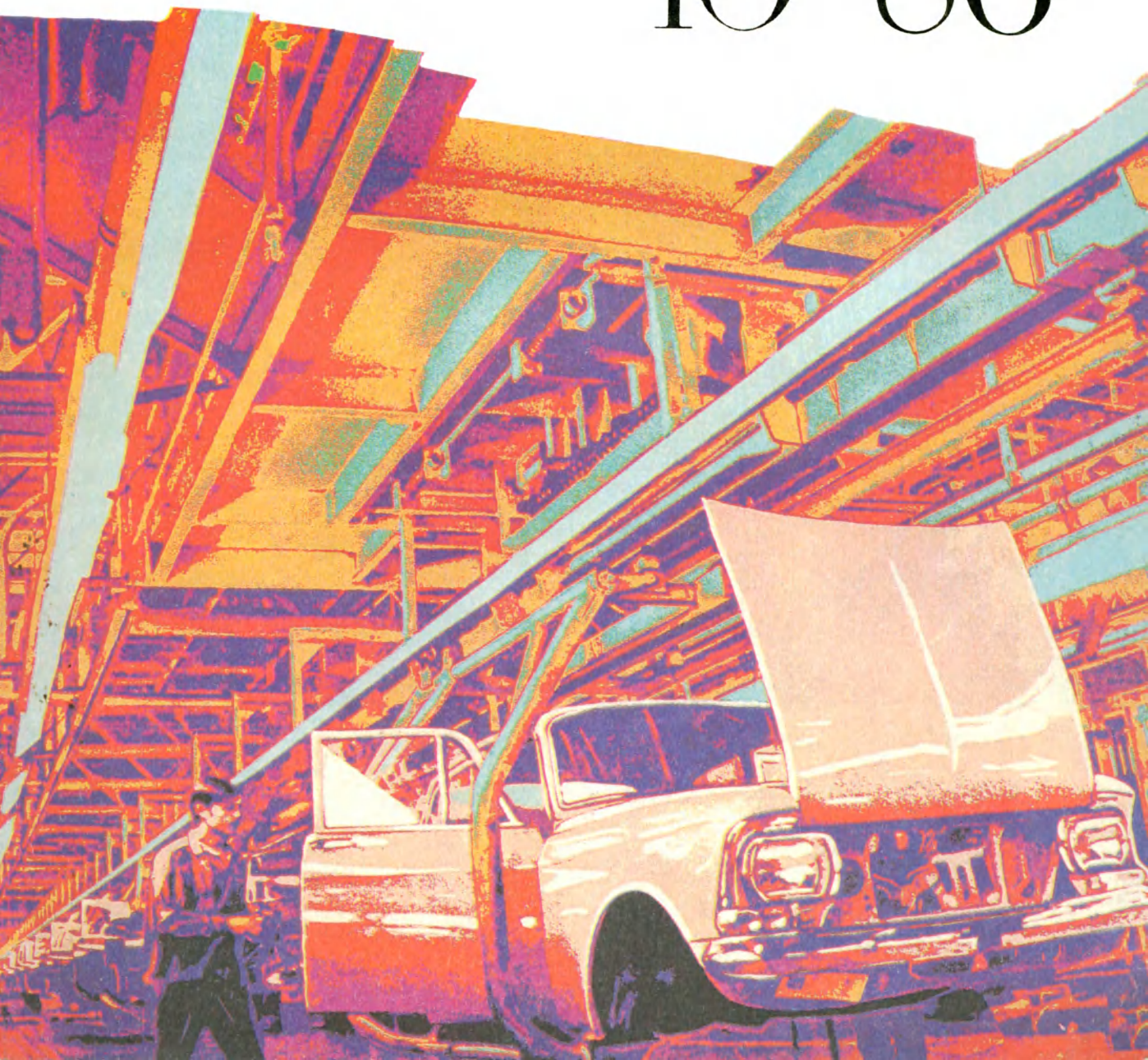


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

10 '86





Ю. ПАВЛОВ.

День Бородино.

ЮНОСТЬ

10

(377)

86



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Владимир АМЛИНСКИЙ. Оправдан будет каждый час... Повесть 3
Анатолий ГОЛУБЕВ. Высшая степень риска. Повесть 34

Поэзия

Константин САВЕЛЬЕВ 28
Лев КОСЬКОВ 28
Ольга НАРОВЧАТОВА 29
Владимир САЛИМОН 30
Геннадий БУРАВКИН 68
Вадим КОВДА 69
Вадим ШЕФНЕР 70

Публицистика

Галина ЮДИНА. Остановиться и подумать 71
Без фальши! Письмо читателю 73
Михаил ХРОМАКОВ. Встреча с человеком, который сказал «нет» . 75
Борис МИРОНОВ. «И все-таки я права...» 82
Алексей КАРЦЕВ. «Мы хотим всего — и немедленно!» 89

Критика

Надежда ВОЛЬПИН. Свидание с другом 94

Культура и искусство

Елена АНАНЬЕВА. То высокое, пламенное, сильное... 80
Савелий ЯМЩИКОВ. Первые грибоедовские... 106

Наука и техника

Завтрашние проблемы! Беседа с членом-корреспондентом АПН
СССР В. Г. Болтянским 101

Споры

Николай ДОЛГОПОЛОВ. А почему бы и нет!.. 107

*Зеленый
портфель*

Виктор СЛАВКИН. Love story. [История любви] 110

Оформление обложки
С. Костромина

Художественный редактор
О. Кокин

Художник
Ю. Цишевский

Технический редактор
О. Трепенюк.

Адрес редакции 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Т е л е ф о н ы:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 12.08.86.
Подп. к печ. 09.09.86.
А 11498.
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать
Усл. печ. л. 12,18
Уч.-изд. л. 17,62
Усл. кр.-отт. 18,48
Тираж 3 300 000 экз.
Изд. № 2431
Заказ № 3508.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

ВЛАДИМИР
АМЛИНСКИЙ



ОПРАВДАН БУДЕТ КАЖДЫЙ ЧАС...

ПОВЕСТЬ
ОБ ОТЦЕ
И ЕГО ВРЕМЕНИ

В

от уже который год я подступаю к этой повести и отступаю от нее. Я знаю, что должен, обязан ее написать, ибо никто другой этого не сделает — никто так не знал ее главного героя, никто так не помнит его, как я.

Его ученики стали профессорами, его учителей уже нет на земле, его ровесники уходят один за другим, а сам он то близок — кажется, набери номер и услышишь его голос, знакомый, как никакой другой, ведь он звучал для меня еще в те времена, когда я не понимал значения слов, — то далек, ибо нас разделил последний вечный водораздел.

Вот почему я подхожу к той полосе, к той местности, заселенной людьми, из которых многих уже нет, к тем вопросам, что решали судьбу этих людей, подхожу к этой полосе и останавливаюсь, будто передо мной заминированное пространство. Конечно, ничем не заминировано, наоборот, полно жизни, но удивительная эта жизнь, оборвавшаяся и невозвратная, навсегда перенесенная в прошедшее время и постоянно существующая в настоящем, ударяет, и словно что-то взрывается внутри.

Как говорил французский философ Гюйо: «Следовало бы, чтобы как исчезающий, так и остающийся так любили друг друга, чтобы тени, отбрасываемые ими в мировое сознание, слились воедино. Мы чувствовали бы тогда еще в этой жизни, что входим в бессмертие привязанностей, и на этом пути была бы найдена точка соприкосновения между смертью и бессмертием».

Да, с первых дней своего сознания многие годы я знал, что он есть, теперь и окончательно я знаю, что он был. Ну и что, все мы в конце концов здесь ненадолго, миг в исторической перспективе, а все же конкретная живая душа не соглашается с мировой абстракцией, никак не привыкнет, не примирится с потерей.

Рисунки
М. Лисогорского

Когда собираются его ученики и друзья, то вспоминают его любимые шутки, фразы, некоторые чудачества его характера, а я ловлю себя на том, что мне вовсе уже не кажется, что он сюда войдет и сядет, как принято писать

в таких случаях. но иногда я будто бы вижу, как он смотрит на меня издали, даже не знаю откуда, смотрит внимательно, с пристрастием, с ухмылкой какого-то невысказанного ожидания. Так смотрел он давно, когда я возился во дворе с ребятами, сквернословил со шпаной, всячески показывая, что я не хуже их, такой же отчаянный и бедовый, или, наоборот, торчал около подъезда с не стертой еще надписью «бомбоубежище» в окружении солидных мальчиков, книжечек и значков кино, и рассуждал о том, чем отличается роман «Тарзан» от одноименного фильма, и уже потом, в студенческие годы, сидел с девушкой на подоконнике третьего этажа, а он проходил мимо, не глядя, чтобы не смущать, но я чувствовал: смотрит вот так же внимательно, с пристрастием, с ухмылкой ожидания.

Так смотрит только отец.

Я пишу это в подмосковном поселке. Ранняя весна, точнее, еще не весна, а только запах ее; тревожный, сырой, что-то обманчиво обещающий ветерок. Дятел трудится совсем близко, то монотонно вкалывает, то выдает короткую дробь трескуче, будто пишущая машинка, то бьет трудными, внятыми, отдельными ударами так, что физически чувствуешь, как сотрясается его голова и как крошится кора.

Днем на солнце дружно начинают птицы, пытаюсь различить их голоса: вот зяблик, чистый хрупкий звук — и вдруг затаился, затих. Отчего?

Прогрохотав над лесом, почти вертикально поднимается самолет, белый, прижавший к фюзеляжу крылья, металлическое совершенство, чуждая этому лесу птица. Взлетел, чешуйчато-прозрачной стрелой сверкнул, и снова птицы ожили, зазвенели. Лишь на миг смущают птиц мощный рокот и взлет. Каждый день здесь взлетают сотни самолетов, небо впитывает их могучий жар, их дизельные испарения, потом этот жар низвергается на землю нефтяным осадком на траве и асфальте, а упрямый дятел продолжает свою работу. Птицы вовсе не оглушены, они звенят, стрекочут, щебечут, несмотря на содрогающий сопло, грозный и все-таки уже привычный грохот огромных машиноптиц.

По закону дисгармонии все это дружно сосуществует... Может быть, пока сосуществует, а потом белых стальных птиц с их огромными крыльями или вовсе без крыльев станет больше, чем этих маленьких живых, и уже не изумят зяблики, щеглы и дятлы тебя своим разнообразным гомоном, замолкнут, заглохнут. Сначала здесь, в подмосковном лесу близ аэропорта, а потом и дальше — всюду.

Нет, это еще не скоро, может, и никогда. А впрочем, что такое н и к о г д а? Ведь «природа — открытая книга», этому нас еще в детстве учили. И другому, еще более существенному: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».

До войны отец позволил себе поспорить с этим утверждением. На материале звенигородской экспедиции он написал статью о местных озерах и лесах, о том, как их засоряют, не считаясь с экологической структурой здешних мест, приспособливают для своих быстро меняющихся нужд. Нет, здешние озера, леса, обобщал он, не открытая книга, которую можно перелистать, как хочешь, загибая страницы. Это книга, требующая осторожности и глубочайшей ответственности, ибо мы далеко не исчерпали, не поняли главных ее мыслей, ее содержания.

Сейчас такой взгляд показался бы вполне естественным, сегодня всякий согласился бы с ним. Не-

которые на деле, иные только на словах, ведь сколько их сегодня есть, охотников мусолить, терзать, пачкать грязными пятнами эту книгу, читать ее так, как будто она однодневка... Но в те времена вызов общепринятой формуле «мы не можем ждать милостей от природы» воспринимался и трактовался как нападки на основы, был актом мужества, движением против волны.

Тогда ему досталось.

В письменном столе, где лежали деловые бумаги, письма, куски рукописей, в этом столе, в детские мои годы непонятном, скучном, как бы разделяющем мои живые и яркие интересы и его далекие, чуждые тогда моему воображению, в этом столе попала мне в послевоенные годы старая газета. Газета как газета: желтоватая бумага, бойкий мелкий шрифт, фотографии. Но вот знакомые буквы будто образовывали незнакомые слова. Незнакомые слова отливались в незнакомые понятия. И сам шрифт показался мне неприятным — жирный, обличающий, жесткий.

Много раз возникало слово «анти»: «антинаучная», «антиматериалистическая», «антимичуринская», «антилысенковская».

Мичурина мы проходили в школе. Мы изучали его гибридные яблоки, груши. Нам показывали их на ВСХВ, куда возили на экскурсию. Эти яблоки были больше обычных, яркие и глянцевиные, они походили на муляжи. На самом же деле их можно было есть, они оказывались вовсе не хуже, часто даже слаще обычных.

Все можно и должно было скрещивать, создавать неслыханные гибриды. Вывели даже породу тигрольва, я сам его видел в зоопарке: странное соединение двух великих хищников, каждый из которых считал себя царем природы.

Конечно, Мичурин был ни при чем. Я знал, что мой отец встречался с Мичуриным, что он уважает и ценит его опыты, потом уже я понял, что он был не против опытов, а против доктрины. Чувствовал, что к Лысенко он относится иначе. Я слышал, как отец говорил своим друзьям, горько усмехаясь и чуть понижая голос: «Нарастающее облысение науки».

Многого я тогда не понимал.

Много я не понимаю и сейчас.

Меня, имеющего представление о законах аэродинамики, и теперь самолет, казавшийся мне чудом в детстве, поражает тайной скачка, невидимого глазом отрыва от земли, парением многотонной, мощной и по-своему эстетически совершенной конструкции в небесах. Когда в редких случаях они разбиваются, люди полны изумления и страха. Я же втайне поражаюсь: как это они летают?.. Удивительное творение рук человеческих, лучшее средство передвижения — надежно, выгодно, удобно. И как бы ни сопротивлялись некоторые наши «пйзаны» и антиурбанисты стремительному изменению способа двигаться, а значит, и жить и мыслить, этот новый способ уже не отменишь. Самолет взлетел, летит, превращаясь в спутники и лунники. Но как примирить это движение с полетом птиц? Как восстановить или, скорее, остановить исчезающее равновесие? Птиц действительно меньше, они катастрофически убывают.

«Красная книга» природы как бы не стала «Белой», поседевшей от бедствий и потерь.

Отец начинал работать в биологии в середине двадцатых годов. Тогда в науку приходило первое поколение советских ученых — красная профессура. Но рядом с ними еще трудились, учили их люди, воспитанные на традициях эстетики и этики XIX века, основательные, полные уважения к оппоненту,

готовые вести спор до тех пор, пока не исчерпаны реальные доводы, ученые, старомодные в своей корректности, железные в своей верности на научном принципе. Они прошли великолепную отечественную и международную школу. Сколько раз в фильмах тридцатых годов их показывали оторванными от жизни, старорежимными чудаками с обязательным «батенька» и нахлобученной шляпой. Но карикатура не есть портрет. Можно вспомнить, конечно, и Полежаева-Тимирязева, романтически прекрасного и мужественного, но все же в текучке будней, в энергическом движении принято было видеть их отживающими свой век архаическими чудаками.

Молодое государство нуждалось в реализации науки, в материализации опытов, в результате. Настоящие ученые понимали свою ответственность перед людьми на фоне того, что происходило, — голода, разрухи, необходимости нового экономического скачка, но также они понимали и свою ответственность перед наукой, не терпящей насилия и нажима. Иные молодые энергичные красные профессора обещанием быстрых результатов отщесняли ученых прежней закваски, лучшие же учились у стариков и были благодарны за школу, которую удавалось пройти.

В середине тридцатых годов наша наука выдвинула многих новых, по-настоящему образованных, ищущих ученых. И как раз когда страна преодолевала немалые трудности, начался нажим на науку. Уже в тридцатом году были оборваны социологические исследования — анкетные, тестовые, опросные — нормальные инструменты, столь необходимые социологической науке. Были прекращены опыты социальной демографии. Первая, еще не оформившаяся, но перспективная школа советских социологов — Шабалкин, Дмитриев и другие — была разгромлена. Экологические исследования тоже были признаны бесперспективными. Подбирались и к генетике. Но авторитет, мужество Николая Ивановича Вавилова и его сподвижников тогда не позволили расправиться с нею. Вавилов был опорочен и изгнан из науки в сороковом году. Погиб он через несколько лет в саратовской тюрьме.

До войны проводился Всесоюзный съезд колхозников-ударников. На нем выступал Трофим Денисович Лысенко, громивший и изобличавший представителей менделеевско-морганического направления, — готовился приговор генетике.

«Бывает и так, что новые пути науки и техники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди, а совершенно неизвестные в научном мире люди, простые люди, практики, новаторы дела», — говорил Сталин 17 мая 1938 года в своей речи на приеме работников высшей школы в Кремле.

Вот одно из теоретических заявлений «практика и новатора дела» Т. Д. Лысенко: «В нашем Советском Союзе люди не рождаются. Рождаются организмы. А люди у нас делают — трактористы, мотористы, ученые, академики и так далее. И это без всякой идеологической чертовщины — генетики с ее реакционной теорией наследственности». Слова эти звучали как директива — синим карандашом по живому.

«Без правды науки нельзя создать правду нового общества», — отвечал ему академик Николай Иванович Вавилов, уже догадываясь, что за правду науки, может быть, придется заплатить жизнью.

В сорок восьмом году состоялась трагическая для отечественной генетики, да и всей биологии, сессия ВАСХНИЛ. Но об этом я еще скажу.

В нелегкие годы отец, как мог, служил правде науки.

Но, кроме биологии, была у него в жизни еще одна душевная потребность. Он был педагог и по лекторской профессии и по мироощущению. Сорок лет работы в медицинском вузе, создание кафедры биологии, заведование ею: несколько поколений научных работников, врачей. Кроме того, в двадцатых — тридцатых годах он работал в трудкоммуне беспризорных.

«Три года опустошающей, безостановочной, но необходимой мне работы с беспризорными, спасенный Матвеев, а в результате нужно доказывать тупой профсоюзнице Морозовой, что я занимался до аспирантуры общественной работой».

Так в тридцать втором году написано им в дневнике.

Не знаю, что это за тупая Морозова и где она сейчас. Скорее всего ее уже нет на свете, как нет и спасенного им от гибели, от самоубийства затравленного беспризорного Кольки Матвеева по кличке Плешь (он погиб на фронте), как нет и самого отца. Есть только труды, завершенные и незаконченные, дневники, память о нем. Память, может быть, больше, чем к прошлому, обращена к настоящему и к будущему. Не дай бог утратить нам память.

На стоянке такси встречаю широкоплечего квадратного человека, который смотрит не в сторону проносящихся мимо ищущих попутного ездки такси или «леваков», а почему-то упрямо — в мою. Да, он внимательно, даже, как мне кажется, с наглинкой смотрит на меня, точно чего-то ждет.

Скользнул по нему глазами, увидел подъехавшую машину, проголосовал. Оказалось не по пути.

Квадратный, не в силах больше прожигать меня ищущим взглядом, сказал:

— Ну, здравствуй, лысый черт!

— Почему же лысый? — в тон ему ответил я.

— Да нет, это я просто так... Ты, конечно, еще не лысый. Но плохо, что ты меня не узнаешь.

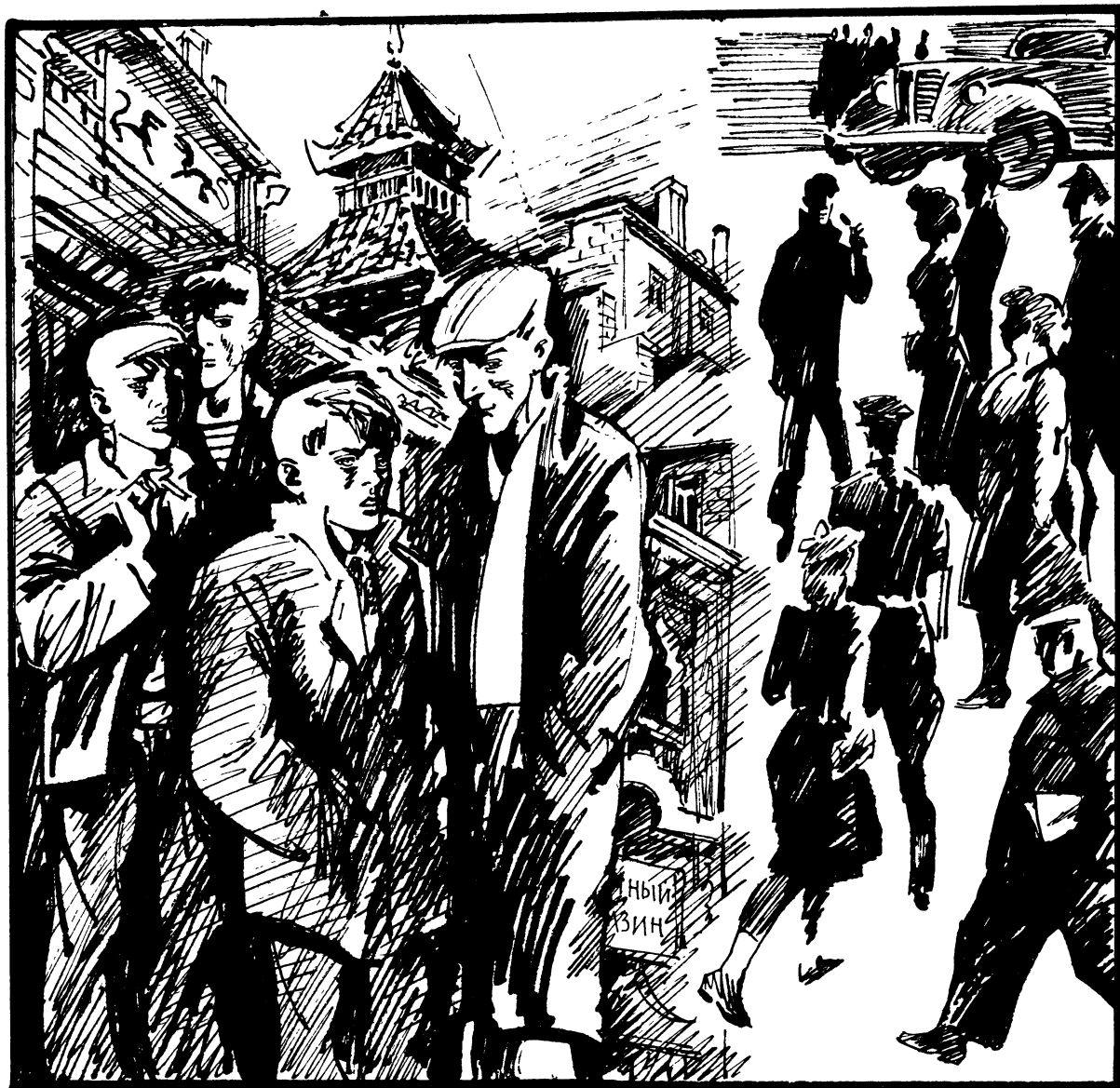
Странная aberrация зрительной памяти. Внезапный толчок, словно что-то щелкнуло внутри меня, — и вот совершенно незнакомое лицо, как на негативе, протупает чем-то давним и знакомым. Одутловатые щеки, узкие глаза, неподвижные, от которых не знаешь, что ждать.

Ботик — была его кличка, а фамилия — Ботвалинский.

«Ботвалинский, это ты?» — кричит учительница.

Сквозь десятилетия слышу ее полный ужаса голос. В классе действительно пахнет жженой карболкой. Это работа Ботвалинского.

У него трофейная немецкая зажигалка в форме снаряда. Она не горит ровным фитильком, а, как огнемет, выплевывает пламя. Я никогда не видел таких адских зажигалок. У Ботвалинского много удивительных штук: ножички, от крохотных до настоящего боевого кинжала с красно-белой эмалевой рукоятью и геральдическим орлом. Кто ему привез? Отец из Германии? В то время шел всеобщий Большой Обмен. Менялись монетами, марками, трофейными солдатиками, ножичками, серебряными мушкетерами-пробочниками. Это были, по сути, невинные предметы, трофейная экзотика. Но иногда в куче мелочей, вещей из незнакомого, дальнего обихода, как бы вынесенного на берег мощной бурей, попадались и другие предметы, посущественней. Снятые с ружей штыки, тесаки. А однажды у одного пацана я видел настоящий браунинг, маленький, плоский, как зажигалка. Да, по первому взгляду — обыкновенная зажигалка, но возьмишь на ладонь и поймешь: это не игрушка, не зажигалка, а серьезная вещь. Что-то запретно-влекущее



было в его вороненой тяжести, в тупом дуле; говорящее не об игре, а о смерти.

Зажигалка Ботвалинского была, конечно, другого свойства. Игрушка, притворившаяся оружием, но довольно опасная, она сильно и далеко плевалась стружкой огня. И вот — крик, тлеет что-то душно и вязко, никак не можем понять, что это так противно тлеет. Наконец обнаруживается — валенок соседа Ботвалинского по парте. В классе жарко, сосед снял валенок, а Ботвалинский подпалил.

Угрозы, выговоры, вызов родителей. После уроков появляется маленькая и уже заранее готовая плакать мать Ботвалинского. Она одна возится с сыном. Отец жив, но еще служит где-то в Прибалтике.

Станные отношения были у нас с этим Ботвалинским. Он смотрел на меня свысока, как на младшего, как на более слабого. Маленький ростом, он был не по годам плечист, голова круглая, крепкая, как

ядро, мощная короткая шея «амбала». Конечно, слово это возникло позднее и вошло сейчас в обиход, но сегодня я вижу Ботика именно маленьким «амбалом». Он занимал особое положение в классе и в обществе: был самый сильный. Сила, как мы знаем, много значит, в школе особенно, а в те годы, когда еще не знали новомодного каратэ, делающего хилыка не только неприступным, но даже и опасным, в те годы голая сила да еще характер выдвигали человека в первый ряд, определяя его во многих отношениях хозяином положения.

Ботик к тому же дружил с прибалтненными огольцами, хвалился, что знает и настоящих «блатарей», недавно вернувшихся из мест не столь отдаленных. У них он и набрался разных словечек и изумлял иногда класс обращениями: «Ну что притихли, ложкомойники, мелкота фраерская?»

Он был бледен, иногда нетрезв... Мы видели его



у пивных ларьков со старшими друзьями, в эти минуты он смотрел мимо нас, не узнавая. У каждого своя компания. Наша была ему неинтересна.

Весной нас особенно тянуло из душных стен класса на улицу, на улку, на «брод»... Нет, не на самый главный «брод», он был далеко, а на свой. Нашим «бродом» считалась Кировская.

Откуда взялось это дурацкое словечко «брод»? При чем тут Бродвей? Почему и до сих пор улицы главных городов называют ребята этим экзотическим названием? Бродвей, сверкающий рекламами, поражающий контрастами, удивляющий роскошью, убивающий нищетой, далекий и неизвестный, знакомый лишь по нескольким фильмам и по газетным статьям (все те же контрасты и прочее)...

Низкопоклонство? Нет, не думаю. Какое уж там низкопоклонство перед Городом Желтого Дьявола! Еще со стихов Маяковского и очерка Горького бы-

ло у нас к нему некоторое пренебрежение, смешанное с любопытством. Скорее всего — ирония по контрасту. В самых малых Васюках был свой «брод», главная улица, разительно не похожая, прямо-таки противоположная настоящему «броду». Вот от контраста и возникло и привилось это странное название.

Итак, стойкой ходили мы по нашему «броду», по улице Кирова. В этой стойке редко встречался Ботик. Я уже говорил, что у него была другая компания, его друзья носили кепочки-малокозырки с разрезом, наиболее шикарные ходили в синих прорезиненных плащах и белых кашне. Все они были старше Ботика. А между ними крепенький, как гриб-боровик, выступал Ботик с папироской в зубах и в куртке, переделанной из отцовского кителя. Нас он или не замечал, или в отдельных случаях встречал благодушно: «Салют, пацаны! Куда вы пилите?» «Просто так, Ботик», — отвечали мы.

Но просто так ничего не бывает. Улица, особенно вечерняя, властвовала над нами и звала нас. Что было делать дома, в переполненных коммуналках, в которых жило большинство из нас? Уроки?! Их все не переделаешь. Книжки? Все тоже не перечитаешь, хотя читали мы, можно сказать, жадно, но чаще всего не дома, а в библиотеках или читальнях, читалках, как мы их называли.

Особенно хорошо читалось летом. Мы располагались прямо во дворе под деревянным навесом дома № 2 по улице Чаплыгина. Была прекрасная читалка — филиал библиотеки имени Достоевского, ныне уже не существующий, — в Большевикском переулке.

Жаль, сейчас не делают таких летних читалок.

Итак, Ботик шел своим маршрутом, мы — своим. Мы с некоторой завистью смотрели ему вслед, уверенные, четкие шаги этой компании говорили о точности цели, о серьезности намерений... Как бы пахнуло ветерком чужой жизни, неведомых занятий, неизвестных развлечений. Что-то сомнительное было в них. Это мы ощущали, догадывались, но что именно, не знали до конца. Сомнительное с прикусом неведомой взрослой греховности манило.

Однажды с моим товарищем Витькой Араповым мы фланировали по Кировской мимо почтамта, мимо кружевного, похожего на пагоду, с золоченым свечением «магазина Чаеуправления», где можно было купить клюкву в сахаре. Со смаком давя клюкву, обсыпаясь сахарной пудрой, мы шли дальше.

Отца еще нет, можно и погулять, думал я. Уроки не сделаны — ничего, перезимуем. Отец в дневники не заглядывает.

Я любил, когда отец дома. В эти часы я никуда ни за что бы не пошел, но он приходил поздно, «он на кафедре», говорила бабушка. Именно — не в институте, а на кафедре.

Итак, идем дальше, мимо магазинов, мимо сурового здания на Лубянке, перед которым робеешь и затихаешь, наш «брод» утыкается в Дзержинскую, в метро, похожее на черный репродуктор, немного дальше — ресторан «Иртыш», ныне исчезнувший или куда-то перенесенный, его и еще несколько зданий поглотил теперешний «Детский мир».

— Ну что, погуляли? Пора и домой, — говорит Витька Арапов, рассудительный Арап, известный своей страстью к футболу, своим буквально подвизническим болельством за ЦДКА — настолько, что телефоны запоминал, как счет игр. «94-63-93» означало: «Динамо» (Тбилиси) — «Крылышки» (Куйбышев) — 9:4, ЦДКА — «Трактор» — 6:3, «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Ленинград) — 9:3.

С этим человеком мы жили в одном доме. Возвращаясь, мы поднимались на крышу, на чердак, игравший особую роль в нашей жизни. Странно, что в те времена чердаки не запирались. Шло это еще с войны, на чердаках дежурили тогда патрули по борьбе с последствием бомбежек.

Не знаю, что стало с тем патрулем, что дежурил в октябрьскую ночь сорок первого на чердаке нашего и соседнего домов. По соседнему дому, постоянно представлятельству Латвии, немецкий самолет шаракнул фугаской: прямое попадание. Наш же дом только задело, покорежило воздушной волной. «Контузило», — как невесело шутил отец. Стекла были выбиты, поврежден фасад, опалены стены, но дом остался жив.

Крепкий был дом и красивый. Строила его в конце прошлого века немецкая компания, не подозревая, очевидно, о том, что мирные это помещения через пятьдесят лет будут бомбить немецкие лет-

чики. Над одним подъездом восседал добродушный раскормленный лев с геральдическим щитом, над другим — пухлый и кудрявый амур. В нашем доме жили академик Чаплыгин, почетный академик Гамалея, жена Горького Екатерина Пешкова, у нее на квартире Ленин слушал «Аппассионату» в исполнении пианиста Добровейна.

У нашего дома был огромный чердак — целая улица с перегородками, пустынными помещениями, лесенками. В углу чердака стояла как бы трибуна, вершина нашего дома, отсюда был виден казавшийся особенно узким и маленьким Машков переулок, блестели Чистые пруды, окаймленные трамвайными линиями маршрута «А», зеленый с чистым озерцом оазис, зажатый асфальтом. Я любил смотреть, как катились игрушечные вагончики, как вскакивали на подножку крохотные, словно солдатики, пассажиры, как неслись черные игрушечные «эмки», пуская еле заметный завиток газа.

Еще этот чердак с его перегородками, отделениями напоминал палубу со множеством трапов... Да, палуба, да, корабль из резервов детского воображения, напичканного удивительными образами, из бедного опыта глаз, никогда не видевших на самом деле ни моря, ни кораблей, ни белых палуб; только лес, степь, оставшиеся позади несущегося вдаль от войны поезда, только окраина сибирского городка, наспех построенные бараки под холодным, свинцовым небом.

Вот почему притягивал бетонный чердак, эта железная крыша с ее пыльными лесенками — с нее открывался океан полузабытого в эвакуации родного города, разделенного на множество морей, на куски суши — асфальтовые и зеленые. Одно из морей простиралось от нас до Курского вокзала, где вечно двигался клубок точечных, как в немом кино, торопливо несущихся фигурок... Продолжая этот образ, владевший мною тогда, можно было бы сказать, что на волнах этих странных городских морей блестели огни бакенов-светофоров, что по их темным глубинам, светя фонариками, плыли корабли машин.

Все это было прекрасно и романтично, но, поднявшись на чердак, проходя мимо его пустых каменных ящиков по бетонному полу, от которого тянуло холодом, пахло кошками и мышами, мы теряли ощущение моря и корабля. Катились клочки бумаги, гонимые ветром, ее шуршание наполняло неожиданной тревогой. Казалось, слышался шум шагов, потом он затихал, когда мы останавливались; стоило нам двинуться, он снова возникал.

Мы с Арапом прошли еще десяток шагов, снова было безмятежно тихо, над нами в квадратном проеме чердака высвечивало холодноватое небо.

— А ну стойте! — раздался голос из темноты, из серых бетонных отсеков, усиливших его звук и придавших ему непреклонность железа.

Мы остановились. Фонарик беспощадно, слепя глаза, делая беспомощными движения, уперся сначала в мое лицо, потом, отбросив меня в чернильную мглу, переместился и обжег лицо моего товарища.

— Пойди-ка сюда... — Голос показался знакомым. — Вы чего тут болтаетесь по ночам? Здесь не ваше место.

— Сейчас посмотрим, что это за придурки, — сказал другой голос, незнакомый. — А ну-ка давай сюда, шевели костями!

Мы стояли, не двигаясь.

— Ты что, фраер, глухой? — спросил второй голос.

Я сделал несколько шагов, за мной — Витька Арапов.

Мы увидели свет, ярко и быстро сгорающий — будто пакля, облитая бензином, поыхала. Этот очень яркий и неровный свет вырвал из черноты четырех человек. Одного мы знали хорошо, других часто видели на «бродее». Это была как раз та компания, с которой мы только сегодня встретились на Кировской. Среди них и наш Ботик.

— А, старый приятель! — крикнул он. — Сосед по парте, строчкогон!

Его действительно недавно посадили за мою парту. На уроках он скучал, обыкновенно не слушал учительских объяснений, думал о чем-то своем или пугал всех своей зажигалкой, но чаще молча смотрел в окно. А в окне был квадратик неба, переполосованный пожелтевшей бумагой с торчащей из-под нее пыльной ватой.

Больше ничего.

Но и это ему было интереснее, чем все алгебры, физики и географии на свете.

На диктантах он всегда списывал у меня. Он не любил, видно, ни от кого зависеть, поэтому списывать ему было противно, тем более втихаря, осторожно, чтобы учительница не засекала. Он списывал, как говорили, внаглую, бесцеремонно, не таясь, повернувшись ко мне откровенно всем туловищем. Его выпроваживали из класса, пересаживали, но он снова ухитрялся сесть рядом со мной. Не то чтобы он любил меня или я был грамотнее других, просто он привык списывать именно у меня, а перед кем-то другим вертеть туловищем, поворачиваться он не хотел.

Оказывается, списывание, зависимость несколько не сближают людей. Я чувствовал, что он смотрит в мою сторону отчужденно, равнодушно, с полным безразличием, иногда с раздражением и всегда свысока. Да он на всех смотрел свысока, всех считал слабаками, хотя среди нас попадались ребята, умевшие и любившие драться. Но он не боялся никого, ибо был по-взрослому, по-мужичьи силен, с мощной хваткой не по возрасту и не по росту больших рук. У его компании, у огольцов постарше нас, были совсем другие интересы, привычки, нравы и занятия.

И вот сейчас мы столкнулись на чердаке.

Собственно, опасаться вроде бы и нечего. Сколько раз мы встречались на Кировской, и они даже не глядели в нашу сторону... Но то на многолюдной улице, на «бродее». А здесь чердак. Площадка, которую они считают своей... Подсознательно я чувствовал, что мы влипли в какую-то историю... Неизвестно, чем она закончится, но я старался взять себя в руки, держаться нормально, уверенно, ну примерно как разведчик, попавший в фашистскую западню, — все мы в то время мыслили именно такими категориями. Это укрепляло волю.

— Что там за пентюхи, Ботик? — спросил чернявый косоглазый парень в белой странной куртке, махровой, мохнатой, будто бы переделанной из халата.

Пакля, которую он держал в руках, погасла, и можно было бы попытаться уйти. Но едва я сделал шаг, как наткнулся на чью-то ногу и еле удержался.

— Один из моего класса, — сказал Ботик, — второго не знаю.

На самом деле он прекрасно знал, что Арапов учится в параллельном классе «Б».

— А кто им дал право ходить, где не надо? — важно сказал парень в махровой куртке.

— Это ты у них спроси, — буркнул Ботик, вроде чем-то обиженный.

— Вот и я спрашиваю! Повторить еще раз?

— А что такого? — сказал я. — Это же общий чердак.

— И на крышу вы вылезаете? — спросил он.

— И на крышу, а что?

— А с парашютом ни разу не прыгали?

Я не понял его и пробормотал:

— Нет, а что?

— Ботик, Филипп, Колюха, покажите им, как летают с парашютом.

— Если жить хотят — пусть откупятся, — произнес тонкий, сипловатый голос.

— Могут и откупиться, — подтвердил тип в куртке.

— Да у них ничего нет, я их знаю. Откуда у них? — сказал Ботик.

— А ты не жалея фраеров этих лапшовых. Залезли в чужой уголок, так пусть платят выкуп. Иначе спустим на парашюте с шестого этажа.

— У меня рубль есть, — прошептал перепуганный крепкий Витька Арапов. — Мать дала на мороженое.

— Рублем, милый, не отделаешься. Рубль — это не деньги, — сказал парень в куртке. — Предложи чего еще...

У меня тоже был рубль, но я чувствовал, что этого мало, что их вообще не очень интересуют деньги, что они играют в какую-то свою игру, еще непонятную нам до конца, игру на страх, а значит, надо не показывать, что боишься.

— У меня ничего нет.

— Мужики, ведите их на крышу.

— Да ладно, — сказал Ботик, — пусть они валят отсюда.

— Как это «пусть валят»? Ты что, Ботик, ненормальный?

— У этого, — Ботик кивнул на меня, — есть марки, он собирает. Пусть откупится.

— А ну-ка покажи свои марки, — распорядилась махровая куртка.

У меня действительно было несколько колониальных марок, наклеенных на картон. Я их показал Ботику на скучном, пыльном уроке алгебры. Они словно поыхнули жарким колониальным свечением, и непроницаемое, серое лицо Ботика озарилось их светом. Эти марки всегда согревали мою жизнь, вот и тогда они сделали бесцветный денек неправдоподобно ярким.

Но я решил своих марок не отдавать.

— Нет у меня ничего, — сказал я. — И вообще, пошли вы, гады! Нашлись тоже хозяева!

Из темноты двое тут же подскочили ко мне, скрутили руки, третий ударил по спине, двое потащили к узенькой лестнице, ведущей наверх, откуда был вход к верхушке чердака, «трибуне», как я ее называл. Я мысленно отметил, что Ботик шел в сторону, не ввязываясь, будто сопровождая.

Я на мгновение вырвался, но они тут же догнали, повалили на пол, я больно ударился головой о каменный пол, вдохнул запах пыли, сырости, чего-то еще, отдающего гнилью и бедой.

Они потащили меня наверх, подвели почти к самому краю. Я чувствовал, что они держат меня очень крепко. Стоял, не двигаясь, подсознательно понимая, что в их планы не входит, чтобы я полетел вниз с этой палубы, куда так любил забираться, вниз, на асфальтовую гладь московского океана. Но что-то им было надо. Я чувствовал, догадывался: они получают удовольствие от чужого страха. Им нужен мой страх больше, чем рубли и марки. Самое главное, самое интересное для них — это страх людей.

Но вдруг что-то случилось. И они ослабили хватку.

Послышался грохот, метнулась чья-то тень. Один из них резко свистнул, кто-то крикнул: «Держи гада!» — но, видно, опоздали. Пока возились со мной, Витька Арапов, которого держал Ботик, ушел.

Я рванулся в сторону. Они заорали: «Стой!» Им нельзя было меня отпустить. Может, они испугались, что я могу ненароком сигануть через барьер вниз. Видно было, они очень недовольны, очень злы, что отпустили одного и что второй пытается смыться. Они поймали меня и потащили вниз.

Теперь они не знали, что со мной делать. Один ударил меня по щеке, другой достал фляжку с водкой. Он все время подсовывал мне ее к лицу и говорил: «Ну, выпей, потом на парашюте полетишь». Ботик стоял в стороне и тихо бурчал: «Ладно, да отпустите вы его».

Но тут я услышал шаги, резкие, нетерпеливые, и голос, который я не узнал, усиленный камнем: «А ну, прекратить безобразие!»

Я так и чувствовал, что это он, веря и не веря себе. Я знал, что он придет, выручит. Он всегда приходил в момент, когда мне было плохо, когда я погибал. Он должен был прийти, и вот он здесь. Так думал я, узнавая и не узнавая этот очень знакомый и совершенно чужой, многократно усиленный пустотой бетонного чердака голос моего отца.

Уж потом я гадался, что Витька побежал к нам. Мы жили на пятом этаже, в два перехода черной лестницы.

Он подошел и встал один против этой коды пьяных подонков. Они на секунду растерялись. Конечно, они могли свалить его так же, как и меня, но существовала все же разница, и немалая. Он был взрослый, и он был отец.

— Ботвалинский, подойди ко мне, — приказал он. Маленький Ботик нехотя отвалил от своей группы и встал на расстоянии двух метров.

Секундная пауза, кто-то сказал: «Атас! Пошли!» — и гулко рассыпались уходящие шаги.

Они все-таки испугались. Это была кода школьников, но не преступников. Они любили издеваться, но боялись идти до конца...

Дальше мы троим спускаемся вниз. Отец железной хваткой держит Ботика. Мне даже жаль его. Я бормочу:

— Он как раз не хотел...

Мне почему-то жаль Ботика и кажется, что отец сейчас сдаст его в милицию и все — Ботик пропал, не выпустят. Уже на улице, в дневном свете отец резко сказал:

— Веди домой.

И Ботик повел нас в Красноказарменный переулок.

Мы приходим в Красноказарменный, поднимаемся на четвертый этаж, звоним, нам открывают. Оказываемся в коммуналке, точнее, в общежитии с узким длинным коридором, множеством одинаковых комнат по сторонам. В одной из комнат живет Ботик с матерью.

Мать, еще даже не узнав, в чем дело, увидев меня и взрослого постороннего человека, с ходу начинает орать на Ботика, влепляет ему пощечину, потом плачет, кричит:

— Это все его отец виноват!.. У других отцы легли на фронте, а этот там спутался с...

Она произносит короткое скверное слово, потом замолкает, неразборчиво что-то повторяет, уткнув лицо в маленькие, красные руки с изъеденными, будто кислотой, пальцами.

Сыростью, плесенью, какой-то взрослой, неразре-

шимой тоской обдает меня в этой тесной, заставленной комнате.

Успокоение ее недолгое. Рыдающим, ухаживающим голосом, чем-то напоминающим филина, она кричит:

— Шпана, негодяй, с подонками, с дрянью связался! Куда мне его сдать? Куда такого обалдуя примут?.. В тюрьму, в тюрьму ему дорога!

Я растерян, хочется убежать, чтобы не видеть молчаливо, насупленно сидящего Ботика. Не слышать криков его матери, ее голоса, непрерывно меняющегося — то глухого, скандально-базарного, то истончающегося и становящегося как бы детским, то хриплого, угрожающего, гневного, как у рассерженного мужика.

Ботик молча, спокойно слушает это, только глаза прячет — верно, привык, не в первый раз.

— Ладно, — говорит отец. — Не надо так... Успокойтесь, пожалуйста. — Он поворачивается к Ботику и спрашивает неожиданно мягко: — Что же ты?.. Разве можно так мать доводить?

Ботик не отвечает. Отец по-прежнему мягко, словно бы с удивлением продолжает:

— Пойми, добром это не кончится, еще один такой случай — попадешь в колонию. Себя погубишь, мать погубишь.

Ботик морщит лоб, не отвечает.

— Ты что же, язык проглотил? — уже жестче говорит отец. — Там, на чердаке, ты вроде бы разговаривал громко, а здесь не можешь. Зачем ты с этими подлецами связался? Охота тебе быть у них на побегушках?

Ботик вяло бубнит:

— Пацаны как пацаны.

— Нет уж, брат, это не пацаны, это негодяи. Ведь они измываются над теми, кто слабее...

— Да это просто так все, — сплевывая, пересохшими губами шепчет Ботик. — Они просто пугают. Еще никого вниз не сбрасывали.

— Слушай, а как тебя зовут? — спрашивает отец.

На лице Ботика гримаса удивления:

— Ну, Ботик меня зовут, а что?

— Да нет, имя твоё нормальное как?

— Юра, — отвечает Ботик с запинкой, словно удивляясь тому, что у него есть нормальное имя.

— Так вот, Юра, считай, что тебе крупно повезло. Мне жаль твою мать, и я решил не наказывать тебя, хотя стоит... Да и тебя мне малость жаль... Ты сам не понимаешь, в какие игры играешь; даже дикие звери не травят жертву зря, удовольствия ради. Неужели ж ты более глуп, чем звери?.. Ты был когда-нибудь в зоопарке?

Ботик с удивлением смотрит на отца:

— Нет... А чего я там не видел?

В воскресенье я захожу за Ботиком. Он один, на столе кучей навалены тетради, учебники, но что-то не чувствуется, чтобы Ботик занимался. Мать то и дело входит в комнату, приносит белье, развешивает его здесь же, на веревке. Ботик сразу склоняется над тетрадями. Весь он будто бы поглощен решением задач.

Я-то знаю, что он в жизни не решил ни одной задачи, все списывает у меня; и диктанты, и контрольные по алгебре, геометрии, даже сочинения.

А сейчас он вроде бы арестован. Вот почему с такой тоской смотрит он в открытое летнее окно.

— Можно он пойдет со мной в зоопарк? — с некоторой робостью я обращаюсь к его матери. Я ее немного побаиваюсь. Мне кажется, она ни с того ни с сего может меня резко обругать, постоянная заряженность на взрыв, на скандал чудится мне

в быстрых, суетливых движениях рук, в непрерывно меняющемся выражении зеленых глаз.— Мы пойдем с моим отцом.

— С твоим отцом? — Она задумывается.— А где он?

— Там, на улице, ждет меня и Ботика. То есть Юрку,— поправляюсь я.

— Вообще-то я Юрку не выпускаю. Месяц он будет сидеть дома за свои художества.

Ботик мрачно смотрит на мокрое белье, на свои синие трусы, латанные рубашки, штопанные носки. Мне кажется, он с радостью полез бы в клетку к любому хищнику, лишь бы не сидеть дома.

— Значит, с отцом? — переспрашивает она и подходит к окну.

С высоты четвертого этажа открывается улица, где у стеклянного стенда с «Известиями» стоит мой отец и поджидает меня с Ботиком.

Зоопарк — это тюрьма зверей. Слова отца. Мы проходили мимо узких кукольных клеточек, в которых тоскливо дремали лисы. Потом шли мимо большого вольера, где мрачно и лениво, в глубоком утомлении от людей на шестке свернулась в клубочек маленькая худенькая рысь, то пряча, то открывая свои потухшие узкие глаза.

— Да, тюрьма зверей, это и на первый взгляд ясно... Но не так-то просто все. Они лишены свободы, движения. Но они несут свою муку за всех других вольных зверей на земле. Чтобы люди узнали зверей получше, чтобы их полюбили, а значит, чтобы перестали их истреблять. Вот для чего они здесь... Конечно, клетки и вольеры надо бы расширить. Со временем сделают... А сейчас города и села еще в руинах, люди живут в землянках, бараках. Значит, зверям надо еще подождать.

Мы ходим от клетки к клетке, от загона к загону. Зоопарк недавно открыли. Звери тоже были в эвакуации, а сейчас их привезли назад, домой, точнее, в их привычную тюрьму.

Отец очень много знает про зверей и может рассказать гораздо интереснее и больше, чем то, что написано на подвешенных к клеткам табличках. Но смотрит он на зверей так, будто видит в первый раз.

Позже, когда я стану старше, я прочитаю в его научных работах о свойствах целенаправленного поведения животных, о мотивационных состояниях, которые делаются на три стадии, о безошибочности их инстинктов. Я прочту у него об агрессии и умиротворении животных, и многое удивит меня простым и точным обобщением. Он проанализирует и прокомментирует труды великих отечественных и мировых биологов почти на всем протяжении истории этой науки, предметом его исследований будут Линней, Ламарк, Кювье, Жоффруа Сент-Илер, Мечников.

Там, в частности, упоминалось и о «Размышлениях о природе» Бонне, посвященных всем друзьям истинной добродетели. В этих размышлениях Бонне звено к звену создавал непрерывную цепь в жизни, связанную незаметными переходами, промежуточными звеньями. Первое звено — атом минерала, последнее — небожитель, самый совершенный из херувимов. Даже смерть, считал он, не прерывает этой цепи, так как каждое отдельное существо является носителем всех будущих зачатков... Там же я с изумлением прочитал о теории Робине. Он утверждал, что все усилия природы были в конечном итоге направлены к одной цели — создать человека. Все виды животных Робине считал неудачными попытками сотворить человека. Не только обезьяны казались ему неудавшимися людьми, но и другие животные, даже собаки...

Отец — исследователь и историк биологии, философ — интересовало познание причинно-исторической обусловленности, единства органического мира, связанное с методом гомологии.

Вот этим менее исследованным проблемам истории эволюционной идеи посвящал он свои труды о Жорже Кювье и его великом оппоненте Жоффруа Сент-Илере.

Фундаментальный труд отца о Жоффруа Сент-Илере с интересом изучали французские историки биологии.

Жоффруа Сент-Илер... Это имя было знакомо мне с детства, как имя давнего друга или родственника.

А пока мы ходим по зоопарку и смотрим на «неудавшихся людей», по определению Робине. «Неудавшиеся люди» прыгают, скачут, тянут лапы, похожие на руки, сардонически хохочут, отворачиваются, бесстыдно выставляют красные блестящие зады. Ботик смеется. Он впервые в жизни в зоопарке. А я всякий раз с некоторой жуткостью отмечаю в их движениях, жестах, взглядах что-то пугающее, похожее, словно они уловили самое жалкое, суетливое, животное-цепкое в нас и нам же это покажут. Своего рода комната смеха. Только зеркала раздвинуты: не в пространстве, а во времени, в тысячелетиях.

Тогда в зоопарке было меньше зверей, чем сейчас, но встречались замечательные, их сегодня редко где увидишь. Например, самые разумные из всех «неудавшихся человеков»: гориллы и шимпанзе.

Мы сидим на лавке. Отец купил нам мороженое. Резко, гортанно кричат птицы, названия которых мы не знаем. У них подрезаны крылья, потолок их полета невысок, и они все время ударяются о прутья решетки.

Отец рассказывает о дроздах. О скромных лесных дроздах... Дрозд строит основание гнезда, ищет прутья покрупнее. Затем из более тонкого материала делает боковые стенки, собирает глину и формирует чашу гнезда. Ее он выстилает травкой и волосками и только тогда начинает жить.

— Мозговитая птица,— ухмыляется Ботик.— Выходит, умнее человека. Вот у нас Дегтярев, сосед, напился и хотел дом спалить. Насилу мы его скрутили.

— Есть птицы и помозговитее, чем дрозд,— говорит отец.— Но и дрозд делает свое дело — ему это подсказано инстинктом. Он не осознает свою конечную цель, но осуществляет ее. Он точно идет к цели, причем по этапам. Это как бы серия подцелей: оформление дна, постройка чаши... Каждый из этих актов он делает точно, как механизм.

— Силен дрозд! — кричит Ботик и кидает в клетку с птицами остаток вафли от мороженого.

Птицы бросаются на сладкий и мокрый комочек вафли, растаскивают его мгновенно, стучат клювами по земле, куда пролились капли мороженого.

— Жадные,— говорит Ботик,— из-за такой ерунды дерутся.— Он все же относится к животному миру с некоторым недоверием и презрением.

— Они дерутся из-за куса,— отвечает отец.— Зато они никогда не будут драться просто так. Человек может убить просто так, из озорства, зверь никогда просто так не убьет, да он вообще не любит убивать, кроме случаев необходимости, охоты. У них агрессия вызвана обстановкой или борьбой за пищу, за самку. У них есть свои охраняемые участки. Например, орланы охраняют участок около четырех километров, и только на нем они добывают свою пищу. У хищных птиц пища и территория связаны друг с другом, а чайка не может обеспечить себя пищей лишь на своей территории. Вот

она и летает и ищет, где бы пожить, как бы прокормить птенцов. Животное не обманывает, не держит нож при ласковых речах. Оно кричит во все горло, но если противник не устрасился, то оно само удирает.

— Значит, они трусы? — спрашивает Ботик.

— Как у тебя все просто... Разумный инстинкт самосохранения... Тот, кто драться избегает, завтра драку продолжает, — вот так нам говорил наш учитель биологии. И часто они не дерутся, а только демонстрируют силу. Вот рыбы приближаются друг к другу, широко открывают рты и толкаются — более слабая уплывает.

— У нас тоже есть, которые на пасть берут, — говорит Ботик. — Запугивают на холяву.

Все законы животного мира он немедленно переносил на своих друзей и знакомых.

Мы долго гуляли после зоопарка, и отец рассказывал и рассказывал о самых диких историях, необыкновенных случаях, происходивших со зверями.

Потом мы проводили Ботика до дома. Простились в переулке. Хотелось ли ему домой, в комнату, где сохли полотенца и трусы, где его ждала одинокая и уставшая от жизненных неурядиц и бед мать? Видимо, нет, потому что он еще стоял на улице около подъезда, под согнутым фонарным столбом, похожим на окаменевшего жирафа.

Зоопарк послевоенных лет. Маленький я, маленький Ботик и сравнительно молодой отец. Все это ушло, кануло.

В зоопарке появилось много не виданных ранее животных. А некоторые исчезли или исчезают. Львов перестреляли на сафари, воспетых Хемингуэем, поредел их дружные прайды, вовсе не такие уж грозные и агрессивные, как считалось раньше. Агрессивность животных изучена еще более досконально, чем в пятидесятые годы, агрессивность же человека не ясна до конца, ибо проявления несть числа. Дети так же хохочут над ужимками обезьян, «неудавшихся людей», по наивному определению Робине, к хищникам они относятся с уважением.

Вообще уважают тех, кого боятся. Как я уже говорил, шимпанзе и гориллы стали почти уникальными и редко выставляются, приток людей в зоопарк возрос, зверей больше, но жилплощади им катастрофически не хватает, старый московский зоопарк остался таким же, каким он был, может быть, несколько расширился, но в его пределах, в тесных клетках и вольерах, задыхаются звери, жаждущие хотя бы минимального простора. У нас в стране множество зоопарков, но, пожалуй, только в Калининграде он на достаточном международном уровне. А ведь малость жизненного пространства, усталость оборудования мешают опытам, исследованиям и, главное, разведению исчезающих видов животных.

Парадоксально, но «тюрьма зверей» — зоопарк — становится сегодня, может быть, единственным местом, где они чувствуют себя безопасно.

Даже заповедники и национальные парки не гарантируют демографическую стабильность. В заповедниках, ограниченных по площади и окруженных человеческим жильем, численность животных сначала растет, затем на некоторое время стабилизируется, а потом — бывают случаи — идет на убыль.

Крупные концентрации животных — к примеру, слонов в национальных парках Африки — создали управляемые кризисные ситуации: слоны в своей «резервации» истощили почвы саванны, а затем сами погибали от голода. То же самое происходило в заповедниках Уганды и Кении с бегемотами...

Черный носорог, еще несколько лет назад привычный обитатель многих национальных парков Африки, почти истреблен; браконьеры отлавливали и убивали шимпанзе, орангутанов, леопардов, слонов. Сейчас правительства африканских стран препятствуют истреблению и разбою, но сколько уже потеряно...

Да что далеко ходить! Вспомним Кызыл-Агачский заповедник на берегу Каспия с его фламинго — розовыми птицами. Они-то и дали название заповеднику Кызыл-Агач — «розовые деревья». В мелководном заливе Кызыл-Агача (залив имени Кирова) встречалось триста с лишним видов птиц — мелкий и теплый залив так славился осетрами, судаком, кутумом, уловы здесь были выше, чем в Азовском море. Здесь летала легендарная краснозобая казарка. Я видел ее изображение на древнеегипетских фресках и вазах в музеях: розовая шея, сизосиние крылья.

Сейчас эта птица внесена в Красную книгу, и оставалось всего два места в нашей стране, где еще можно было ее увидеть: летом — Ямал-Таймырь; зимой — Кызыл-Агач... Но сейчас в Кызыл-Агаче ее не увидишь. Массовые охоты с суши, с моря, с воздуха истребили ее, как и десятки других видов птиц и рыб. В шестидесятые, семидесятые годы добыча птиц, браконьерский промысел рыб были поставлены на конвейер. Убийство это совершалось не без ведома местного начальства, а частично и при его участии. Сейчас этому возмутительному разбою, творимому не только ради наживы, а и от опьянения вседозволенностью, безнаказанностью, положен конец, но не возместить, не восполнить никогда потери...

Зоопарк и питомник — это убежище для зверей. Для некоторых животных, стоящих на грани истребления, может быть, последний шанс выжить. В вольерах спасены ценнейшие виды: олень Давида, гавайская казарка, лошадь Пржевальского.

В детстве я узнавал о животных по Брему, вглядываясь в лицо большого бородатого охотника с двухстволкой в руках; мой сын узнавал о них по телепередаче «В мире животных»... Я часто думаю о том, о чем говорил отец в послевоенном зоопарке конца сороковых годов, приспосабливаясь к нашему детскому сознанию. Я думаю о жестокости.

О разумной жестокости зверей, о бессмысленной и иррациональной — людей.

Те парни, которые поймали меня на чердаке, радуясь тому, что я в их власти, что меня можно довести до ужаса, до смертного страха, довести до края и отпустить, были все-таки непонятны до конца.

В дальнейшем они встречались, вновь и вновь видоизменяясь. Их игры становились все опасней. Огольцы послевоенных лет, так называемая шпана, ожесточившаяся, сызмальства узнавшая изнанку жизни, хлебнувшая горя, казалась вполне умеренной, почти сговорчивой по сравнению с затеями некоторых современных, на вид вполне благополучных подростков.

Несколько лет назад я побывал на острове Крит. Экзотический этот остров существовал не в Средиземном море, а в архипелаге маленьких островков в дельте Волги. Там проводили время городские ребята, ставили палатку, оставались на ночевку, пели, пили «бормотуху». Однажды разозлились на одного, который отказался пить со всеми, что называется, дошел до своей черты, к тому же еще захотел уйти от них... Они догнали его и заставили пить. Он пил, дуряя, теряя сознание. Тогда они облили его водой, чтобы протрезвел, и стали избивать...

вать. Потом они устраивали перерыв, уходили в палатку, играли на гитаре, пели. Сторож стоял около него, чтобы не убежал. Отдохнув, они снова хладнокровно и страшно били его.

Чудом он ускользнул, прополз по траве, по кустарнику до берега, там лег, уже без сил, и его случайно увидел местный механик-моторист, подобрал и увез в Волгоград в больницу.

На суде они уверяли, что «не хотели ничего такого». Что против него у них ничего не было, просто разошлись — зачем портит компанию, не хочет нормально «побалдеть» вместе со всеми? Вот и все. Ну, побили немного, а потом даже дали воды. И больше ничего, никто не собирался его убивать. Ну а то, что он получил инвалидность, это как-то само собой вышло. Слабенький он, видно... Ведь и били же не по-настоящему. Но, верно, чего-то недоглядели. Интересно, что в их бедной, невыразительной речи, приправленной жаргоном, то и дело всплывали взрослые, казенно-отписочные слова: «недоглядели», «не учли, что он был такой слабак», «но приняли меры, чтобы он копыта не откинул».

Взрослый, постаревший Ботик, лысеющий, но крепкий, покуривая папироску, стоит передо мной.

— Ну, как живем-можем?

— Да ничего.

— Читаю, почитываю, слежу.

Манера говорить у него прежняя, так же переминается с ноги на ногу, так же курит, пожевывая папиросы, а не сигареты.

— Ну, а ты как? — спрашиваю я.

— Ничего, на стройке прорабом, видишь, даже потомство завел на старости лет.

Он почему-то подмигивает мне. К его коротким крепким ногам жмется девочка, тоненькая и рыжая. Ничего в ней нет от Ботика. Может быть, только глаза, зеленые, внимательно, не моргая, снизу вверх смотрящие на меня.

— Вот это моя Елка, — улыбается Ботик. — А этот дядя со мной учился... Я у него диктанты... Ну как бы это поточнее сказать... брал для исправления. Очень я грамотный был тогда.

— Елка — что за странное имя?

— Иоланта. Это моя жена так назвала. Я попросил чего хотел, а она уперлась: Иоланта, и все. Говорит, у нее подруга тоже была Иоланта, очень многого в жизни достигла. А у тебя кто есть?

— У меня сын взрослый, двадцать лет, студент.

— А батя твой? — осторожно спрашивает Ботик, и, встретившись со мной взглядом, останавливается, и, опустив глаза, добавляет: — Да, да, можешь не отвечать, я знаю. Я в газете, в «Вечерке», читал. Расстроился сильно. Хотел пойти проводить, да поздно уж было, газета была старая. Подумал еще тогда: может, не он? Да нет, вроде бы все сходится: и фамилия, и имя, и звания всякие.

— Да, все сходится, — тихо говорю я.

Я и сам часто думаю, что, может, это ошибка, что не с ним, что не он. Однажды как-то мне приснилось, будто он приходит оттуда, откуда еще никто никогда не приходил. Будто он возвращается ко мне...

— А знаешь, я его часто вспоминаю, — говорит Ботик. — Я взрослых тогда не любил, они дрались да поучали. Знаешь, я ведь без отца, да и у матери были разные мужики, правда, я с ними характером не сходилась. А того отца крепко запомнил. Если б не он, я был бы тюрьмы докатился. И сколько я людей встречал, и хороших и всяких,

сколько прошло разных индивидов, куда только не мотало в жизни, а твоего отца помню. И зоопарк, и то, как в баню ходили, и на стадион как он меня брал... Это тебе, брат, повезло с отцом.

Я смотрю на Ботика. Глаза его чуть опущены; не привыкшие показывать истинных чувств, его зеленые недоверчивые глаза поднимаются и смотрят на меня, как бы туманясь и светлея.

Интересно, помнил ли о нем отец? Кажется, как-то спросил: «А где твой Ботик?» Для отца это был эпизод. Всю свою жизнь с молодости отец возился вот с такими, как он. Теперь их называют трудными. А тогда они назывались беспризорными. Видно, после науки это была его вторая профессия. А может, и первая — кто знает?

«Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь».

Отец часто повторял эти слова Льва Толстого. Почему именно они его так задели, взволновали? Ему казалось, что в них больше правды, равновесия гармонии, чем в покаяниях и страстных исповедях, исполненных раскаяния и самоуничижения. Он противопоставлял эту мысль, эту фразу другой, тоже Толстому принадлежащей: «Люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех, неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет... Счастье — быть с природой».

Отцу нравилась последняя фраза. Но он считал, что у человека есть еще одно, в отличие от животных, осознанное и потому, может быть, более драматическое, более трудное предназначение: зная свою временность на этой земле, сохранить землю для новых поколений.

От того поколения, к которому принадлежал отец, остались уже немногие. Как сказано у поэта: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги, пролагатели торной дороги, где шаги мои были легки».

В войну он записался в ополчение. Большинство его друзей, коллег записалось, профессора, уже немолодые люди, знавшие законы физики, биологии, астрономии; их мысль способна была обгонять века, они просчитывали невероятные по сложности задачи, но стреляли плохо, шли не в строй, задыхались после марш-бросков. Сколько их было мгновенно сметено огненной лавиной войны! Многие погибли под Москвой, попали в окружение, пропали без вести. И тут пришел приказ: оставшихся в живых ученых вернуть назад, других отправить в тыл. Тылу нужны были не только руки, без усталости и без передышек начинавшие оболочку снарядами взрывчатой грузом, как бы одухотворявшие эти бездушные стальные конусы разной величины не одним взрывчатой веществом, но и силой своей ненависти, тылу нужны были не только организаторы производства и рабочие, но и люди «второго эшелона» обороны.

Оборона нуждалась во врачах; медвузы, переведенные в тыл, поредевшие, но мобильные, выпускали своих студентов, давали им знания все для той же борьбы.

После отзыва из ополчения отец был включен в специальную фронтową лекторскую бригаду, выступал перед бойцами, читал лекции о человеконенавистнической сути фашизма... Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Слова, конечно, не пули,

но и они работали; произносимые под пулями, работали вдвойне.

А я в это время вместе с бабушкой был сначала в Казани, потом под Новосибирском. Отца я видел только в последний год войны.

У меня был тоже свой военный опыт — одна из первых московских бомбежек, когда немцы пробились к столице, и другая, когда мы ехали в теплушке из Москвы в Казань.

Сейчас мне кажется, я в этом даже уверен, что взрослым было страшнее. Взрослым всегда страшнее, так как они лучше детей понимают цену жизни.

Я же испытывал во время бомбежки удивительные чувства; с одной стороны, естественно, страх, с другой — странную приподнятость, возбуждение, может быть, даже тайную радость. Вот она, война, настоящая, с воем сирен, с сутолокой на лестницах... Сутолока сутолокой, но никто не бежал, все спускались, стараясь сохранить порядок. Только человек неопределенных лет в военизированном френче побежал, расталкивая всех остальных, но его остановили. Темное, прохладное, как погреб, бомбоубежище. Просторный этот погреб постепенно наполнялся людьми.

Сейчас наше бывшее бомбоубежище зажило новой славной жизнью. В этом погребе находится театр-студия Табакова. «Современник» уже давно въехал в наш чистопрудный кинотеатр «Коллизей», лучший кинотеатр Москвы послевоенных лет с почти античными колоннами. После войны туда нелегко было достать билеты. Шли трофейные фильмы: «Тарзан», «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Девушка моей мечты». Перед сеансами играл оркестр. Фокстроты, танго и румбы, а потом, когда их поприкрыли, он играл бальные танцы. Веселые музыканты «лабали» лихо, здорово, громко. Но все же было их почему-то жалко... Незадолго до первого звонка они собирали свои инструменты и уходили. Они были как бы вступлением к фильму, даже не к фильму, а к киножурналу.

Но я забегая вперед. А сейчас терзающая душу своим надрывным — то слабеющим, то набирающим силу — тревожным свистом сирена и — конец, тишина. Двери задраены, закрыты.

Люди negroмо переговариваются. Пожилая женщина вспомнила:

— Как же так, я кофе на плите оставила, что ж теперь будет?

— А ничего не будет. Если снаряд попадет, тогда будет.

— А если от кофе загорится?

— Что загорится? Дом загорится? Да нет, не бойтесь, зенитки их не подпустят.

— Да нет, кофеварка сплавится и загорится.

— Бросьте вы о своей кофеварке... Завели какую-то ерунду.

И тихие, невнятные шепоты, обрывки неясных разговоров, ожидание. Отец далеко и мать далеко... Я один с бабушкой. Один во всем мире в бомбоубежище, среди взрослых полупонятных разговоров и младенческого плача. Сейчас ожидание и уныние, сменяемое ожиданием. Ожидание отбоя.

Дальше поезд, ползущий из Москвы в Казань, как гусеница, то замирает, то останавливается. Для теплушек дорога долгая, медленная, для эшелонов с военной техникой, идущей к Москве, она стремительнее и короче.

Здесь, по дороге в Казань, нас бомбили. Сначала самолет пролетел, а мы уже выскочили и залегли в мерзлой жесткой траве. И он вернулся снова. Бабушка прикрывала меня, говорила лихорадочно:

— Не бойся, тихо лежи... Пронесет.

Не пронесло. Целил, видно, в длинный состав с техникой, идущий впереди нашего... То ли не попал, то ли на всякий случай решил нас уничтожить. Все-таки тоже цель. Старушки и женщины с детьми, инвалиды. Наверное, ему приказано было бить по всему живому. А может, и собственная инициатива. Три головных вагона сгорели. Фонтан земли, пыли, вырванных кустов, травы, едкий, переносимый запах, крики. Снизу, с земли, в которую мы вжались, почудилось, что вокруг все осыпается, будто лавина. И сразу непонятно, жив ты или нет, конец это или начало. Начало нового, еще более страшного конца.

Представляю себе сейчас этого немецкого летчика: молодой, лихой (еще первые месяцы войны), возбужденный, радующийся — все-таки поразил цель. А что за цель — это уж не так ему и важно.

Представляю себе, будто я случайно встретил его в какой-то из европейских стран, куда я и он приехали туристами. Он живет в роскошном номере, я — в скромном, по причине скудости валюты.

«А, русский, рус». Он задумчиво улыбается, вспоминает годы молодости, чуть хмурится и светлеет. Хмурится, потому что тяжкие были те годы, светлеет от дальних и горьких воспоминаний: все это было, а он уцелел, выжил и скольких своих друзей оставил в России. Думаю, что в нем нет и тени раскаяния. Почему? А все потому, что у него не было и нет чувства персональной ответственности. В этом — секрет тоталитарной психологии. Психология личности здесь не индивидуализирована... Винтик не может судить машину, он сам ее частица, он и работает на нее в целом, как ему и положено.

Задумается он потом, когда машину сомнут, изломают. Тут он перестанет быть винтиком и станет человеком. Он окажется в плену, скажем, где-нибудь в Сибири или Казахстане. Но в конце концов и плен не так уж страшен. Война позади, он жив, и скорее бы домой. И зачем мучить себя виной, когда надо жить, надо жить... как все, так и он. Приказали воевать — он воевал. Сейчас приказано строить — он будет строить... Пусть сами разбираются, кто виноват.

Самое любопытное, что он расположен ко мне. Ко всякому русскому, приехавшему сюда, он чувствует интерес, может быть, даже симпатию. Его с нами объединяют общие воспоминания, а это ведь не так мало. Я это вижу, пытаюсь определить, понять, не впадая в напрашивающееся само собой осуждение.

...Вот его самолет почти равняется с нами, крылья накрывают меня и бабушку, лежащих в промерзшей траве, тесно прижавшихся друг к другу. Кажется, что он неподвижен и слегка качаются крылья, на которых отчетливо видны какие-то буквы и кресты. Но вот чуть дальше от нас что-то огненное пробило землю, вырвало траву, кусты, обдало жаром, грязью, гарью, всплеском пламени и затихло, ушло, исчезло.

Один раз я видел эти кресты прямо над собой. И тысячекратно — в кино, на броне трофейных танков в парке Горького в мирной Москве... Жирные кресты с белым обводом и раскоряченная свастика.

Где-то малюют свастики на стенах домов: кто из озорства, кто сознательно, кто из отсутствия исторической памяти. Похожий на паука боевой знак. На самом деле он возник давным-давно в Индии как символ мира, знак бесконечности, вечного продолжения жизни — только фашисты его перевернули, придумали ему уже навсегда образ насилия и смерти.

В эвакуации я попал в больницу с тяжелейшей скарлатиной. Детская больница была переполнена, но бабушке все же удалось меня положить. Я взял с собой подаренного когда-то отцом оловянного Чапаева. Чапаев в бурке, с саблей, на коне, похожий на силуэт на папирсной коробке «Казбек». Я всегда вырезал силуэт Чапаева. Силуэт был легкий, безобъемный, всего лишь тень, а этот Чапаев — тяжеленький, блестящий. Мне чудилась в нем какая-то тайная жизнь. До войны игрушек было мало, во всяком случае, меньше, чем сейчас. У моего сына, когда он был маленький, имелась целая колония игрушек: рыцарей, конных и пеших, индейцев, колониальных солдат в тропических шлемах и обычных пехотинцев. У нынешних детей ассортимент игрушек расширился, а оловянные стали редкостью. Во всем мире игрушки теперь делают из пластмассы, резины, из пластика. На Западе изготавливают монстров, чудовищ, дракул, поражающих воображение. А у меня до войны было несколько неуклюжих, с отбитым лаком, как бы полураздетых краснофлотцев, пограничник с овчаркой, мотоциклист без мотоцикла. И Чапаев.

Отец принес Чапаева за неделю до дня рождения, последнего, довоенного, прятал до праздника, но я уже видел его, уже восхитился им, уже полюбил его навсегда.

Когда на лошади везли меня в больницу, я прижимал к потной, словно бы плавающей от жара груди своего Чапаева. Он приятно холодил и успокаивал.

— Грудь болит? — говорила бабушка. — Потерпи, сынок. — Она меня часто называла «сынок».

— Нет, не болит, — отвечал я, — ничего.

А на самом деле болела, какой-то резец просверливал все внутри. Я помнил, как отец говорил: «Постарайся не плакать, не жаловаться, если даже совсем больно, подумай о чем-нибудь хорошем».

Вот я и старался думать о своем Чапаеве. Сейчас, когда больно, все труднее отвлечься, оловянные солдатики детства ускользают. Иные образы надежды пытаются создать воображение, но и сегодня видишь своего призрачного солдатику на коне, летящего вперед, зовущего тебя за собою, показывающего всей своей статью — еще не все потеряно, не все проиграно...

В больнице забирают все для дезинфекции. Забрали рубашку, штаны, чулки (подумать только, как девчонки, мы ходили в чулках, человечество еще не избрело более совершенных форм детской одежды)... Все это было не жалко, не нужно... Сестра вдела меня в длиннющие, на три размера больше, чем надо, больничные кальсоны, и я понял со всей очевидностью, что теперь я уже не такой, как был, и не такой, как все там, на воле, на свободе, теперь я больной.

В закопченном зеркальце я вижу худенькое дистрофическое тело: женские руки легко поднимают его, кладут в большую, глубокую, в ржавых пятнах на потрескавшейся эмали ванну. Мне становится тепло и немного страшно, что я остаюсь один в этих кафельных неживых комнатах, с чужими людьми, называющими меня по фамилии, а не по имени. Потом чистого, словно бы прокипяченного, ведут на второй этаж, но перед этим я успеваю прихватить завернутого в платок Чапаева. В палате нет места, выкатывают голую железную кровать в коридор, тусклое окно открывает часть больничного двора, какие-то постройки и бабушку, которая стоит внизу. Я смотрю в это окно, смотрю на бабушку, хорошо вижу ее лицо, но она почему-то

глядит мимо меня. И в этот момент пожилой криворукий санитар наклоняется надо мной, поправляет подушку и нащупывает тяжеленький комоч, спрятанный под моей спиной. Я начинаю кричать, плакать, протестовать, молить, но он молча, деловито забирает моего Чапаева. Поправляет на мне одеяло и уходит.

Я слышу запах йода, хлорки, слышу всхлипы, вскрики детей, перебранку сестер, вижу белый тускло-неживой свет. Постепенно окно становится темным, а потом на нем задергивают шторы светомаскировки, хотя известно, что немецкие самолеты сюда не долетают.

...Уже несколько лет минуло с войны, мы постепенно вращались в мирную жизнь, и вдруг на меня все свалилось... В тот день я заметил, что классная Ия Николаевна смотрит на меня по-особому, словно видит в первый раз. Да, я уловил в ее глазах некоторое удивление, какой-то невысказанный вопрос. А она так и не решилась его задать.

На перемене Витка Арапов деликатно спросил:

— А где твой отец?

— Как где? В Москве, где же он должен быть?

— А недавно он у нас выступал?

— Да. А ты что же, не был?

— Нет, я лекции не люблю.

Мне, конечно, это не очень понравилось. Я знал, что отец читает интересно, живо, доходчиво, со всякими неожиданными примерами, поэтому наша классная пригласила его в школу прочитать для старшеклассников и учителей доклад о происхождении животных. Таким образом, в графу общественной работы вписывалась строчка, да и польза учителям и ребятам, как она считала, была немалая. Конечно, это устраивалось для старшеклассников, но мой класс из солидарности пошел. Витка же Арапов проявил себя, на мой взгляд, как свинья, потому я сказал ему грубо:

— Тупой ты, поэтому и не любишь.

Он помолчал, а потом сказал:

— А чего ходишь? Говорят, что у тебя отец вредитель, враг народа.

— Как?

— Да вот так через пятак!

Он хмыкнул, повернулся и ушел.

Его слова показались мне бредом, бессмысленной галиматией, но тревожное и совершенно новое, неведомое раньше ощущение странной, внезапной беды вдруг обдало меня гнилым, словно болезненным ветерком.

Никто ничего мне больше не сказал в этот день, только Ия Николаевна посматривала по-прежнему искоса, и четыре урока тянулись долго и вязко. Бился в известковом сыпучем дымке мел, вспыхивали на пыльной, блестящей с боков доске формулы, далекие от реального смысла жизни, безразлично точные, со своей неинтересной мне загадкой.

— Ты что такой сонный, — спросила Ия Николаевна, — уж не заболел ли?

В ее заботливых на первый взгляд словах чудилось неуловимое притворство.

— Нет, не заболел, — ответил я и стал списывать формулы с доски; «а» и «b», возведенные в квадрат и куб, выталкивали друг друга, пространство сужалось, оставляя лишь то, что было сокращено, умалено, низвергнуто с больших величин до крайней малости.

Урок кончился, и каким-то неприметным движением классная оставила меня. Ее желание поговорить оказалось сильнее, чем ее деланное равнодушие, и мы остались с ней вдвоем в пустом, еще

горячем, как бы раскаленном от движения головок, от неиспарившейся энергии сорока человек, «классе».

— Скажи, пожалуйста, ты сегодня читал газету? — спросила она.

— Нет, еще не успел.

— У тебя нет однофамильцев?

— Нет, — неуверенно сказал я, все-таки еще не понимая, к чему она клонит.

Она молча положила передо мной газету, раскрыла ее и чуть заметно обвела пальцем низкий, набранный, как мне показалось, очень жирным шрифтом подвал. Впрочем, тогда я не знал еще, что такое «подвал», а просто видел перед собой большую статью, где много раз мелькала наша фамилия. Мой отец печатался иногда в этой газете, и я читал его статьи, не очень-то понимая их смысл, но радуясь их появлению.

Сейчас же моя фамилия соседствовала с другими фамилиями, столь же чужими, непонятными и звучащими как-то угрожающе-враждебно. Я просмотрел, проглотил текст вмиг, еще не разобравшись, не поняв до конца, но чувствуя, что пришла какая-то непоправимая беда.

И несколько раз называлось другое имя, тоже очень знакомое по домашним разговорам, производимое, как я помнил, без радости и без симпатии, с глухой неприязнью, а часто даже и с недоумением, возмущением.

Трофим Денисович Лысенко. «Лжетруды, антимичуринские, антилысенковские концепции» — эти слова я сразу выхватил из текста, таких было еще много, но выплывали именно эти тяжелые, угрожающие, одинаково безликие, как и в десятках других статей про десятки других таких же «лжеученых», как...

Как кто?

Как мой отец.

Ия Николаевна смотрела и как бы ждала разъяснений.

— Ведь он же недавно выступал у нас в школе, — тихо сказала она, будто себе самой. — И так хорошо, грамотно говорил. Что же тут такое?

Это было ее любимое слово — «грамотно», высшая похвала.

Она ждала от меня объяснений, во взгляде ее была какая-то обида, словно бы она верила, а ее подло обманули.

Нет, не газета обманула, а отец, прикинувшийся таким симпатичным, таким грамотным, таким своим, на самом же деле...

— Чуждая идеология выползает... — тихо, точно забыв обо мне, вздохнула она. — Изю всех, изю всех щелей.

Я молча собрал книги, тетради, закрыл портфель, молча отдал ей газету и пошел к дверям.

— Ты что?! — обеспокоенно проговорила Ия Николаевна. Она, чувствовалось, не хотела наносить мне удар, просто ей самой необходимо было поставить точку над «i», высказаться.

— А то, — сказал я. — Вранье все это в газете, ложь...

— В газетах не бывает лжи, — жестко сказала она и добавила, смягчившись: — Может, еще ошибка и удастся доказать...

— Да не ошибка, а вранье, — сказал я, сдавливая что-то тревожное, горько распирающее грудь, разрастающийся непереносимый комок. — И он докажет, все вам докажет!..

И дальше — пустая улица, ветер, облетевшие деревья, такая долгая и короткая дорога домой, всего пятьсот метров, длинных, мучительных, по холодной жестяной земле в предзвонных сумерках, по

тускло блестящим, чуть схваченным непрочной корочкой льда лужам.

Отец пришел поздно и был спокоен. Как мне показалось, совершенно спокоен.

— Ничего, так и должно быть, к этому все шло. Сейчас ничего другого и быть не может.

Его, я чувствовал, тревожит не сама статья — к ней он был готов, — а что-то другое, наверное, то, что может случиться завтра.

Трепал телефон. Отец по-прежнему говорил спокойно, а там, на другом конце провода, его успокаивали, утешали, возмущались.

Особенно изумил автор статьи в газете, ученик и доброжелатель отца. Его книги с восторженными дарственными надписями лежали на отцовском письменном столе.

— Здесь нет личной инициативы, — говорил отец своему другу. — Я чувствовал это по тону. Тон — протокольный. Нет личных проявлений ярости, гнева и возмущения. Клеймит, но без энтузиазма, точно по штампу. Нет, не личная инициатива, не порыв обманутого ученика. А заказ, просто заказ.

Так говорил, усмехаясь, мой отец, не знавший, что будет с ним завтра, но в чем-то уверенный, на что-то надеющийся.

На что? На справедливость. Может, это звучит несколько романтично. Справедливость подвергалась разгрому, несправедливость наступала, правила, давила, ставила всех и вся «на свое место». И все-таки он употребил именно это слово, понятие, имеющее как бы самостоятельную силу.

— Смотрите, как жутковато, неприятно на слух звучит: «вейсманисты», «морганисты». А ведь Морган и Вейсман — великие генетики, так же, как и попавший в эту компанию Грегор Мендель, а Вавилова и вовсе не называют, будто он не работал несколько десятилетий, но имя его незримо присутствует. И вот смотрите, Эдисон звучит замечательно, так же, как Вестингауз, изобретатель ручного тормоза. А ведь можно убедить людей, что Эдисон изобрел лампочку, чтобы ослеплять, калечить человечество, что Вестингауз создал свою адскую машину, чтобы их сбрасывать с летящего на всем ходу поезда, и звучало бы мерзостно, с каким-то ужасным оттенком. И можно было бы тогда сказать: враждебный науке «эдизонизм», «вестингаузм» и так далее.

Наука об электричестве была более прикладной, явственной и потому не допускала произвола. Лампочка Эдисона так и оставалась лампочкой Эдисона. Ген же виделся Лысенко и его последователям надуманной, иллюзорной, вредоносной, не поддающейся эмпирическому опыту дефиницией. Он, этот незримый, ползучий, крохотный ген, мешал ясному и понятному любому советскому человеку опыту, немедленно приносящему стране мощную, чуть ли не в двухметровый рост пшеницу. Кроме того, мешали и препятствовали хозяйствованию и науке буржуазная социология, в частности демография, а также кибернетика, «ошибки» академика Марра в языкознании, музыка Прокофьева и Шостаковича.

Сегодня даже странно, что группе, в общем-то, невежественных, агрессивно невежественных людей удалось взять верх в биологии, имеющей у нас серьезные традиции, достижения, в науке не отвлеченной, как это пытались представить, а необыкновенно актуальной, связанной кровно с воспроизводством природы, многое объясняющей во взаимоотношениях Человека и Земли. Эта наука имела в России великодушную, мощную школу, возглавляемую Вавиловым и представленную многими блестящими именами, на десятилетия выключенными из работы, из столь нужных стране опытов и поисков.

Но кроме спора людей, директивного подавления одних идей другими, был и спор иного рода: о сущности и нравственности науки как таковой. «Две великие силы влекут ум человеческий в противоположные стороны в вопросе о личном бессмертии: наука во имя естественного развития склонна всюду жертвовать личностью; любовь во имя высшего развития, нравственного и общественного, хотела бы целиком сохранить ее. Это одно из самых тревожных противопоставлений, являющихся уму философа». (Гюйо).

Ученых разоблачали, снимали с заведования кафедрой, исследования отбрасывались назад, принося огромный ущерб народному хозяйству, но наука, зачавшая, лишенная благотворной влаги, как оскудевшая, заброшенная земля, все же была живой. Идеи оказались выносливее людей и растений.

Я вспоминаю уже более поздние споры с отцом. — Как же так, твой любимый Мечников заразил гиббоном брюшным тифом, привил сифилис шимпанзе, а вспомни, что говорил Достоевский о смерти ребенка?

— Так во имя ребенка и делалось же... Не только лишь для того, чтобы изучить организм обезьяны, доказать экспериментальным методом единство происхождения, но и для того, чтобы изучить заразные болезни, чтобы препятствовать им.

Значит, добро через зло, думал я. Наука требует жертв... Слова эти стали банальностью. Но...

Иногда она требовала слишком многих жертв, так ведь и достижения ее не стоили тех человеческих судеб, что были принесены ей на заклате. И наука виделась мне многоярусным восточным драконом, изрыгающим огонь, но с человеческим лицом, с каменными глазами, с надвинутой на гранитный лоб плоской каменной кепкой.

Внезапно ночью он оживает, этот мощный дракон, изрыгая немолчимой силы свет ярче тысячи солнц. И сжигает множество живых существ, агнцев, принесенных ей в жертву ради еще более яркого смертоносного излучения.

Да, и так видится иногда. Зло, причиненное отдельному живому индивидууму во имя спасения миллионов людей, не хотелось понимать и принимать. Но, как доказывал доктор Ру, шимпанзе и гиббон якобы тоже были спасены, на них апробировали медикаментозную противобактериальную терапию.

Все дело в том, кто принимал решение. Ученый, мыслящий и совестливый, думающий о большем, чем успех его опыта, ставящий этот опыт как бы на себе, или блистательный, бесстрастный, а потому и особенно опасный экспериментатор, честолюбец, служащий каким-то иным, вовсе не научным интересам и целям.

Я понимал, что отца и самого несколько коробили эти, возможно, необходимые эксперименты профессора Мечникова, да и последующие павловские опыты на собаках, хотя как ученый он знал, что жестокость, хотим мы того или не хотим, присуща научному эксперименту, но жестокость эта, усиленная ученым сведенная к минимуму, — необходимость во имя целесообразности.

Но опаснее всего были псевдоопыты. Отец не верил Лысенко и не принимал его как ученого-теоретика. Еще в середине тридцатых годов отец на лекциях подвергал сомнению его безграмотные нападки на генетику, его невероятные достижения в гибридизации, о которых рапортовали стране журналисты, о которых поэты слагали стихи.

Во времена серьезной научной критики Лысенко, полной переоценки его деятельности, отец был довольно сдержан. Он не любил критиковать, когда

можно быть смелым, когда можно... Скорее, он был склонен критиковать, когда нельзя... И помню, что он говорил о Лысенко как о способном агрономе, хорошем практике, которому по мановению жезла дали всю полноту научной власти, удостоверение, справку, право на абсолютную и единственную истину. И было бы слишком просто сваливать всю вину на одного лишь «народного академика». Его подняли, раздули, сделали знаменем. Не было бы его — нашелся бы другой гонитель науки...

По своему характеру отец, очевидно, не мог стать бесстрастным экспериментатором, не мог приносить даже разумный необходимый вред живому.

«Все живое особой метой отмечается с ранних пор...». Это были любимые строчки отца.

В тридцатые годы в советской науке (биологии, философии, истории, других науках) происходил сложный процесс, шла смена поколений, ученые, сформировавшиеся до революции, старели, умирали — вступали в силу разные обстоятельства, и, это естественно, кафедры занимали более молодые. Среди молодых были прошедшие хорошую научную школу специалисты, талантливейшие люди, составившие впоследствии славу нашей науки. Но были и те, кого «назначили в ученые» (точнее в администраторы от науки) по своего рода оргнабору, по призыву укреплять кадры. Кадры, как известно, решают все. У таких была хорошая рабочая биография, только порой не было подлинного дара, культуры, высокой ответственности, что так необходимо ученым. Знания, опыт, духовную работу эти люди подменяли бойкой риторикой о классовой сущности науки, о связи с жизнью.

Такой подход был еще опаснее, чем призыв сбросить Пушкина и Толстого с парохода современности, чем рапповские загибы, чем приход ударников в литературу. Пушкина и Толстого сбрасывали, но они не падали, их продолжали читать, и всегда было легко определить: что сделали они и что сделали те, кто собирался их сбросить... Сам же Маяковский, один из авторов этого манифеста, позже с иронией и печалью писал о своих не очень одаренных собратьях с их безошибочным классовым инструментом познания: «Мы, мол, единственные, мы пролетарские».

В пафосе борьбы с наследием, со старой культурой была, конечно же, игра, опасная игра, в которую играли порою и талантливые люди — по молодости лет, по молодости эпохи. Потом, устав от этой игры, чувствуя ее бесплодность, обессиленные, они ползли назад, к истокам классики.

Другое дело в науке. Здесь вызов прошлому, традициям не был игрой. Он притуплял систему опытов, ослаблял и подменял их скороспелыми оценками. К счастью, это в малой степени коснулось точных наук. Я уже говорил о гонениях на генетику, социологию, кибернетику, ощущалось давление и на педагогику, психологию, ощущалось, как слабые толчки в почве. Некоторые науки были задушены в зародыше.

А землетрясение разразилось именно в биологии. Впрочем, когда оно разразилось, само слово «генетика» воспринималось как сомнительное.

Академия ВАСХНИЛ находилась недалеко от нас, в Большом Харитоньевском переулке. Там в юные свои годы гулял Пушкин.

Сейчас на этой площадке правил Трофим Денисович Лысенко.

Я видел его дважды в жизни. Первый раз в пятидесятые годы. Он вышел из ворот академии, сухой, с морщинистым, обветренным лицом, одетый

в мятый пиджачок. Мятый длинный галстук селедочкой болтался на тусклой, салатного цвета рубашке. Был он резок и чуть суетлив в движениях, тыкал рукой в собеседника, собеседником, как я впоследствии узнал, был его ученый секретарь Презент. Трофим Денисович отдавал какие-то будничные распоряжения. Ничего грозного, ничего отталкивающего не было в его облике — живой, худощавый, выглядевший старше своих лет человек с красным, обветренным, крестьянским лицом; может быть, в тонкогубости, в ухмылке, настороженной и чуть нервной, было что-то неприятное. А так — нет, Лысенко как Лысенко, «народный академик», «Народным академиком» называли его в статьях, пьесах, книгах.

Вообще о нем было много пьес и книг, в них он предстал воплощением народной мудрости — пахарь, ставший президентом. В этих пьесах и фильмах против него действовали лжеученые, вейсманисты-морганисты, носившиеся со своими идеалистическими теориями, далекие от древа познания, отвергающие реальный фактор жизни, научного размаха «шаги саженьи», вертки, предающие в конце концов не только его, но и всю мицуринскую биологию, всю нашу науку, а с нею и Родину.

Он же и его соратники, назло им, давали удивительные результаты на своем опытным участке, на своей волшебной агростанции под Москвой, потрясающие урожаи, и никаких тебе нелепых теорий, никаких хромосом — только сила преобразования, способность властвовать над землей. «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».

Вейсманисты-морганисты, антинародные щеголи — все в конце концов обнаруживали свое бессилие и разоружались. Тем же, кто не хотел разоружаться... Литераторы и кинематографисты потом изменили свои взгляды, у некоторых нашлось мужество раскаяния.

Но я видел живых вейсманистов-морганистов, товарищей моего отца — академиков Николая Петровича Дубинина и Ивана Ивановича Шмальгаузена, профессоров Полякова и Раппопорта. Они не сдавались и не разоружались, а отстаивали изо всех сил опытом, фактами, мужеством правду своей науки. Их убрали из институтов, лишили кафедр, лишили трибун. В каждом институте, на каждой научно-исследовательской базе был собственный «лжеученый», которого следовало вывести на чистую воду. Если не доставало реальных, придумывали мнимых.

И все-таки не ломались, не гнули спину под напором безграмотности с учеными степенями, крикливой демагогии.

Вавилов — это имя я слышал с младенческих лет. Отец, скупой на эпитеты, называл его великим. Великий ученый уровня Мечникова, Пастера — так говорил отец.

Подкоп под Вавилова шел долго... Вот уже он погиб в тюрьме, были прекращены опыты его учеников, а отечественная генетика все еще дышала, жила... Надо было с нею кончать. Разгром состоялся в сорок восьмом на сессии ВАСХНИЛ.

К счастью, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов партия пересмотрела положение дел в биологии.

Наука, в которую Вавилов вложил столько сил, жизненно необходимая нашему хозяйству, уже в середине пятидесятых годов стала оживать, восстанавливаться.

А Лысенко все не сходил со сцены. Вроде бы он и пошатнулся и его вульгаризаторские позиции и методы подавления научной мысли были разобла-

чены, но он все еще существовал и имел определенную поддержку. И снова выходил на сцену, запутывал несведущих, убеждал далеких от тонкостей аграрников, что измышления генетиков — только помеха сельскому хозяйству. С его именем соединялась у некоторых людей практическая суть науки, далекая от мистических хромосом, которые нельзя увидеть, взять и пощупать. Последний взлет Лысенко пришелся на конец пятидесятых — начало шестидесятых годов. «Волонтаризм в науке» — так было определено впоследствии.

А я, маленький современник тех событий, той грандиозной драмы, что происходила в биологии, видел все иначе.

Видел товарищей отца. Один из них рассказывал, как он пришел к академику Лысенко:

— Такой, знаешь ли, простой, сидит за голым столом, винегрет, селедочка... «Садись, — говорит, — со мной, поедем как следует». А я его знаю двадцать лет, приметил его, когда он простым агрономом был, я о нем писал, а потом дороги наши разошлись. «Да, разошлись, разошлись дороги, — говорил он мне, приглашая сестру. — Не с тем грузом ты, братец мой, пошел, не по той, скажу я тебе, — он оторвал от буханки большой ломоть, посыпал его солью, — да, не по той, скажу я тебе, дорожке. По болоту по топкому вы все пошли, и неизвестно, куда оно вас привести может. Так ведь и потонуть нетрудно. Подумай, пока еще не поздно».

И этот человек подумал, подумал и в конце концов написал письмо на имя президента ВАСХНИЛ академика Лысенко, что ему не по пути с ошибочной вредительской линией академика Вавилова.

Но были и другие. Был ученый, который заявил в ответ на грубые реплики Лысенко:

— Что вы меня пугаете, Трофим Денисович? Я в окружении был, вышел, немцев не испугался, а вы думаете меня запугать.

Институт растениеводства и Институт генетики академика Вавилова были закрыты еще до войны, и после войны президентом Всесоюзной академии наук стал Сергей Иванович Вавилов, родной брат Николая Ивановича.

— Когда я вижу его, — говорил отец, — я думаю: как он мог жить с таким грузом? Ведь он все понимал, но не мог сказать, молчал, страдая, молчал и работал — для страны. Верил ли он, этот пожилой человек с благородным медальным профилем, выдающийся физик, что уже после его смерти имя его брата выйдет из небытия?

Лет пятнадцать назад я поднимался по лестнице знаменитого дома на Берсеневской набережной. Серый, массивный, в духе конструктивистской архитектуры двадцатых — тридцатых годов, с маленькими несовершенными окнами, блестящими, словно старомодные пенсне на крупном, каменном, много выдававшем, бесстрастном лице.

Поднимаюсь к своим друзьям, вижу мысленно лестничную площадку, квартиру, точнее, не номер квартиры, а щегольскую рамку для номера да стеганый красный дерматин под кожу.

Позвонил. Пауза. Друзья ждали меня и потому должны были открыть быстро, а тут тишина, словно никого нет в квартире, будто она вообще нежилая. Ни голоса, ни звука шагов.

Позвонил еще раз длинным, требовательным звонком. На сей раз услышалось, угадалось движение, как бы тень жизни там, за стеной... Тень жизни — почему я так тогда подумал?

Кто-то замедленно, осторожно, однако не спрашивая, открывал запор. Дверь наконец раскрыли,

и в ее проеме я увидел в пижамной куртке, в тренировочных спортивных штанах, обтягивающих худые стариковские ноги, человека с морщинистым, нехорошо, болезненно загорелым, желтоватым лицом, острым носиком, с облетевшей и редкой челкой над мокрым, вспотевшим лбом.

— Извините, я, кажется, ошибся,— сказал я старому хозяину.

— А вы, собственно, к кому? — спросил он странным для его возраста и нездорового вида молодым и звонким голосом.

Я назвал фамилию.

— Нет, это рядом. — И, подумав, добавил чуть замедленно, как бы извлекая забытое слово из глубин памяти и точно бы с тенью иронии: — Визави. — И усмехнулся. Ему, видно, самому понравилось. — Кажется, визави,— произнес он еще раз, слегка издеваясь над этим иностранным словом. Потом показал дверь напротив худой рукой с болтающимся на узкой иссохшей кисти широким, как крыло, пижамным рукавом.

Вежливый, доброжелательный, странноватый старик.

— Спасибо, извините, простите, ради бога.

— Да ничего,— с легким нажимом на «о» сказал он.— Дом большой, можно и перепутать. Кто здесь теперь только не живет!

Что-то знакомое было в его лице, вроде я уже видел его... Только давно-давно, кажется, даже часто видел, но где? Подумалось, по телевидению... Нет, раньше, тогда еще не было телевизора. В давнюю, дотелевизорную эпоху. Да, очень знакомое лицо, точнее, новый стариковский образ очень знакомого лица.

Я уже догадывался, уже почти знал, память связывала меня с моим детством, где так незримо, долго и прочно присутствовало это лицо.

Я посмотрел внимательно на дверь: потемневшая табличка, слившаяся с дерматином,— видно, ее давно не чистили,— и фамилия вязью, как на визитных карточках: «Т. Д. Лысенко».

Все меньше осталось современников той поры. Тех, кто противоборствовал временщикам.

Умер друг отца профессор Поляков. Давно нет в живых академика Ивана Ивановича Шмальгаузен. Многих нет.

Среди благородных людей, отстаивавших правду науки, был академик Бонифатий Михайлович Кедров, философ, блестящий человек. Он не был напрямую связан с драмой сорок восьмого года, да и к генетике прямого отношения не имел, но, очевидно, понимал, что спор о хромосомах и генах выходит за рамки только лишь генетики. Это спор о большем, о законах эволюции, о сложнейших процессах, объединяющих историю, философию, биологию.

В детстве меня удивляло его казавшееся испанским имя как бы из сказки. Бонифатий, отец Бонифатий... Позднее я узнал, что это имя из русских святцев, просто не очень распространенное.

Я с интересом читал его книги, отец передавал мне от него приветы и говорил:

— Вот хорошо бы тебе познакомиться с философом Бонифатием Михайловичем Кедровым.

— Разве бывают сейчас философы в чистом виде? — шутил я. — Вот Сократ, Платон, Спиноза... А сейчас разве время философов? Может быть, социологов, может быть, социальных прогнозистов, популяризаторов философских идей, но не их творцов?

— Нет, этот человек был философ по сути и бо-

ец по характеру. Даже в пору лысенковского угара он не поддался, как некоторые другие доктора философских наук...

Однажды я смотрел программу «Время». И вдруг — пауза, что, как известно, обещает траурное сообщение общесоюзного масштаба. На этот раз голос диктора произнес: скончался выдающийся ученый, философ, академик Бонифатий Михайлович Кедров.

Я мысленно ахнул... «Отец Бонифатий», — прошептал я про себя.

Место, населенное современниками этой эпохи, ровесниками отца, становится все более пустынным и безлюдным.

Отец редко говорил о смерти, он только очень любил повторять своим студентам, своим ученикам, да и мне, когда мы слишком жаловались на обстоятельства жизни, фразу Монтеня: «Кому недостает мужества как для того, чтобы выдержать смерть, так и для того, чтобы выдержать жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, как положено таланту,— виноват в этом сам».

Это было поколение оптимистов. Если бы не оптимизм, не выдержать бы им огромное напряжение двадцатых—тридцатых годов, войну да и много других тяжелейших проверок на способность выжить и остаться самим собой. К этому оптимизму они пришли нелегко и не сразу. И недаром любимая книга отца называлась «Этюды оптимизма» Мечникова. После долгого перерыва она вышла в шестьдесят четвертом году под редакцией и с послесловием отца.

Передо мной лежат московское издание 1904 года «Этюд о природе человека» Мечникова и «Этюды оптимизма», с которыми отец возился так много, что чувствовал себя в какой-то степени участником этой книги. Надпись мне — мелким каллиграфическим почерком — и дата: 7 марта 1965 года.

Я много писал о Чистых прудах, о Машковом переулке, о родине моей, связанной более всего с отцом. Но была и другая Москва, ныне еще более неузнаваемая, чем район Чистых прудов.

Мои родители разошлись, когда мне было мало лет. Мать жила в Большом Афанасьевском, отец — в Машковом. Я путешествовал от метро «Кировская» до метро «Дворец Советов». Я рано привык к самостоятельности и уже в девять — десять лет был опытным путешественником в подземных, со светящимися стенами пространствах Москвы.

Позже мать переехала на Большую Ордынку. Улица была почти нетронутой, такой, какой сформировалась в прошлом веке, одна из центральных улиц Замоскворечья. Действующая церковь притягивала по праздникам да и в будни множество старух и старцев со всего Замоскворечья; таких старух и старцев теперь все меньше и меньше. Из полунищенских подвальных квартир женщины на пашу шли прибранные, в светлых платочках, осторожно выползали, выбирались на белый свет, сами про-светленные, бережно держа в чистых марлечках красивые дородные куличи и нарядные, ярко расписанные яйца... Здесь чувствовал я всей дрожью жилую старую Москву, ту Москву, где жили мои прадеды и прабабки. Квартира матери была тоже необычна: сводчатые потолки, низкий, как бы полуподвальный этаж, никакого подъезда. Дверь распахивалась прямо в заросший липой большой двор; зимой из холода, снега ты без всякого перехода попадал в эту натопленную маленькую квартирку с большими зарешеченными окнами, в которых мелькали ноги и все виделось в странном ракурсе,

снизу, потому люди и собаки — все было огромно. В нашем доме, в соседнем подъезде, в квартире сатирика Виктора Ардова подолгу жила Анна Андреевна Ахматова.

Мать благоговела перед ней. Она говорила мне: «То великая русская поэтесса, посмотри внимательно, запомни... Но ты ведь ничего не понимаешь». Не помню, не знаю, наверное, тогда не понимал. Знал четырех великих русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Маяковского, причем Маяковский был не просто великий, но и «лучший, талантливейший», и мы учили его в огромном объеме, больше, чем Пушкина и Лермонтова.

Правда, был еще один любимый, он не входил ни в какие списки, его не задавали на дом, он был любим почти тайно; мы заучивали его наизусть, переписывали с книжки, изданной до войны, серенького маленького однотомника с чудесным портретом. О, как любил я его образ, саму его песенную фамилию — Есенин! Позднее я понял и ощутил смысл и тайну его стихов, а тогда только чувствовал чистый и горьковатый звук, удивительно трогавший, волновавший предчувствием тех более и расставаний, что предстоят впереди.

«Несказанное, синее, нежное...»

Душе хотелось несказанного, а задавали учить наизусть что-то другое, современное, может быть, и неплохое, но слишком определенное, четкое, лишённое тайн. Странно подумать, что еще тридцать пять — тридцать восемь лет назад Есенин был в официальном полублаженстве в школе, в институтах, к нему непременно прикреплялся эпитет «упадочный». Сейчас, когда всенародно праздновали девяностолетие Есенина, я перечитывал вырезанную мной крохотную заметку из «Литгазеты», где говорится, что поставлен новый памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище. Это было в пятьдесят первом году. Несколько строчек петитом. Это еще хорошо, это еще достижение тех лет.

Дождусь ли на своем веку, что увековечена будет не только жизнь Есенина, но и смерть его? Ведь смерть поэта так же священна, так же принадлежит истории, как и жизнь, но во всем мире место, где великий художник испускал последний вздох, охраняется, составляет часть истории народа, мировой культуры, по крупницам собираем утварь, предметы подлинные или соответствующие тем, что были, что как бы помнят последние слова Пушкина, Достоевского. Немцы помнят и берегут тот дом, где умер Чехов, а у нас в Ленинграде в гостинице «Астория», бывшей «Англетер», откуда навсегда в вечность ушел тридцатилетний Есенин, живут командированные, туристы; здесь нет ни доски, ни малейшего знака, напоминающего о последних днях Есенина.

В свое время я говорил об этом с ответственными людьми из Управления культуры Ленинграда.

«Как же это сделать? — говорили они. — Сами понимаете, действующая гостиница, действующий номер. Площади не хватает. К тому же все будет ходить, а в гостинице это не положено».

Да, будут ходить. И надо, чтобы ходили. Как не ходить, если здесь ушел из жизни Есенин?

Никто в гостинице толком не знает точный номер этой роковой комнаты. Я проверил, дежурные отвечают: «Не наша это работа, у нас своих дел хватает, своих забот. Вот в одиннадцатом номере графин разбили».

Старик швейцар, исконный петербуржец, втихую, почти конспиративно проводит меня в тот номер.

— Здесь, здесь это было... Я тогда жил в Питере, помню, прибежал к «Англетеру», плакал. Есенина

мы все знали. Как же это случилось... Да, но без разрешения сюда нельзя, здесь люди... Придумайте что-нибудь, вроде бы вы по ошибке, или что-нибудь в этом роде, или удостоверение ваше покажите».

Хотелось что-то придумать, да не смог. Да и зачем здесь удостоверение, в комнате, где погиб Есенин... Разве так не поймут?

Вхожу, прошу извинения, объясняю. Они смотрят на меня с удивлением. Ничего не знали, что здесь... Сами из Норильска. Вот только недавно поселили. Ждали почти сутки, когда номер дадут. Обычно селят быстро, поскольку они спортсмены, биатлонисты, а тут кутерьма какая-то, наконец вот поселили, номер хороший, просторный.

На столе — бутылка кефира, пачка сигарет. Один покуривает, но нервно и поглядывая на дверь, боится, что тренер застукает.

Комната действительно большая, просторная... И сразу, как входяшь, обдаёт органичным золотым свечением. Вот огромное окно, в нем близкий, светящийся тем же золотом, сверкающий на зимнем солнце, особенно золотой на белизне снега, громадный, мощный, с несколько неуклюжими плечами Исаакий. Взгляд уходит от окна, утыкается в потолок, стены... Вот здесь, здесь, даже боюсь смотреть на это место, вспоминаю фотографию из неизвестно как попавшего ко мне старого журнала «Прожектор», сделанную сразу же после... Голова запрокинута, рот, захлебнувшийся детским, обиженным, как мне слышится, всхлипом.

Я вижу, что рядом с этим местом, где он... стоят кроссовки. Новенькие, иностранные, на рифленной подошве. Огромный размер. Аккуратно, в нищотку выстроились две пары и еще две, какие-то специальные, видно, туфли. А рядом — цепь бутылок. Нет, не водка, а тонизирующий напиток «Саяны».

Все это странно переплетается, словно на моментальной фотографии или в кинематографе, в каком-нибудь замысловатом фильме, может быть, Бергмана или кого еще... Гиперреализм.

Вот здесь, здесь.

И за день до этого здесь, на месте биатлонистов, сидели Есенин, Клюев, Эрлих. Есенин читал Клюеву последние стихи, может быть, подводя итог чему-то, а тот слушал, склонив голову и сложив руки на животе, а потом сказал язвительно: «Хорошие стихи, Сережа, очень хорошие. Вот если все эти стихи собрать в одну книжечку да украсить ее золотым обрезом, она была бы настольной книжечкой у всех нервных барышень».

Может быть, как никогда ему в этот день был нужен другой голос, голос одобрения, восхищения, а не снисходительная ирония. Еще одно меня всегда мучило: почему же Вольф Эрлих сразу не развернул блокнотный листок с последними стихами, а положил его в боковой карман? Правда, Есенин уговаривал: «Нет, ты подожди. Останешься один — прочитаешь. Не к спеху ведь».

Не к спеху... И вот что интересно: чувствуя несправедливость, огромность потери, начинаешь посвоему моделировать историю, пытаешься возразить ей во имя того, чтобы вернуть жизнь великому и любимому человеку.

Спортсмены тактично молчат, опустив головы, они ведь не виноваты, что их сюда поселили, и думают они, возможно, о другом. А швейцар не тревожит меня, видно, уважая мои чувства, но я понимаю, ощущаю: нервничает, все же не положено, номер-то чужой, и беспокоить людей тоже не положено.

Я выхожу, он за мной и утешает меня:

— Да вы не кручиньтесь. Давно это было. Без малого шестьдесят лет. Сколько хороших людей с той поры погибло! — И, подумав, добавляет: — Знаете, а ему и не к лицу как-то старым быть. Сергей Есенин, он молодым был, молодым и ушел.

Я об этом тоже думал. Есть такие люди — им не дано, нельзя, как это ни странно, быть стариками. Сидеть в президиуме, подремывая... Нет, это не для него... Но и то, что случилось в номере «Англетера», не для него, ни для кого. Только историю, их жизнь не исправишь, не перепишешь. Единственное, что обязаны мы сделать, — беречь эту историю, охранять для живущих сегодня каждый ее значительный миг, и потому постыдно, что в последнем жизненном убежище поэта спят, едят, умываются туристы, даже не понимая, где они, в какой комнате. Да и нет их вины в том, что вторгаются в трагически малое, глубоко личное и принадлежащее всем, неприкасаемое пространство истории.

Дом 17 по Большой Ордынке был домом, где я жил. И я понятия тогда не имел, что и он принадлежит истории. Высокая немолодая женщина проходила по нашему двору, иногда гуляла, смотрела, как мне казалось, сосредоточенно и словно с ожиданием на широкую Ордынку, точно ждала кого-то. Я прочитал в одной критической разгромной статье послевоенных лет о том, что ее поэтический образ, ее лирический герой, да вроде и она сама — это смесь блудницы с монахиней. Сначала я не задумывался об этом. Но потом понял: как не подходят эти слова к ней, как нелепы и оскорбительны по отношению к каждому ее слову, к каждому движению, глазам — живым, очень изменчивым и все-таки как бы навсегда принявшим внутрь себя скорбь, никогда, даже в минуты веселья, неспособным, а может быть, не желающим проститься, расстаться с этой скорбью.

Я упоенно, бешено носился по двору с моей собакой, белым, так называемым королевским пуделем, любимцем мальчишек и стариков нашего двора и соседних. Юноши, подростки, как я заметил, а также люди средних лет лютуют овчарок, догов, боксеров, собак более основательных, более злых или кажущихся злыми. А не пуделей, красавцев и умниц, напроць лишенных хищности, агрессии. Кто-то бросал насмешливо: «Ишь какой завитой, будто из парикмахерской!» Кто-то спрашивал с иронией: «Почем шерсть продаешь?»

Но я любил своего пуделя. Возгласы восхищения я воспринимал как должное, а насмешников не считал за людей.

Однажды Анна Ахматова обратила внимание на белого королевского пуделя, с которым я гулял.

— Как его зовут? — спросила она.

— Ланн, — чуть робея, ответил я.

— Ланн? Смотрите, какое удивительное имя. Ты знаешь, кого так звали?

— Нет.

— Одного из самых бесстрашных и знаменитых маршалов Наполеона. Он погиб на поле боя... Маршал Ланн.

Да, это было интересно. Наших маршалов Великой Отечественной войны я знал, кажется, всех, а вот французских, кроме Мюрата и Даву, пожалуй, никого.

— У Наполеона, — сказала Анна Андреевна, — было довольно много маршалов. В детстве я их всех знала, а сейчас в памяти осталось не так уж много: Бертье, Мюрат, Даву, Дарю, Ланн и еще несколько. Постепенно память сужает круг имен, — добавила она уже как бы и не мне. — Остаются самые близ-

кие и самые звонкие. Вот Ланн — это действительно звонкое имя.

Она усмехнулась, кивнула и пошла навстречу молодой женщине, стоящей в калитке двора.

— Где бы достать стихи Ахматовой? — спросил я потом у отца.

Он принес мне томик, который назывался «Четки».

— Она не мой поэт, — сказал он. Он не любил слово «поэтесса». — Мне, знаешь ли, ближе Блок, Есенин, Маяковский, может быть, Пастернак. Но она замечательный поэт, только ты сейчас этого не поймешь.

Действительно, я понял это много позже.

Однажды в доме Петровых мне посчастливилось встретиться с Ахматовой.

Она только что вернулась из Италии, где получила премию, и рассказывала о своей поездке очень подробно, щедро, со множеством отступлений от реальных встреч, от современников, бесстрашно споря со Стендалем и с Куприным. Она говорила, что не согласна с тем, будто главная культурная дорога, идущая в Россию из Европы, начинается в Париже, во Франции. Она убеждена, что для русской живописи, русской музыки, а также и поэзии Италия ближе и важнее.

Трое молодых людей сидели перед ней в тот вечер, внимая каждому ее слову, радуясь и удивляясь ее страстности, непререкаемости и своеобразию суждений. Когда мы уже уходили, я решился напомнить:

— Анна Андреевна, я жил когда-то рядом с вами. Помните Большую Ордынку, дом 17?

— Еще бы не помнить, я и сейчас там бываю и даже живу. А вы?

— Мы переехали, — сказал я с сожалением. — У меня еще был пес, белый пудель. Помните?

— Как же, конечно. Я помню его... Сейчас, сейчас вспомню, как его звали... Кажется, именем какого-то французского маршала. Ней? Нет, не Ней, не помню.

— Ланн, — сказал я, — его звали Ланн.

— Да, точно, прекрасный пес. И отличное звонкое имя. Ланн, — звучно, словно смакуя, произнесла она. И прочитала так же, как читала собственные стихи, очень низким голосом, чуть замедленно и как бы равнодушно, еле давая волю ритму:

**Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет...
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.**

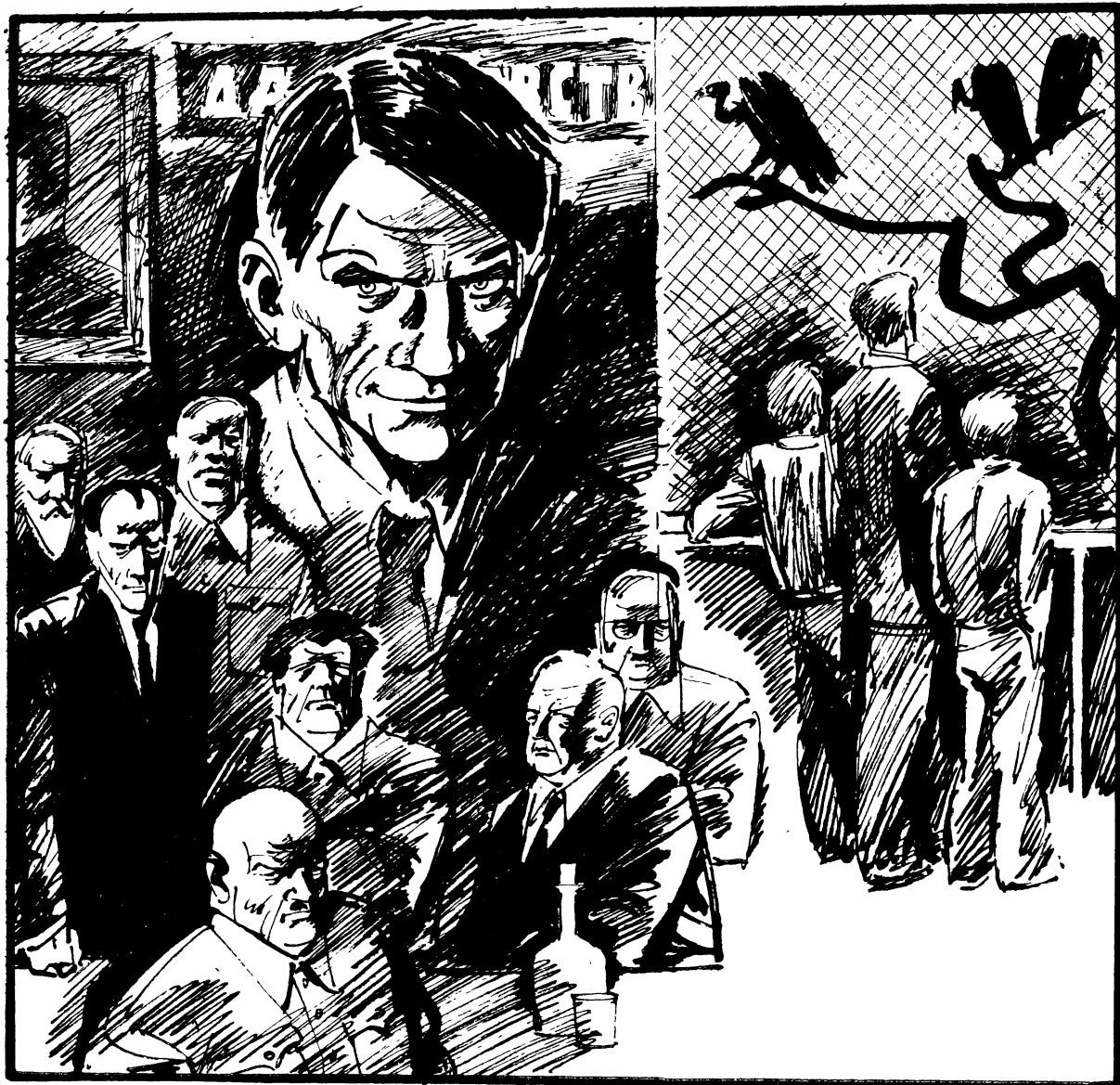
— Так вот, Ланн не продал, — сказала она, — а погиб на поле брани. Как хорошо, что бывают не продающие хозяина маршалы. А где ваш королевский пудель?

— Его нет. Он умер.

О собаках не говорилось «умер». Это было слишком высоко для собак, для них было другое слово — «издох», но мне не хотелось произносить его в связи с моим покойным Ланном.

Анна Андреевна замолчала. Может быть, она забыла, что прошло уже больше десяти лет, а у собак, даже с маршальскими именами, век короткий.

— Да, — сказала она, нарочно отвлекаясь от этой темы, — истинная Москва — Замоскворечье. Это я вам говорю как жительница Петербурга.



В Замоскворечье были переулки с низкими одноэтажными, двухэтажными домами, иногда разреженными новыми зданиями. Лаврушинский, Большая Ордынка — это были как бы аристократы Замоскворечья, а туда вниз вели улочки и переулки, где не было Третьяковской галереи, музеев, филиала Малого театра; они принадлежали как бы другой, уходящей, мещанской, деревянной Москве, где в заставленных окнах, на подоконниках в горшках стояла герань.

Немало ругали эту пресловутую герань, символ мещанства. У меня же она вызывает трогательное чувство — теплые, домашние, неприхотливые и по-своему очень красивые цветы зимнего города.

«В одной московской улице я помню старый дом». Но не только старые дома и церковь в Климентовском возникают, когда думаешь о Замоскворечье, видишь заводской двор, спящие по булыжным мостовым грузовики и приземистые «Победы», похо-

жие на жуков; впрочем, это сейчас они кажутся похожими на жуков, тогда же воспринимались как наряднейшие лакированные лимузины.

Но дальше, дальше ведет меня Замоскворечье, к улице, которая называлась когда-то Большая Татарская, к деревянному темному дому, которого сейчас нет, и к другому, солидному трехэтажному, уже не на Татарской, а на Новокузнецкой улице, которая и сейчас осталась.

В первом — в ужасающей коммуналке — жил мой отец, в другом — мои дед, бабка и тогда еще совсем юная мать.

В первом — ругались, пили, дрались, одинокая портниха принимала заказы, шила мужские костюмы, кто-то пытался повеситься в уборной, я это хорошо запомнил: дикие крики всей квартиры, люди, столпившиеся у дверей уборной, быстро пришедший участковый и дворник и белое лицо приготовившегося, но не осуществившего свой замысел



мужчины, его взяли под руки и повели куда-то во двор к машине.

Но были и другие моменты в этой жалкой квартире, моменты всеобщего братства и дружбы. Свадьба, когда выдавали замуж за молодого слесаря, к тому же еще футболиста, игравшего во второй группе, — совсем юную армянскую девочку; субботник, где все дружно перекапывали двор, высаживали зелень, а вечером отмечали итоги своих трудов.

В этом же самом доме, точнее сказать, в его флигеле, находилась трудкоммуна, одним из воспитателей которой был мой отец.

Отец как-то показал мне подчеркнутую им фразу Сухомлинского. В мысли, высказанной Василием Александровичем, не было открытий, но она очень точно обобщила то, что как бы само собой в педагогике носилось в воздухе: «Чтобы человек понял, что такое нельзя, он должен убедиться в том, что

такое надо, необходимо. Из отношений к окружающим ребенка вещам и живым существам — книге, тетради, цветку, птице — начинается человеческая культура, начинаются отношения к человеку. Любое правило можно повернуть к воспитаннику такой стороной, что исчезнет запрет и появится призыв к деятельности, одухотворяющей человека, помогающей ему утвердиться на поприще добра».

Итак, я мысленно вижу своего отца в костюме, в кепке, в галстуке (он всегда ходил в галстуке, не стесняясь этой интеллигентской и много раз высмеянной сатириками двадцатых годов детали одежды), первый раз вступающего на территорию трудкоммун.

Трудкоммуна объединяла беспризорников, детей московских улиц, кандидатов в тюрьму, но еще отделенных от серьезного преступления малой дистанцией. Большинство из них только подходили, подвзлазили к краю...

Отец внимательно прочитал дела своих подопечных, поговорил с другими педагогами, и вот он впервые знакомится с личным составом трудкоммун.

После знакомства один из воспитанников по кличке Рудя сказал отцу:

— Дай-ка мне поносить эту селедку!

Отец не сразу понял, потом сообразил, о чем речь.

— Селедку едят с черным хлебом.

— Вот именно, а вы ее носите.

— Так чего конкретно ты хочешь? — спокойно переспросил отец. — В чем суть просьбы?

— Я уже сказал, а повторять не привык. Дайте поносить селедку!

— Значит, галстук? — спросил отец.

— Вот именно.

— Тогда на обмен. Я тебе галстук, а ты мне фуфайку.

Рудя не ожидал такого поворота. Он думал, на него за столь нахальное предложение будут кричать, его станут наказывать или увещевать. А тут такой странный поворот. Но Рудя был игрок по натуре.

— Давай.

— Не давай, а давайте, а то обмен не состоится, — сказал отец.

— Давайте так давайте, — уже несколько успокаиваясь, как бы теряя нить игры вместе с интересом друзей, все время наблюдавших за этой сценой, сначала с азартом, а затем все с большим равнодушием.

Отец снял галстук-самовяз и взял грязную штопаную Рудину фуфайку. Рудя остался голый до пояса, в галстуке.

Все захохотали. Отец попрощался с личным составом и покинул территорию трудкоммун. Дома он прокипятил вонючую фуфайку Руди, повесил ее на веревку в коридоре и сел за работу. В то время он писал книгу «Происхождение уродств».

В детстве я с ужасом перелистывал ее страницы. Путь к пониманию человеческого совершенства идет через изучение аномалий, отклонений и уродств.

Как отец и предполагал, ночью раздался стук. Но в окно, а не в дверь. Дверь коммуналки закрывалась за засовы, звонок не работал, так как его постоянно срывали трудкоммунцы во время своего досуга — эдакая мелкая разминка перед стартом... А старт неизвестно когда будет, и неизвестно куда они двинутся, кто дойдет первым до финиша, кого обкрадут, оскорбят, избьют на этой дистанции юные воспитанники трудкоммун.

Отец погасил свет и подошел к окну. Он увидел прижатое к стеклу лицо Руди и его белевшие в темноте голые плечи. Отец встал, пошел открывать.

Через минуту в комнате появился голый по пояс, в галстуке Рудя. Он молча огляделся, но ничего особенно примечательного в комнате воспитателя не было. Две этажерки с книгами, старый революционный портрет Толстого из «Нивы», прибитый к стене, — он принадлежал еще деду. Кровать, колесный письменный стол, настольная лампа с широким красным абажуром. Когда в кино хотят воспроизвести обстановку двадцатых — тридцатых годов, то ставят в мизансцене такие лампы и столы.

Но все это не заинтересовало Рудю, а заинтересовала его, как и меня через десятилетие, именно рукопись, над которой работал отец. Ну, конечно, не рукопись, а иллюстрации к ней.

— А такие бывают разве? — с удивлением спро-

сил Рудя и посмотрел на двух сросшихся близнецов-уродцев.

— Конечно, бывают, и нередко. В природе еще и не такие аномалии бывают.

— А ну-ка еще покажите!

Отец подвинул к нему стопочку фотографий-иллюстраций.

Рудя внимательно посмотрел и сказал:

— А я б таких уродцев убивал.

— Убить-то легче всего.

— А вы пробовали кого-нибудь убить? — спросил Рудя.

— Нет, не пробовал, а ты?

Рудя помолчал, потом сказал:

— Да, пробовал.

— Ну и что?

— Нет, не получилось у меня... Не захотел я. Они его сами чуть не кончили, а я отвалил.

— А кто он был?

— Да один лысый... Старик. Мы к нему залезли. На даче в Ильинском. Думали, пустая дачка, а оказалось, он там живет. Никогда не выходил, мы за дачей следили, а тут, как вошли в дачу, он и выполз, испугался, стал кричать... Ну, и пацаны начали его потрошить. Он орет очень громко, а вокруг никого нет — пустота, на соседних дачах никто не живет... Ребята сначала решили его попугать, пощекотали чуть-чуть ножничком, пару раз укололи небольшим, для страха, а потом увлеклись и стали разыгрывать в «орлянку»: кому его кончить. Вышло — мне. А он молчит, только смотрит исподлобья. Глаза страшные, вроде бы больные. Я еще молодой был — четырнадцать лет; конечно, я всякое повидал, но мокрых дел я не уважал и не уважаю. Сам не допускаю и другим не советую. Жизнь, как говорится, есть жизнь. Баракло отними, а жизнь оставь. И я отказался его резать. Они на меня обиделись, чуть самого не порезали, а я сиганул в окошко и убежал.

Он подошел к зеркалу, стоявшему на полочке, посмотрел на себя и усмехнулся.

Отец, когда рассказывал это мне, заметил, что усмехнулся Рудя как-то очень взросло, невесело, даже с усталостью, вместе с тем с иронией.

— Чего смеешься? — спросил отец.

— Да так, на себя лыблюсь. Вроде этих ваших уродов. Голый, а в галстуке. Давайте обратно меняться. Фуфачку дадите?

— Пожалуйста, — сказал отец, — только она сырая.

— Вы постирали, зачем?

— Да так, больно уж она вонючая. А мы ж с тобой поменялись, ну не стану ж я вонючую носить.

— Да это я так поменялся.

— Я-то знаю для чего... Тебе нужно было надо мной посмеяться. Все-таки новый воспитатель, надо его унизить перед ребятами. Ты любишь, когда над другими смеются?

— Иногда.

— А когда над тобой?

— Не особенно... Но надо мной часто смеялись...

Только я их отучил. Я решил, стану лучше смеяться над другими, так гораздо интереснее.

Он замолчал и, вытянув руки, сидел, уже не глядя по сторонам, с галстуком на голой груди. Отец вышел за фуфайкой. Он говорил, что сначала он внутренне поколебался — такого персонажа одного не следовало оставлять в комнате. Все-таки там были ценные книги, да и рисунки эти, переснятые с уникальных иностранных изданий, он тоже мог прихватить для того, чтобы развлечь, развеселить своих друзей.

Все же отец решил оставить его одного, так показалось ему правильнее.

Через минуту вошел отец, принес выстиранную сырую фуфайку. Рудя надел ее, снял галстук, положил на письменный стол и ушел.

Отец продолжал свою работу, а через неделю его обокрали.

Он был потрясен и тем, что пропали бесценные, невосполнимые материалы его научной работы, и тем особенно, что сделал это человек, которому отец неожиданно доверился, с которым, казалось, нашел нормальный, человеческий язык.

Отец вызвал весь отряд, пришел начальник трудкоммун, каждого персонально спрашивали: ты сделал?

И так по алфавиту. И каждый отвечал: нет, не я. Дошла очередь до Руды.

Отец спросил медленно, отдельно... посмотрел на него, давая возможность использовать последний шанс, открыто, при всех сознаться.

Тот выдержал взгляд и, не отводя глаз, твердо сказал:

— Нет, не я.

Впоследствии друзья отца советовали оставить эту проклятую трудкоммуну: зачем она ему? Он серьезный, перспективный ученый и вдруг завяз с «блатными». Был момент, когда отец и сам готов был покончить с этим. Но что-то ему мешало, не давало уйти отсюда. Трудно и жалко было бросить то, чему отданы силы, время, надежды. Да и непонятным образом привязался он к этим темным, наглым, ненадежным пацанам. Всю свою жизнь он с кем-то возился и кого-то воспитывал.

Вот почему, когда он стал заведующим кафедрой общей биологии в одном из московских вузов, он так много «возился» не только с одаренными, но и с теми, у кого ничего не получалось, кто не верил в себя.

А в молодые свои годы пытался соединить вроде бы несоединимое, проблемы эволюционной теории в биологии и проблемы эволюции человеческого сознания, пробуждение этого сознания в неразвитых молодых людях, инстинктивно сопротивляющихся проблемкам этого самого сознания в себе, по сути дела, ничего не знающих о детстве и о молодости.

Искали книги. Занимался этим следовательно, ведь нехорошо получилось: обокрали общественного воспитателя, человека, безвозмездно отдававшего короткие часы свободного времени неблагодарной шпане. Да и сами ребята чувствовали себя скверно.

Рудя, Рудольф, он же Мотыль, он же обыкновеннейший Ванька Конавкин, почему-то стыдившийся своего такого простого имени и такой обыкновенной фамилии в эпоху красивых, удивительных современных имен типа Марс, Электрон, Планетарий, на худой конец,—Рудольф исчез бесследно.

Над трудкоммуну шефствовало Общество политкаторжан. Здесь отец познакомился с семьей моего деда Василия Анисимовича Анисимова, депутата второй Государственной думы, делегата лондонского съезда РСДРП, много лет просидевшего в царских тюрьмах и на каторгах, в Петропавловской тюрьме, в Александровском центральном в Иркутске, на поселении в Сибири. Дед был активным деятелем Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. А в те дни дед только что вернулся с Дальнего Востока, где он руководил трестом «Дальлес», сейчас в Москве заступил в должность заместителя

председателя СНХ и возглавлял трест «Экспортлес», то есть руководил экспортом всего советского леса, одного из главнейших источников валюты в то время.

Юрий Валентинович Трифонов, напечатавший в шестидесятые годы «Отблеск костра», даря его мне, сказал: «Ты должен написать о своем деде. Это твой долг не только перед ним, но, пусть это не звучит громко, перед историей страны и революцией. Займись этим... И помни, никто этого не расскажет, потому что история у каждого из нас — в жилах, в крови».

Я пока не написал этой книги, хотя есть очень много документов и материалов, в том числе и письма деда из ссылки к Ленину в Париж. Дед существовал в том же, что и отец, магнитном поле пространства истории. Но он дальше от меня, я почти не застал его, а отца я не то что помню, я ощущаю почти каждый шаг, хотя убежден — и о нем я много не знаю. И отец для меня не только мой отец, но часть поколения — говоря нелюбимым мной с детства языком учебников, его представитель. Это поколение я застал, его зрелость и старость — мое детство и мое взросление.

Судьба же деда начиналась в прошлом веке. В Государственную думу его избрали в Саратовской губернии. Когда он возвращался на родину, на Волгу, его встретили восторженно, несли на руках как «защитника обездоленных и неимущих». Сын священника, он защищал там интересы русских крестьян и пастухов-чувашей. Я читал его речи, острые, бескомпромиссные. Потом возникает знаменитое думское дело социал-демократов. Василий Анисимов (партийная кличка — Старик) получает приговор, попадает в Петропавловскую крепость, затем в страшный, известный на всю Россию Александровский централ, потом в ссылку.

Из ссылки дед написал Ленину в Париж большое письмо и получил ответ. Письма деда к Ленину остались в архивах Института марксизма-ленинизма, выдержки вошли в книгу «Ленин во Франции». К сожалению, ответное письмо Ленина не сохранилось.

В 1917 году Василий Анисимов был товарищем председателя Петроградского Совета. В двадцатые годы он вновь возвращается в Сибирь, на Дальний Восток, входит в состав правительства Дальневосточной Республики (ДВР). Здесь решается важный для самого существования России вопрос о судьбе Дальнего Востока, решается драматически. Часть правительства хочет автономии, говоря упрощенно, это означает зависимость, а в дальнейшем и прямое подчинение Японии. Другая часть борется против автономии исконно русских земель. Один из активнейших деятелей этой группы в правительстве ДВР — Василий Анисимович Анисимов. Они побеждают.

Потом он на государственной работе в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве, в Совете Народного Хозяйства, читает лекции в Промышленной академии, работает в Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

Общество построило в Машковом переулке большой, хороший по тем временам дом. Туда переселились немолодые люди, прошедшие действительно огонь, воду и медные трубы.

Я нашел в Петропавловке ту камеру, где сидел мой дед. Конечно, государственная жестокость имела и более яркие, более чудовищные проявления... Но эти ужасали: холодная, сырая, почти без источника света одиночка. Здесь находился он не один месяц, прежде чем этапом отправился в Иркутск, в одиночку Александровского централа. Здесь началось у него тяжелое легочное заболевание. И в Петро-

павловке, и в Александровском центре дед старался преодолеть сумрачную, беспробудную тяжесть, тоску, неподвижность долгих дней без общения с людьми, неопределенность. Окончательный приговор еще не был вынесен, здесь писал он свои заметки о крестьянском движении Саратовской губернии, здесь по старому английскому словарю начал заниматься языком, которым впоследствии владел в совершенстве... Деда своего я не помню. Какие-то смутные детские образы возникают: вот старик, склонившийся над квадратом высокой детской кровати, я плачу, а он что-то успокаивающе шепчет и осторожно подносит к моему недоверчивому рту ложку с манной кашей... Почему, собственно, старик? Может, это все смешалось в моей памяти: его партийная кличка и его возраст, конечно, он казался мне глубоким, глубоким стариком — на самом же деле ему не было шестидесяти. Те люди, которые знали Василия Анисимова и с которыми мне удалось поговорить о нем, единодушно утверждали, что он был человек редкого бесстрашия, всегда готовый помочь, немногословный, очень сдержанный. Один счастливчик, вернувшийся в сороковых годах из мест не столь отдаленных, в течение двух или трех месяцев был рядом с ним, рассказал, что Старик помог ему выжить.

Когда-то я задумывал написать сценарий о деду, о его ссылке, переписке с Лениным, о борьбе в ДВР. Я разговаривал с Михаилом Ильичом Роммом, который в то время был творческим руководителем одного из объединений «Мосфильма». Услышав фамилию деда, он всплеснул руками и воскликнул: — Мой отец, Илья Максимович Ромм, прекрасно знал вашего деда! Его имя я слышал в молодости, они ведь неоднократно встречались на Дальнем Востоке... Кажется, у него был брат, профессор лингвистики и русского языка, по учебнику которого и я учился.

— Да, у деда был брат, только он взял себе другую фамилию, ибо фамилия деда была крамольна. Петр Афанасьев. Вы, наверное, учились по учебнику русского языка Афанасьева?

— Да, да, да, — повторил Ромм. — Все это было, было, и я не раз приходил с отцом в дом в Машковом. Конечно, у моего отца и вашего деда на многое были разные взгляды. В некоторых вопросах они считались даже противниками. Но они были и д е й н ы е люди. Да, да, идейные люди, — произнес он с нажимом. — Уверю вас, друг мой, идейные люди могут даже ненавидеть друг друга, но они уважают друг друга, потому что не корысти их ведет, а призвание, которое может быть сильнее их самих. Я снял когда-то две картины о Ленине, вы, возможно, видели (тут он, конечно, немножко лукавил: как же я мог не видеть, ведь эти фильмы были киноазбукой нашего детства!). Так вот, я многие материалы изучил, голоса многих услышал... и я чувствовал, они думают не совсем так, как я, другое время, другая психология. В них гораздо больше нетерпимости, чем в людях моего поколения, но ни грана расчета, ни грана честолюбия. Лучшие из них — безусловно и д е й н ы е люди. Конечно, для меня главным был Ленин, но его не понять без тех, кто шел за ним, и даже без тех, кто, идя за ним, спорил и не соглашался. — Помолчал, он добавил: — Сейчас, наверное, я сделал бы иначе, чем тогда... Но и тогда я делал искренне.

Я показал ему журнал «Каторга и ссылка», сохранившийся в разоренных архивах деда. Он стал с интересом, жадно листать и вдруг остановился, застыл. Перед ним была статья в черной рамке. «Памяти Ильи Максимовича Ромма». Я подарил ему этот журнал.

Его отец скончался в 1927 году.

Мой дед пережил его на десять лет. Его взяли в декабре тридцать седьмого года. В тридцать девятом тот же путь повторила бабушка.

На фотографии среди думских социал-демократических депутатов есть и мой дед: курносый человек, вьющиеся светлые волосы, пенсне, глаза под ним чуть косят, лицо одновременно простоватое и вместе с тем интеллигентное, вдумчивое.

Когда он ушел навсегда, я болел, был простужен и проснулся в тревоге: яркий свет, чьи-то резкие, отрывистые голоса, необычные для меня хозяйские движения чужих людей — все это разорвало, разбило мой температурный хрупкий сон. Мать и отец споконялись надо мной, шептали: «Тихо, тихо... все спокойно... Спи, сынок».

— Где деда? — спросил я утром.

— Он вернется... он скоро вернется.

Но до этого еще далеко. Мой дед еще полон сил, планов, ему часто приходится выезжать в Англию по заданиям Совета Народного Хозяйства. К нему в дом приходит молодой ученый-биолог... Приходит в основном осенью и зимой, так как все лето проводит в экспедициях. Учитель этого биолога — профессор Скадовский — близкий товарищ деда. Но еще у этого молодого биолога странная слабость к беспризорным. И общественная нагрузка в трудовой коммуне № 3, воспитательская группа, которую он, кажется, воспринимает с необыкновенной, может быть, даже с излишней серьезностью и рвением, так что она уже стала главной в его жизни, постепенно оттесняя на второй план науку.

Но деду это даже нравится. И они подолгу говорят о беспризорных, дед вспоминает малолеток-преступников, с которыми сталкивался на пересылках, на каторге. Конечно, они существовали отдельно от политических, но он их видел, наблюдал, они ему были не безразличны.

В доме на Новокузнецкой бывают интересные люди: ученые, партийные работники, сюда часто приходит с Зинаидой Николаевной Райх Есенин — с ним дружила семья деда, — потом появляется Мейерхольд, снова с Зинаидой Николаевной, поэт Павел Васильев, композитор Крейн (отец драматурга Александра Крона), знаменитый в ту пору баритон Доливо. Он пел: «Дайте нам грогу стакан! Джесси, нам грогу стакан, последний — в дорогу...»

У Василия Анисимовича и его жены, изгнанной с четвертого курса Томского мединститута за революционную пропаганду, была единственная дочь Марина, Маша.

Вот я вижу фотографию уже более поздних времен. Моя мать со своей ближайшей подругой, дворянской дочкой, красавицей Натальей Михайловной Стекольниковой.

Моя мать курносенькая, с гладко уложенными прекрасными каштановыми волосами (конечно, на фотографии не видно, что они каштановые, но я-то знаю, я еще помню ее такой, сейчас они седые), с чистым выпуклым лбом, задумчивым и словно чего-то ожидающим взглядом. Вот такую ее и полюбил отец.

Но это опять же впереди. Сейчас рядом с ним маленькая, подвыжженная, легкая девочка, любительница коньков, музыки и книг. «Детство. Отрочество. Юность», «Детство Никиты», «Детские годы Багрова-внука», «Детство Темы». Вот ее библиотека, плюс Майн Рид, Райдер Хаггард и «Месс-Менд» Мариэтты Шагинян (эту библиотеку конфискуют в декабре тридцать седьмого года — вместе с журналами «Каторга и ссылка», вместе с бесценными письмами

к деду его товарищей по Петропавловке, Усолью, по жизни и борьбе).

Не знаю, может быть, они придумывали, мои родители, но вроде бы мать была любительницей картин чужого детства. Этот книжный репертуар в первой части нравился моему отцу. Он отдыхал от своей шумной и темной коммуналки на Большой Татарской, от буйного, неухоженного детства безпризорников, вспоминал о собственном не очень-то веселом детстве. Здесь, в этом доме в Замоскворечье, он каким-то образом прикасался к другому, непохожему детству. И когда дед и бабка уходили в гости или в театр на новый сногшибательный спектакль Вахтангова, Таирова или Мейерхольда, он оставался допоздна в тихом, совсем небуржуазном, но все же уютном доме — с традициями и укладом.

Когда они приходили, он возвращался в свою обкраденную квартиру, благо она была в трех останках отсюда.

Однажды он услышал, почувствовал, что за ним идут. Идут на расстоянии двадцати — тридцати метров. Идут упорно, медленно, прячась в летней тьме совершенно не освещенной улицы, где, еще больше затемняя слабый лунный свет, колыхнутся на теплом ветру липы.

Отец ускорил шаг, почти побежал. Они тоже ускорили шаги. Тогда он остановился, повернулся к ним и резко сказал:

— Что вам надо?

Он их не видел, только слышал их дыхание, чувствовал их секундную нерешительность.

Вдруг один выступил, быстро, словно шарик, подкатился к отцу. Отец приготовился. У него была финка на всякий случай, реквизируемая у одного из беспризорных. Он нащупал ее в кармане, освободил от кожаной перчатки, в которую она была завернута. «Воспитание, конечно, дело благородное, но опасное», — высмеивая самого себя, свое прекраснотушие и некоторый идеализм, подумал он.

— Да нет, вы не бойтесь, — услышал отец вроде бы знакомый голос.

Он промолчал, не ответил.

— Это я, Ванька, ну Рудольф, Рудя.

Отец продолжал стоять, не отвечая, никак не реагируя на этот голос. И вот, как первый раз ночью в окне, неприятным повтором, воспоминанием об обмане и предательстве выплыло из тьмы, забелело знакомое широкоскулое лицо.

— Значит, так, Илья Ефимович. Я ни в чем не виноват. Потом все объясню... Завтра все ваши книжечки да картинки будут у вас. Только одно условие: ребята, которые это сделали, сами к вам хотят прийти... Я их уговорил. Так вы уж не привлекайте. Потому что они сами так решили.

Он разговаривал взросло и без обычного блатного налетца.

Отец сказал: пусть приносят... Только без всяких предварительных условий, я уж сам решу, как поступить. А сделок не надо. Если и виноваты, то пусть будут наказаны.

Он подумал, что, возможно, поступил неправильно, слишком жестко разговаривал, да и книги были нужны позарез. Но душа еще не отошла от обиды.

— Ладно, я им скажу. Пусть сами решают, — проговорил Рудя, повернулся и ушел.

На следующий день рано утром пришли Рудя и еще двое. В больших бумажных мешках (где они только их взяли, украли, конечно), в ящиках принесли они книги, а в школьном, дореволюционного ви-

да старинном ранце — рукопись с аккуратно сложенными иллюстрациями сросшихся близнецов, бородатой женщины по фамилии Альма де Парадда, человека с двумя головами — образом ужасных аномалий, уродств, от которых можно начать заикаться, потерять дар речи. И, продержав эти рукописи и иллюстрации несколько месяцев, они вроде бы действительно лишились этого дара, потому что глядели в пол и молчали. Выступал же только Рудя.

— А получилось вот как, — рассказывал он. — Я пришел от вас и, конечно, не мог скрыть того, что видел, подробно им все изобразил. Они говорят, такого не может быть. Мы, говорят, все видели, а такого не видели. Значит, надо нам посмотреть. Я говорю: нельзя. А они: раз нельзя, так нельзя. На том и разошлись. Так я говорю?

— Так, — поддакнули оба.

— Ну вот, они об этом разговаривали, а потом сделали. Так или не так?

— Так, — ответил один из них.

— Я, конечно, на них попер. Но вы ведь знаете наших... Это не мы, у нас и понятия нет, не по адресу обращаешься. Ну, подрались мы немножко, а толку что? Вот все и пропало. Ну, а потом поняли ребята, что обижать вас нельзя.

— Ну и что ж будем делать? — сказал отец. Сказал, конечно, сурово, но уже знал, и они знали, понимали, что он простил их.

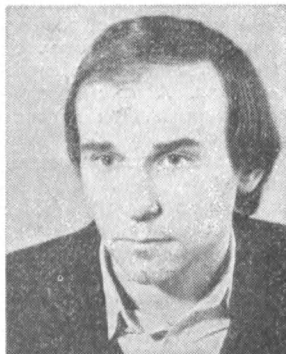
Ведь это очень важно — простить вовремя, не растягивать муку несвершившегося, да и ненужного уже возмездия.

Дальше судьба Рудя видится как бы в кадрах документальной хроники. Вот он уже выпускник ФЗУ, потом поезд мчит в Магнитогорск — в этом поезде Рудя, — на Магнитке он что-то еще вытворяет, но обходится, постепенно берется за ум, за дело, становится бригадиром, потом уезжает в Челябинск, поступает в институт, из Челябинска в Москву приходят открытки: Рудя-студент, Рудя-выпускник, Рудя-молодожен, Рудя-отец. И на всех открытках: «Вы мой крестный, мой учитель».

Приезжает в Москву, приходит к нам в гости, играет со мной, совсем маленьким, что-то рассказывает, но что — мне не вспомнить. Война, он на фронте... Судьба милостива к нему, без ран и контузий он удачно плывет по этой огненной реке... И вот уже близко-близко победа, Румыния, порт Констанца. Здесь он и гибнет, в этом шумном румынском городе, уже взятом нами. Чья-то так называемая шальная пуля. Пущена просто так, на всякий случай, наобум, вослед поражению.

(Окончание следует)

КОНСТАНТИН
САВЕЛЬЕВ



Работал инженером,
служил в армии,
сейчас старший научный
сотрудник.

☆☆☆

В бесконечности дней, в пустоте вечеров,
где молчать уже не было сил,
я писал тебе письма углями костров,
только вот отправлять не любил.
Я писал их рассветом на влажном песке,
непонятную чувствуя власть,
только стоит ли письма таскать в рюкзаке,
если можно их с ветром послать...
И струились ветра из неведомых стран,
и легко покорялся ворожке,
над горбами палаток тянулся туман,
унося мои письма тебе.
А потом — тишина, городок небольшой,
за казармою — плоскость полей,
и писались слова гарнизонной тоской
да шагами ночных патрулей...

Ну а дальше-то что? А не все ли равно,
что там дальше в сумятице строк,
просто юность писалась, как будто письмо,
на обрывках далеких дорог.

☆☆☆

Ты дружишь с Буратино —
мальчишкой с носом длинным,
роскошные павлины
в твоём гуляют сне,
ты к бабушке любимой
приходишь есть малину
серебряною ложечкой
в прохладной тишине.
В полгода раз приеду,
и на погоны глядя,

Дедюта
«ЮНОСТИ»

меня забыв надежно,—
в два года, не беда,—
ты скажешь тихо-тихо
у двери: «Здравствуй, дядя!
Мой папа служит в армии,
а ты там тоже, да!»

☆☆☆

Мальчикам, играющим в войну,
я в больших ладонях протяну
два десятка, взятых наугад,
оловянных маленьких солдат.
Ты смотри внимательней, дружок,—
тот без рук, а этот вот — без ног,
третий — черный, зубы лишь, как мел,
видно, в танке заживо сгорел.
На четвертом ордена, как щит,
он в Берлине в мае был убит,
а вот этот на густой заре
в сорок третьем утонул в Днепре,
у шестого на глазах слеза —
сорок лет, как выжило глаза...

Горсть солдат ребятам протяну —
не играйте, мальчики, в войну...

г. Харьков

ЛЕВ
КОСЬКОВ



Слово

То уплывает, словно дым,
То липнет черною заразой.
Оно податливей воды
И неуступчивей алмаза.

Оно всего нежней на свете,
Но, лихорадкою знобя,
Как ветер сквозь рыбацьи сети,
Проходит вдалеке через тебя.

☆☆☆

Пусть торгуют, и лукавят,
И доигрывают роль,—
Но стихом, как прежде, правят
Удивление и боль.

Так не лги, мой друг, умело,
Не гневи свою тетрадь:
Коли слово не созрело,
Не грешно и помолчать.

И ни жертвенного акта,
Ни усилия твоего,—
Кроме внутреннего такта,
Тут не нужно ничего.

☆☆☆

Оно само собой, что мы давно не дети,
И многое уже, пожалуй, улеглось,
Но вот июльский дождь — и славно жить на
свете,

И брызги широко летят из-под колес!
Как мог ты доверять вчерашней неудаче!
Обиду на людей лелея и тая,
Она все наврала, представила иначе
И застила на миг щедроты бытия.
Гляди: все льет и льет, хотя немного тише,
Франтятся под дождем наивные цветы,
И молодо блестят ограды и афиши,
И весело плывут раскрытые зонты!

☆☆☆

Идут года, а все чего-то ждешь.
И яблони в цвету, и мелкий дождь...
Гляжу в окно, как, празднично легки,
Под ветром опадают лепестки.
И что ж! Из ожиданья твоего,
Быть может, не случится ничего.
Но, как бы ни вели тебя пути,
Надежду надо честно пронести
Сквозь быт, и бытие, и пустоту...

.....
И мелкий дождь, и яблони в цвету...

☆☆☆

Всё мы в гениев играем
Да гармошкой морщим лбы,
Да на днях взлететь мечтаем
Выше собственной судьбы.

— Ах, пожалуйста, не надо!
Разлюбил я этот вздор:
Только тайная досада,
Только горечь и укор.

Поначалу что-то билось,
Серебрилось, вдаль вело,—
То, что после испарилось,
Между пальцев просочилось,
Мимо сердца протекло.

☆☆☆

Мы верим в первенство таланта.
Однако тут наверняка
Нельзя без стойкости Атланта,
Долготерпенья мужика,
Что, понапрасну не куражась
И не пеняя на судьбу,
Возложенную жизнью тяжесть
Несет на собственном горбу.

г. Воронеж.

ОЛЬГА НАРОВЧАТОВА



☆☆☆

Все одиноко.— Не навеки.
Всему в природе свой учет,
Но все-таки рождаются реки
Из одиночества ручьев.

Весной снега идут в изгнание.
Им светит солнце горячей.
И составляется сиянье
Из одиночества лучей.

☆☆☆

Мне был сужден один конец
И чаша, полная вина,
Одна земля, одна луна,
Один отец и мать одна.

В тот день — тогда была весна —
Мне было небо суждено:
Большое, но всего одно.
Одна страна. И жизнь — одна.

Положено немало слов
На музыку печальных дней:
Я слышу песни всех камней,
И всех лесов, и их корней.

Все вечно, все повторено:
В глазах — цветы, а в звездах — снег,
И в человеке — человек.
Огонь — в любви, в тюрьме — побег.

Мне был сужден один конец
И чаша, полная вина,
Одна земля, одна луна,
Один отец и мать одна.

☆☆☆

Я — желтый лист, в тебя влюбленный.
Я — желтый лист. А ты — зеленый.

☆☆☆

Я так догадаться и не смогла:
Кто первый сказал, что нужна игла!
А когда изготовить сумели ес,
Кто первый почувствовал острей!!

ВЛАДИМИР
САЛИМОН



Неглинка

День и ночь издаലെка
под землей течет река.
Под землей течет Неглинка.

...Ровно в полночь вдоль Кремля,
возле цирка,
возле рынка
вдруг разверзнется земля,
и во мгле зловещей бездны,
среди камней, на самом дне
шумно плещущую реку
я увижу, как во сне.

Вот он, берег долгожданный,
острогрудая ладья!
Перевозчик!
Перевозчик!
Скоро ль очередь моя!

☆☆☆

Анатолий Айзатулин
неизменно круглый год
газированную воду
пьет у Сретенских ворот.

Я такому постоянству
позавидовать бы рад —
рад мороженое лопать,
грызть столичный шоколад.

Только вместо шоколада,
сам не знаю почему,
я кладу электробриту
в переметную суму.

С Павелецкого вокзала
уезжаю под Тамбов.
До свиданья, Анатолий
Айзатулин!
Будь здоров!

Сказка о похищении
бетонщицы

На глазах у бойца стройотряда
раскололась земля, и во мгле
разлилось рукотворное море
по дремучей сибирской земле.
А наутро олень белолобый,
в небо глупую морду задрал,
вдоль плотины проплыл, как собака —
доберман, сенбернар, волкодав.
А наутро орел белохвостый,
описав над водой полукруг,
на бетонщицу Свиблову Ольгу
с громким криком обрушился вдруг.
Он клевал ее в алые губы,
он ей белые груди терзал
и тащил за собой в поднебесье
по уступам причудливых скал:
— Я клянусь тебе, Свиблова Ольга,
коли сжалишься ты надо мной,
станешь тотчас царицей небесной,
всемогущей и грозной женой!

☆☆☆

Ученик Амбарцумяка,
знаменитый звездочет,
похвастается, что звезды
знает все наперечет.
Я готов ему поверить,
но при этом в телескоп
я смотрю, кусая губы
и невольно хмуря лоб.
Потому что вместо Рака,
Скорпиона и Тельца
ясно вижу очертанья
незнакомых лиц.
Грозно сомкнутые брови
тяжело, как два крыла,
поднимают над стремниной
востроглазого орла!

Набойщики матрасов

Над Егорьевском кружится
Млечный Путь в ночи бездонной,
над сберкассой, над роддомом,
над конторой похоронной.
По ночам над корпусами
здешней фабрики матрасной,
над седыми лопухами
светит, светит месяц ясный.
А в квартирах коммунальных,
а в домах малоэтажных
здесь набойщики матрасов
засыпают в муках страшных.
Похоронные конторы,
и роддомы, и сберкассы
им в ночи бездонной снятся,
снятся ватные матрасы.
На матрас идет примерно
метров пять дешевой ткани,
килограммов десять разной:
разной ваты, разной дряни!

АНАТОЛИЙ
ГОЛУБЕВ



ПОВЕСТЬ

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА

1.

Все это — и рев трибун, впервые так явственно разделившихся на два лагеря: один, болевший за него, своего кумира, и другой — за этого молодого парня (а если быть честным, то не столько болевший за новичка, сколько протестовавший против несправедливого решения судей); и эта полуофициальная процедура награждения; и десятки сухих, формальных поцелуев малознакомых или совсем незнакомых людей, объятий, когда он, кутаясь в халат, пробивался сквозь толпу и полный суеты коридор; и смешок динамовского представителя, сочувственная улыбка его вечного соперника Ляхова, удивленные взгляды ребят, готовившихся к очередным боям, — все это осталось позади, за дверью раздевалки, которую тренер захлопнул перед самым носом двух настойчивых поклонников. Здесь была тишина. И мягкое кресло, в которое он упал. И молчание...

Борис кинул на пол пластмассовый венок. Стянул красную ленту с медалью и бросил рядом. На мгновение закрыл глаза, и, будто на прокрученной к началу пленке, вернулось все, что минуту назад осталось там, за дверью. Но не этот постыдный бой, семьдесят второй кряду, выигранный техническим нокаутом, заставил его вздрогнуть и в испуге открыть глаза. Перед ним расплывалась сочувственная и потому обидная улыбка Ляхова.

Борис посмотрел на могучую спину тренера, копавшегося в большой спортивной сумке, и запекшимися, почти одеревеневшими губами тихо сказал:

— Ну что, теоретик?!

Козлов не повернулся. Руки его, шарившие в сумке, на мгновение приостановились. Но затем начали еще лихорадочнее что-то вылавливать из кучи тряпья.

Борис знал: ответа на его вопрос не будет. Собственно, о чем говорить? Его милый тренер умудрился построить поединок так, что только высокие титулы Бориса Харченко вынудили судей отдать победу знаменитости в этом начисто проигранном бою. Да, конечно, Борис провел пару серий блестяще, хотя и не так резко, как следовало. Новичок, ошалевший от страха и радости одновременно, едва не поплыл. Но выстоял. И бой за ним, не подвергшись это спорное рассечение брови. Исход был ясен каждому, кто сидел за судейскими столиками, кто сидел там, справа, под трибуной «а», на местах, отведенных для участников.

Кулаки волосатого вологодского парня оказались не бог весть какими тяжелыми. Борис помнил и потяжелее и пожестче. Но, всег-

Рисунки
Г. Новожилова

да так остро чувствовал малейшую перемену в состоянии соперника, не отметил и тени усталости или замедления реакции. Он был непростительно молод, этот незнакомый парень. И потому шли будто два боя. Один, столь тяжелый, для него, Бориса Харченко. Другой, будто легкий спарринг со знаменитостью, для соперника, чью фамилию толком чемпион и не слышал до вчерашнего дня, когда стало ясно, с кем работать в финале...

Борис думал обо всем этом, глядя в спину Козлова.

«Нельзя же вечно копаться в проклятой сумке — когда-то придется обернуться! Но раз Козлов молчит, значит, признает, что не прав. Ах, как он не любит признаваться даже самому себе в собственной неправоте! Что он там, черт старый, ищет?!».

— Мыло на столике, — с трудом, но на этот раз громко произнес Борис. — Ты его вынул еще перед боем.

— Угу. Спасибо. — Козлов бросил сумку и, взяв мыло, прошел в душевую».

Скачков осторожно отложил журнал, в котором читал спортивный рассказ, и устался в потолок. Рассказ его раздражал.

«Чушь какая-то! Страсти-мордасти!»

Но, глядя в потолок, проступавший в мягком полусвете настольной лампы, не захотел признаться себе, что в рассказе раздражает вовсе не авторская манера, а скорее настроение Бориса. Так знакомое и Валерию. Только признаваться себе в этом...

Хотя... Тот факт, что он лежит сейчас на кровати в отдельном номере олимпийской базы после трудного тренировочного дня, говорит сам за себя. И начальство им довольно. И до Игр — рукой подать. И он точно по графику, тщательно разработанному Галицким, подходит к пику спортивной формы.

Что касается вчерашней осечки... Скачков старался о ней не думать. Да и Галицкий сказал коротко: «Наплюй!» Потом Александр Петрович пояснил, что Чижикову, тихому, застенчивому парню, недавно взятому в сборную кандидатом, никогда не удастся повторить вчерашнего бега. Но Валерий думал о другом...

«Наплевать-то можно... Пробежит или не пробежит еще раз так же шустро Чижики — гадать нечего! Волнует иное — самому еще раз не пробежать бы так же плохо, как на прикидке. Странное дело, вроде со старта ушел нормально. Отстрелялись, правда, ноздря в ноздрию. Хотя «зеленушки» в тренировочных гонках всегда хорошо стреляют: это на соревнованиях у них нервы сдают. Но когда Чижики побежал прилично, почему я прибавить не смог — вот вопрос! Ноги вроде бегут, а все же не тот шаг, не тот... Хочу прибавить, вижу — надо прибавить, знаю, как прибавить, а не могу! Так и пришел вторым! Коржев, по привычке всегда за мной серебро подбирающий, до того опешил, что и тут вперед не вынулся. Хотя я видел, что он был куда свежее меня и мог бы легко сделать свое «серебро». Опешил от наглости, с которой Чижики назвал прославленного мастера биатлонных трасс! Чихал он, Чижики, на все титулы! У него вся жизнь впереди! А силы — девать некуда!»

И хотя Галицкий сказал: «Наплюй!», — глаза мне его не понравились: словно знает про меня нечто такое, чего я сам о себе не знаю. И не говорит. Таит до поры до времени...

Теперь, конечно, возьмут в Америку и этого Чижики — не зря так старался! И там, когда сильнейшие в мире начнут наступать на пятки, все станет

на свои места. Мне ведь только двадцать восемь лет! Еще пяток лет отбегаю по высшему классу, а дальше видно будет...»

Валерий повернулся на другой бок, отчего пружины старой кровати жалобно пискнули. Нагнувшись, выхватил из тумбочки яркую пачку финских патронов, открыл ее, плотно набитую новенькими сверкающими цилиндриками, и высыпал несколько штук на ладонь. Покатал их: привычное ласкающее ощущение хорошо знакомых предметов. Таких совершенных по форме и по весу. Вначале еще холодноватые, как чужие; но постепенно тепло ладони передается металлу, и тогда кажется, что всегда, с детства, не выпускал их из рук, даже ночью. И где-то там, за гранью памяти, начинают грохотать выстрелы. И эхом отдается гулкий всплеск трибун — восторженный, если пуля попала в цель, и как бы жалеющий, если промах...

Валерий услышал шаркающие шаги у самой двери. «Галицкий!» — успел подумать он, и стук, хозяйский, решительный, так не вязавшийся со старческим шарканьем шагов, заставил его невольно вздрогнуть. Валерий глубоко вздохнул и, помедлив, как бы делая паузу сродни той, что выдерживают перед стрельбой на очередном рубеже, бросил патроны на цветастое одеяло, пошел открывать дверь. За ней действительно стоял Галицкий.

— Отдыхаешь? — спросил Александр Петрович только для того, чтобы что-то сказать. Нелегко начинать разговор, когда и вчера и сегодня уже столько обговорено и переговорено. И во время утренней зарядки, и за завтраком, и на теоретическом занятии...

«Хорошо, что на лыжне он не бубнит каждую минуту! Можно слушать только самого себя, да зимний лес, да шелест лыж по накатанному снегу.

Галицкий прошелся по комнате своей невероятной походкой. Для Скачкова всегда было загадкой, как тому удается извлекать из-под подошв своей обуви столь странные, не свойственные его возрасту, сложению да и самой манере ходить шаркающие звуки. Галицкий — рослый, плечистый мужик, вот-вот спортивная общественность страны отметит его жизненный полувековой рубеж.

И от того, как выступит команда на зимних Олимпийских играх, во многом будет зависеть размах юбилея.

Галицкий покрутил крупной головой, ощущал взглядом комнату и плюхнулся на кровать. Патроны, рассыпанные по одеялу, жалобно зазвенели. Галицкий бесстрастно, почти автоматически, сгреб их одним движением и так же ловко, будто молотком загонял гвозди в доску, убрал в пачку. Закрыв коробок, сунул в ящик, продолжая серыми внимательными глазами за толстыми стеклами роговых очков разглядывать Скачкова. Валерий сел напротив в кресло, вытянул ноги, будто тем самым отвечая старшему тренеру сборной: «Конечно, отдыхая! А что же мне еще сейчас делать?!»

За дверью кто-то словно перекачивал в ладонях редкие камешки — стучали шары на двух бильярдных столах в вестибюле.

Галицкий опять внимательно посмотрел на Скачкова. Тот ухмыльнулся в ответ. Он хорошо знал манеру своего тренера подступать к важному разговору.

— Ты как себя чувствуешь? — спросил тот, отводя взгляд от Скачкова.

И впрямь задавать такой вопрос здоровому, атлетически сложенному парню с кирпичным от загара и снежных ветров лицом, парню, сегодня утром пробежавшему «двадцатку» с лучшим временем в сборной команде страны, вроде ни к чему...

— Как доктор спрашиваешь или как тренер?!

Когда они оставались одни, Валерий всегда переходил по обоюдному молчаливому согласию на «ты». Хотя разница в возрасте и в положении вроде не позволяла Скачкову вести себя так со старшим тренером, державшим на расстоянии и более маститых, но между ними сложились какие-то особые отношения. Скачков раньше часто размышлял над этим. И понял: Галицкий относился к нему иначе, чем к другим, ибо видел в Скачкове себя. Когда-то выступая сам, Галицкий плохо укладывался в общепринятые в то время стандарты биатлониста. В командах преобладали низкорослые, кражистые, суховатые парни. А оглобля Галицкий смотрелся на трассе циркулем. Природа, щедро наградив его физическими данными — и ростом, и силой, и выносливостью, — поспешила на другое: стоило завариться потасовке поострее, и все данные Галицкого, такие броские, такие впечатляющие, таяли, как дым под ветром. Галицкий никак не хотел признать, что у него слаба бойцовская жилка. Свои неудачи и промахи списывал на счет роста, который, дескать, консервативным тренерам сборной не по нутру. Так он и ушел на тренерскую работу середнячком. Может быть, от избытка интеллекта и зависели столь низкий волевой порог и психологическая неустойчивость биатлониста Александра Галицкого? На трассе порой чем меньше думаешь, тем лучше. Упрись — и беги! Даже когда ноги не идут, когда умом понимаешь, что выиграть практически невозможно, — а ты не думай, беги!

Галицкий любил Скачкова нежно и беззаветно, видя в его победах осуществление своей несостоявшейся спортивной судьбы. Правда, и время несколько изменилось. Во многих видах спорта «звезды» помолодели: почти детишки выходят в чемпионы. А на лыжне биатлонисты «подросли» — стало полным-полно рослых парней. И у финнов, и у шведов... И потому каждый скачковский успех Галицкий рассматривал как личный.

Да, меняются времена...

И родиться тоже надо в свой час. Взять Генку Коржева — «вечное серебро». Появился он на пяток лет раньше, и спокойно бы гусарствовал в первых номерах. Галицкого уж точно бы обставил. Или родился позже лет на пять. Также открытая перспектива: Скачков сойдет. А сейчас Генка так прочно засел за Валериной спиной, что его и не видно. «Вечно второй», и только! Не перевернуть судьбы... А ведь талантлив Коржев, работающ...

О многом еще могли думать эти два человека, сидевшие друг против друга в уютной теплой комнате, за окном которой виднелось корявое дерево, укутанное рваными ломтями мокрого снега.

— Вроде не чихаю... — протянул Скачков, выжидающе глядя на Галицкого: каким будет следующий ход? Он и не предполагал, что вопрос о здоровье — не праздный вопрос.

— Я хочу поговорить с тобой серьезно. Понимаешь, мне чудится, будто в тебе не все ладно.

Скачков вскинул брови, но Галицкий жестом как бы притушил его удивление.

— Нет, нет... До сегодняшнего дня это было лишь мое личное ощущение. Вроде бежишь ты — и не ты... Дело даже не во вчерашней прикидке...

— Именно в ней дело, — отрезал Скачков.

Галицкий почмокал губами — спорить со Скачковым или нет, — и, видно, решив, что пока не стоит, продолжал, словно и не слышал возражения.

— Рост нагрузок ты выдержал нормально. И не могу пожаловаться на твою скоростную выносливость. И все же — чего-то не хватает! То ли былой легкости, то ли запаса сил.

— Думаешь, последние отдаю?! К Играм ничего не останется?

— Так не думаю. Но вот прочности, свойственной тебе, не ощущаю. Все делаешь отменно. Проигрыш на прикидке, убежден был, случайность!

— «Убежден был!» — Скачков не преминул придраться к неосторожному выражению Галицкого. — А теперь убежден в ином?!

Галицкий не ответил. Он рассеянно похлопал ладонями по набитым карманам своей роскошной лыжной куртки с десятком сверкающих молний.

— Есть кое-какие данные... Да ты не тревожься! Может, это просто медицинская ошибка...

По небрежному тону, каким Галицкий сказал об этом, Скачков понял, что это и есть самое главное в сегодняшнем разговоре.

— Выкладывай.

— Выкладывать-то нечего. Из диспансера сообщили, что анализ крови в твоём последнем обследовании — неважный...

— Жижее кровушка стала?

— Почти. Много лейкоцитов...

Скачков всегда относился к медицине свысока, пренебрежительно, считая: лучший врач — собственное здоровье. И потому разбирался в медицинских терминах плохо. Что такое лейкоциты — вроде знал, но чем грозит их избыток в крови, представить не мог.

— Еще немного увеличишь на нас нагрузки — и сгорят лишние! Не то что лейкоцитов — кровушки не останется!

— Валерий, я говорю серьезно. И чтобы доказать тебе всю серьезность моего беспокойства, возьмешь завтра с утра мою «Волгу» и смотаешься в город, в диспансер...

— На отдых, значит...

— Нет. Сдашь повторный анализ крови. И вернешься к утренней тренировке. Ни к чему день пропускать.

Екнуло в тревоге сердце, но последние слова Галицкого о непренном присутствии на тренировке несколько успокоили.

Валерий криво усмехнулся.

— Решил поменять лошадь? — вопрос сорвался зло и внезапно, но по тому, как стремительноотреагировал на него Галицкий, Валерий понял, что проблема эта не чужда уму старшего тренера.

— Дурень! За такого опытного старого жеребца, как ты, я не возьму в канун Олимпийских игр и целого табуна молодых и ретивых! — Он поперхнулся, почуяв, что в сказанном не все к месту.

— А после Олимпийских, значит... — Скачков решил не прощать Галицкому: коль уж пошел такой неприятный разговор, из него надо извлечь максимум смысла или хотя бы информации.

— После Игр неизвестно, что будет. Останусь ли я... Дашь два «пуделя» на последнем огневом рубеже — и закуривай оба: и несостоявшийся чемпион Скачков и бывший старший тренер Галицкий. Впрочем, тебя еще оставят! А другого старшего тренера найти — проще пареной репы...

— Думаешь, я соглашусь ехать во втором эшелоне?!

— Не знаю... Многие петушились, как ты, а время подпирало — за каждый старт цеплялись.

Скачков вспыхнул.

— От меня не дождетесь...

— Похоже, — примирительно протянул Галицкий и встал. — Значит, договорились: завтра берешь мою машину — и в диспансер!

Он кинул на одеяло ключи на брелоке в виде пары скрещенных лыж.

Скачков вышел на балкон. За спиной буйствовало застолье. Было душно, шумно и, как обычно на вечеринках, собравших к столу случайных людей, бестолково.

Его затащила сюда Катя, а ту пригласила подруга. Поэтому степень знакомства с хозяевами дома определению не поддавалась. Толком и не знали, ради чего собрались гости.

С четырнадцатого этажа высотного здания открывалась под ним Москва, залитая огнями, светлая больше от чистого свежего снега, чем от фонарей. В нагромождении каменных коробок при взгляде сверху, как и из его квартиры, едва угадывались очертания известных улиц.

Облокотившись о массивный барьер, Скачков сквозь шум, шедший из-за спины, прислушивался к самому себе, к своему состоянию. Ощутил какой-то спад внутреннего давления, нехватку воздуха.

Необъятный город гудел внизу, затихая к полуночи. Валерий невольно сравнивал открывшуюся картину с той, что наблюдал из своей квартиры: Скачков сам жил на голубятне — на шестнадцатом этаже серобетонной башни, вознесенной над городом еще и высотой Ленинских гор. Его окна смотрели в сторону Дворца пионеров, мичуринского сада, в котором он обычно бегал кроссы. Направо дугой уходило Воробьевское шоссе, будто стремившееся в вечной гонке обойти столь же плавную излучину Москвы-реки. Тихими, ясными вечерами, когда солнце, только что скатившись за шпиль Московского университета, приседало за далекие вершины деревьев, воздух над шоссе, над рекой был столь прозрачен, словно и нет его вовсе.

Правда, кочевая жизнь Скачкова — со сборов на соревнования, и опять на сборы, и опять на соревнования — не только оставляла мало возможностей наслаждаться приятной глазу картиной, но притупляла и само ощущение дома, — возвращаясь в квартиру после долгих разъездов, будто вновь поселялась в гостинице.

— Ты не простудишься? — Катя подошла сзади и прижалась к его спине, обхватив руками.

— Накурили. Дышать в доме нечем...

— Теперь все курят — и мужчины, и женщины. Двойная дымовая нагрузка.

— Ну, положим, в этой компании курящих мужчин значительно меньше, чем курящих особ прекрасного пола.

— Эмансипация, Валерочка, эмансипация! Вы, мужчины, никак не можете с этим смириться!

От Кати пахло дорогими духами, в букет которых вплетался легкий запах грузинского вина. Тепло ее дыхания над самым ухом щекотало.

— Что-то мне тошно, — невольно вырвалось у Скачкова.

Он сказал это скорее себе, чем Кате, но та мгновенно среагировала:

— Как в прошлый раз? То, о чем говорил Галицкий?!

Скачков неохотно кивнул. Он никогда не жаловался кому-либо на случайное недомогание.

Внизу попыхивала красным неоновым рекламная вывеска кинотеатра «Призыв».

— А ты помнишь этот кинотеатр? — спросила Катя, стараясь уйти от разговора о здоровье.

Валерий повернул голову и уткнулся носом в Катину щеку. Ее глаза были так близко, что, казалось, закрывали собой весь сверкающий балконный про-

ем. Он слишком рассеян и потому долго вспоминал, что связан с этим «Призывом».

Катя обиженно поджала губы.

— Эх, Скачков! А говоришь — любишь!

И он сразу вспомнил: они же познакомились у «Призыва! Он решил сходить в кино, а все билеты были проданы. Валерий стоял на мокром асфальте, когда к нему подошла девушка.

— Вам нужен билет?

— Конечно.

— У меня два... Я с мамой собиралась...

— А, с моей любимой тещей! — невеста почему выпалил Скачков

Девушка отпрянула в сторону.

— Не пугайтесь! Я пошутил. — Он взял у нее оба билета и отдал деньги. — Лишь хотел сказать, что если невеста мне положительно нравится, то на тещу еще надо взглянуть!

Они не расстались. Пошли вместе в кино. А через неделю он увидел и свою «любимую тещу». И уже, наверное, давно бы следовало сыграть свадьбу — Галицкий, познакомившись с Катей, рьяно убеждал, что, конечно, такая жена значительно стабилизирует результаты выступлений ведущего нашего биатлониста. А в отношениях с Катей, как назло, что-то забуксовало... Скачков часто и надолго уезжал. Катя за время отсутствия будто отвыкала от него, и, когда он возвращался, проходила неделя-другая, пока восстанавливалась взаимная близость, которой оба столь дорожили.

— Пойдем в дом, что-то мне холодно. — Она заглянула ему в глаза как можно глубже, словно в поисках ответа на мучивший ее вопрос. Но так и не решившись спросить, схватила за руку и потащила с балкона.

Скачков прошел к угловому дивану. Катя села рядом.

— Ты не едешь в Америку? — тихо спросила она.

— Галицкий уже проинформировал?

— От тебя же ничего толком не добьешься! Когда уже свершится, тогда и узнаю. И то на стороне... Вало сказал, сам не веря своим словам:

— Завтра выяснится. Медицинская звезда первой величины решать будет лично. А Галицкий, значит, уже решил?!

— Ничего он не решил. Ты сам три дня назад сказал, что, возможно, ляжешь в больницу... Какая уж тут Америка?!

— Отъезд через десять дней. В больнице обследование — дурацкое и никому не нужное — максимум три дня. Так что... — Он не договорил. Какая-то внутренняя тревога, даже не тревога — абсолютное неприятие предстоящего не позволило ему закончить свою мысль.

— Но ты ведь чувствуешь...

Валерий отстранил Катю от себя двумя руками, больно вдавив пальцы в плечи. Она поморщилась.

— Я чувствую себя велико-лепно! — произнес он, растягивая последнее слово, и тоже поморщился, будто сделал больно самому себе. — И в Америке докажу, что не верю медицинским глупостям! Может быть, в моем возрасте, на данном этапе моей нелегкой жизни и надо иметь именно такое, повышенное количество лейкоцитов в крови.

Катя потрясла кудрями, и на глаза у нее навернулись слезы.

— Здорovie — штука серьезная! И потому ты должен отнестись к обследованию серьезно.

— А я именно так и отношусь! Вчера на прикидке показал лучшее время в сборной. И двадцать попаданий! Без единой штрафной минуты!

— Славно, Валерочка, славно! — Она, как маленького, погладила его по голове, успокаивая. — Не пугайся: стрельбы к твоей болезни не имеют никакого отношения!

Скачков и сам это понимал. Но он — и больной! После того, как повторный анализ дал еще худший результат, Галицкий заставил собрать консилиум, предложил лечь в больницу для кардинального обследования. Скачков послал его к черту: «Ты сошел с ума?! На носу международная встреча!»

Ему тогда очень не понравилось выражение лица Галицкого, как и Катины слова сейчас.

— Не о том говорим. Лучше подумаем о свадьбе! К Новому году собирались... — начал было он.

— Ты ведь сам не хочешь свадьбы, Скачков! — как эхо откликнулась Катя.

— С чего ты взяла? — удивленно спросил он.

— Хотел бы — давно женился!

— Видишь ли, в этом процессе есть маленькая особенность — желание должно быть обоюдным!

— С твоим-то чемпионским характером и не задавить маленькую, безвольную женщину? Не ври, Скачков!

— Безвольная?! Маленькая?! — хмыкнул он. — Это беззащитное создание кого хочешь в бараний рог скрутят!

— Теперь понимаю — тебя пугает перспектива бараньего рога.

Оба рассмеялись.

— А может, отчалим отсюда? — вдруг предложил Валерий.

Катя пожала плечами и, не говоря ни слова, пошла в прихожую к вешалке. Уже в дверях молодой хозяин окликнул их. Но Скачков, открывая входную дверь, провел рукой по горлу и приложил руку к груди в знак благодарности.

На стоянке такси не оказалось ожидающих, но не было и машин.

Скорее из вежливости, чем желая того, он спросил Катю:

— Может, ко мне поедет?

— Нет, Скачков, тебе надо отдохнуть перед завтрашним обследованием. Ты должен быть в отличной форме. — Она улыбнулась ему, будто извиняясь за свои слова. — К тому же и мне надо выспаться: с утра столько дел...

Скачков не настаивал. Так, молча, они и дождались зеленого огонька. Молча доехали до ее дома, молча простились, чмокнувшись в щеку. И, если не считать адресов, которые он назвал шоферу — сначала Катиного, потом своего, на Воробьевке, — его первыми и последними словами за время долгой езды были:

«Сколько с меня?»

Поднявшись к себе на голубятню, открыл дверь, в потемках разделся. Ему показалось, что яркий свет люстры ударит по глазам, которые и так готовы были вот-вот лопнуть от боли.

Он пошел в кухню. Немытая посуда после обеда с Галицким громоздилась в мойке. Скачков, сбросив пиджак и ослабив тяжелый узел галстука, накиннул на брюки посудное полотенце и принялся драить чашки, тарелки, ножи, вилки с тщательностью и старанием, с которым выполняют жизненно важную работу. Так он обычно чистил свой карабин после стрельбы, когда было ясно, что в следующий раз на огневой рубеж он выйдет уже не скоро.

Мысли его вертелись вокруг завтрашнего посещения больницы. Он никак не мог даже мысленно, даже условно вписать себя в тихие, белостенные комнаты. Он — и больница! Несерьезно это, просто нелепо...

Валерий остался сидеть в коридоре, в то время как Галицкий скрылся за дверью кабинета. Вообще старший тренер вел себя здесь так, будто он — главное медицинское светило в институте, а все остальные, в том числе и академик Руденко и Скачков, попали сюда случайно.

Важность Галицкого подчеркивалась и торжественностью белого халата, сидевшего на нем с изяществом привычной лыжной формы, и этой суетой — забегали медицинские сестры, один за другим скрывались врачи за обитой черной кожей дверью, врачи, казавшиеся Скачкову сплошь профессорами и академиками.

«А если плюнуть на всех — и на Галицкого, и на академика — и уйти?! Пусть Александр Петрович сам обследуется! Он страсть как любит — и в молодости любил — ходить по врачам. Только почувствует, что гонка предстоит слишком трудной, и к врачу... Когда тебе кажется, что и здоровым до финиша не доберешься, то уж больным всегда сказать можно. Там потянул мышцу, там носом шмыгнул...»

— Товарищ Скачков, вас просят, — пропела ярко накрашенная медсестра.

Скачков шагнул в кабинет. За массивным старинным столом раздался добрый смешок, сразу расположивший Скачкова. Это было само — неповторимое, по мнению Галицкого, — медицинское светило мирового масштаба. «Академик лечит всех наверху», — добавлял Александр Петрович и тыкал пальцем в потолок.

— Раздевайтесь, пожалуйста... — сказал хозяин кабинета.

Снимая одежду, Скачков окинул взглядом комнату. Вот Галицкий в окружении белых халатов. Скачков обратил внимание на вымученную улыбку старшего тренера и подмигнул ему.

Когда, раздевшись, Валерий встал перед академиком, тот восхищенно сказал:

— Таких надо показывать в качестве образца идеально здорового человека. Надеюсь, мы с вами недолго пробудем вместе.

— Значит, могу уже одеваться? — съехидничал Скачков.

Академик снисходительно улыбнулся:

— Стоит ли так торопиться? Предлагаю познакомиться поближе.

Осмотр шел быстро и в полной тишине. Валерий был уверен, что молчание нарушит Галицкий. Он даже тихо засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд академика, когда Галицкий сказал:

— Здоров парень, не правда ли, Георгий Филиппович?

Тот не ответил. Подошел к своему креслу, плюхнулся в него, вытянув ноги под столом, и с нескрываемым удовольствием еще раз посмотрел на Скачкова.

— Спасибо. Одевайтесь. Могу вам только обещать, что анализы сделаем самые обстоятельные и в соответствии с просьбой Александра Петровича по возможности в самое кратчайшее время...

— Надо ехать в Америку... — поддакнул Галицкий. Руденко поморщился, но так, что увидеть это смог лишь Скачков, и обратился к пациенту, словно остальных в комнате не существовало:

— Дорогой мой, мы с вами немножко полежим. О лечении, естественно, речи нет. Возможно, и не будет. Но провериться надо. Не исключено, что результаты анализов — я не имею оснований им не доверять — отражают некий процесс, вызванный повышенными нагрузками. Или иными чисто времен-

ными причинами. Но при любых обстоятельствах проверить следует.

Руденко включил селектор:

— Геннадий Ефимович, примите больного Скачкова. На третий этаж... В мой сектор...

При слове «больной» Скачков невольно скривился, и это не укрылось от Руденко.

— Дорогой мой, «больной» — чисто терминологическое понятие. Ваш тренер, оказавшись на нашем месте, был бы для меня таким же больным. Все. Можете пройти в приемный покой.

— Но я не готов — ничего не взял с собой! Не думал, что так сразу... — Скачков растерянно посмотрел на Галицкого, но тот отвернулся, будто и не слышал слов Валерия.

Руденко кинул взгляд в сторону Александра Петровича и, подавив в себе что-то, обаятельно улыбнулся Скачкову.

— Хорошо, соберитесь. И после обеда, захватив вещи, к Геннадию Ефимовичу. Вот с этим. — Он чиркнул ручкой с массивным золотым пером несколько малопонятных знаков, которые никак нельзя было принять за буквы, и протянул записку Скачкову. На листке стояло типографски исполненное «Руденко Г. Ф.». И никаких титулов.

Расстались, как старые добрые знакомые.

— Ну, вот и ладушки! Главное сделано! — с наигранной веселостью проговорил Галицкий.

— Сбагрил меня?! Чижикую дорогу открыл?! Не топишься ли старший тренер?!

— Ты больной, как, сказал академик. И потому как больному хамство тебе прощается. А в Америке я тебе ни одного промаха не прощу, ни одного проигранного метра...

Они спускались по широкой мраморной лестнице. Мимо, вверх и вниз, сновали люди в белых халатах по углам «пижамники» шептались с людьми, одетыми обычно, но здесь, в стенах больницы, казавшимися инопланетянами.

— Я тебя подвезу. Хочешь, я за тобой и потом заеду?

— Нет, спасибо. У меня как-то нет на сегодня никаких особых дел. Сложить пожитки холостяку, тем более больничные... — Скачков подчеркнул это слово насмешливой интонацией, отчего Галицкий даже передернул плечами, — ...и вовсе пустяк. Доберусь сам.

— В таком случае я к тебе завтра заеду. После тренировки, конечно.

Галицкому не стоило упоминать о тренировке: поднимавшееся было настроение Скаčkова рухнуло.

Сели в машину Галицкого и молча ехали до самого скачковского дома, как молча ездили иногда с Катей, и казалось, что и говорить-то уже не о чем...

— Не заворачивай. Я сойду на аллее, — сказал Валерий в пространство.

Едва Скачков хлопнул дверцей, Галицкий рванул с места так поспешно, будто был счастлив избавиться от своего пассажира. Валерий проводил машину тренера долгим и тоскливым взглядом — не навсегда ли тот уезжал из его жизни?!

«Если бы меня спросили, что случилось, — с еще большей тоской подумал он, — я бы ответил: «Случилось все!»

Дома Валерий лег на диван с намерением проваляться до того самого момента, когда приспееет собираться в больницу. Но не выдержал и нескольких минут. Когда лежишь в ожидании неотвратимо надвигающегося — незнакомого, пугающего, — слишком много мыслей лезет в голову.

Он встал, открыл старый, окованный медью, восемнадцатого века сундук с мелодичным звоном, возникавшим, когда поворачиваешь ключ.

Сундук он купил в комиссионном по случаю, но тот вскоре пригнулся. Валерий сложил в него свою спортивную экипировку — в первую очередь оружие и боеприпасы. Галицкий остался очень доволен, поскольку хранение спортивного оружия дома не поощрялось, а на крайний случай требовало именно таких окованных металлом или целиком железных емкостей.

Скачков повернул ключ, отпирая замки, и сундук громко, на всю квартиру, пропел свою булькающую мелодию. Купец, которому принадлежал когда-то сундук, вряд ли слыл меломаном — замок пел для безопасности: стоило забраться в сундук, как весь дом наполнялся звоном.

Прослушав мелодию, будто наслаждаясь ею в последний раз, Валерий вынул из сундука любимый карабин. Ложе отливало ярким желтым лаком. Вороненный ствол, изящный, как дирижерская палочка, тускло светился масляными боками.

Валерий привычно и бережно покачал оружие на руках. И зачем-то решил почистить, хотя оружие было недавно и тщательно смазано. Однако не смог отказать себе в удовольствии не меньшем, чем сама стрельба.

Когда Скачков после тренировки или соревнования занимался смазкой, он, казалось, не просто убирал следы нагара из ствола, а словно изгонял из оружия сам запах былых выстрелов.

Валерий вынул затвор, обойму, снял защитную скобу над мушкой и диоптрический прицел... Протер аккуратненько. Снова покрыл смазкой. Погонял шомпольчик по сверкавшему каналу ствола. Полюбовался игрой винтовых нарезок, ласкавших глаз идеальной геометрией. Так же медленно, не спеша собрал оружие и запер в сундук. Руки приятно пахли ружейным маслом.

Потом без всякого интереса поспешно побросал туалетные принадлежности, тренировочный костюм и первую попавшуюся под руку книгу в большую адидасовскую сумку. Оглядел комнату. Где-то в подсознании мелькнуло, что покидает ее надолго, и он тщательно запер входную дверь.

4.

В приемном покое клиники без труда отыскал Геннадия Ефимовича, очень пожилого, милого и спокойного человека, на которого не произвели никакого впечатления ни фамилия Скачкова, столь громкая в спортивных кругах, ни записка Руденко.

Геннадий Ефимович провел Валерия за ширму. — Переодевайтесь. Можете, если хотите, свое надеть. Пижаму больничную, пожалуйста, с собой возьмите. Пригодится.

— Зачем? — спросил Скачков скорее для того, чтобы сказать что-то и не молчать.

Старичок пожал плечами.

— Порядок такой — пижаму иметь. Вдруг комиссия... Все должны быть тогда в форме. А кому в ней приятно?

Пояснений не требовалось: серый цвет тяжелой застиранной фланелевой пижамы говорил сам за себя.

— А сумку полагается сдавать. Все равно сестрахозяйка из палаты выдворит при первой уборке. — Строгая очень?

— Злая.

В комнате, примыкавшей к той, где он раздевался, сидели пришедшие оттуда, с улицы, откуда только что пришел он. В руках — узлы и цветы. Из-за



стеклянной двери появлялись люди в пижамах. Порывистые объятия, смех, вздохи облегчения. И быстрый-быстрый уход после переодевания...

«А кто меня будет встречать? Галицкий?! От него дождешься!» — подумал Скачков, хотя это было и несправедливо.

Валерий обратил внимание на женщину средних лет, сидевшую в углу с совершенно отрешенным лицом. Ее большие, но словно иссохшие глаза смотрели прямо перед собой. Только руки, опущенные на колени с неопытно задранным юбкой, редко, судорожно вздрагивали.

Старичок посадил Скачкова к столику за которым накрашенная и совершенно равнодушная ко всему девица начала нудную процедуру заполнения медицинской карты.

Валерий отвечал машинально, не спуская глаз с женщины, сидевшей в странной позе. Может быть, потому, а может быть, еще и благодаря спортивной реакции он одним прыжком преодолел расстояние до женщины, когда вдруг увидел, как она начала медленно валиться со стула.

К ним бросились сестры, врачи, Геннадий Ефимович. Сделали укол. Уложили на деревянный, отполированный телами желтый диван.

— Что с ней? — спросил Скачков у старичка, когда паника улеглась.

— Муж у нее ночью умер... Сутки у постели дежурила. Уговаривали отдохнуть, а она вот как села, так и никуда не уходит.

Старичок легонько подтолкнул Скачкова в спину и проскользнул вперед.

— Пойдемте, я покажу вам палату.

И Скачков шагнул за порог стеклянной двери, из-за которой выходили такие оживленные, будто из кинозала после комедии, бывшие больные. Странно, но этот рубеж он перешагнул безо всяких эмоций. Ни малейшего сомнения не было в душе капитана Советской Армии Валерия Скачкова, которого где-то на североамериканском континенте ждала биатлонная трасса, что вся эта медицинская суета не стоит выеденного яйца.

Они поднялись по лестнице на третий этаж. Скачков оглядывался вокруг с интересом, еще не веря, что все окружающее имеет к нему какое-то отношение.

Прошли весь коридор и в конце его остановились перед дверью с номером «21».

«Oго! Хорошая примета! Хотя лучше, если бы вообще можно было обойтись без подобных примет. И без этой палаты!»

Комната оказалась почти необъятной. Вроде спортивного зала. С потолками где-то в поднебесье. На шести койках — Скачков сосчитал их одним взглядом — сидели и лежали больные. Седьмая была свободной. Гомон смолк.

Геннадий Ефимович показал рукой на свободную койку.

— Располагайтесь. На обед вы уже опоздали. Ужин вам принесут в палату. К завтраку можете спуститься в столовую. Всего доброго!

И он ушел. А Скачков остался. Сунул сумку под кровать ударом ноги, будто мяч, чувствуя на своей спине внимательные, изучающие взгляды.

«Ничего себе общежитие! Представляю, как взвонит Галицкий! Он даже в общественных банях, в общем зале, умудряется организовать себе индивидуальную мойку».

Когда Скачков обернулся, чтобы взглянуть на тех, с кем ему придется прожить два-три дня, увидел, что все занимаются своими делами. И он почти обиделся. Во всяком случае, даже не сказал: «Здравствуйте!»

Скачков проснулся от ощущения, что кто-то стоит рядом, совсем близко-близко, и смотрит на него. Однажды, еще в родных местах, на охоте, он ночуя под стогом, испытал утом нечто подобное. Чувства страха не было. Только пронзительное любопытство — на самом деле кто-то есть или только кажется? Там, под стогом, он медленно приоткрыл глаз, потом другой. В нескольких метрах стоял огромный лось с широкими лопатами рогов на восемнадцать отростков. Зверь смотрел на лежащего человека, мягко двигал губами, как бы мучительно соображая: что делает под стогом это двуногое существо? Те несколько мгновений, которые они рассматривали друг друга, запомнились Валерию на всю жизнь. Затем лось недоуменно покачал рогами и совсем по-волшебному растаял в предрассветном тумане.

И сейчас, в новой для него обстановке больничной палаты, Валерий так же осторожно приоткрыл сначала один глаз, потом другой. Увидел совсем рядом, над собой, лицо парнишки, почти подростка, кровать которого стояла в самом углу.

— Что-нибудь хочешь сказать? — грубовато, одними губами, спросил Скачков. Лицо над ним исказилось невольным испугом — до парня еще не дошло, что новенький уже не спит.

— Ничего... Просто так... — пробормотал он и собрался отойти, но Скачков спросил настойчивее: — Или случилось что?

Парень замер в растерянности, но все же решился:

— А вы тот самый Скачков?

Валерий вздрогнул. Сел на кровати. Неожиданный вопрос наполнил его удивительным волнением, будто наконец исправился огромная ошибка и он попал не в холодную, чужую больничную палату, едва освещенную тусклым «ночником», а в родной дом.

— Что ты вкладываешь в понятие «тот самый»? — проговорил он, и впрямь не веря: откуда этот парень может его знать? Да еще в таком мало подходящем для олимпийского чемпиона месте, как больница?

— Ну, Валерий Скачков, знаменитый биатлонист... — Похоже, он...

Валерий с нескрываемой симпатией рассматривал соседа по палате. Худой до такой степени, что шея торчала из пижамы, как палка. Чистое лицо с голубыми глазами. С затаенной радостью парнишка произнес:

— Я и сам вижу, что тот... Спросил больше для знакомства. — От признания смутился. — Чтобы...

Валерию ужасно захотелось прийти ему на помощь.

— Тебя-то как зовут?

— Коленька, — невесть почему именно так представился он.

Скачков засмеялся. Коленька улыбнулся в ответ. И это веселое взаимопонимание в охваченной сном палате показалось Валерию уже естественным и приятным, как то состояние, когда дела в команде идут недурно, а до ответственных стартов еще далеко. И сам ты, и товарищи твои знают, что еще долго жить и трудиться вместе, пока неудача не выставит кого-то за борт.

Скачков подвинулся на постели, освобождая Коленьке место рядом. Так они и сидели, оба в трусах и пижамных куртках, и смотрели друг на друга.

— Коленькой меня Клаша Степановна, няня, зо-

вет... Ну и все подхватили. Так приучили, что и сам... — Он опять засмущался.

«Как девица!» — подумал Скачков и спросил:

— А ты откуда про Скачкова знаешь?

— Даετε! — парень даже дернулся. — Я же сам биатлоном занимаюсь... — Он как бы споткнулся на бегу и поправился: — Занимался. У себя, в Красноярске. Ваш портрет у меня в комнате. Да и здесь есть..

Он ловко скользнул к себе в угол начал лихорадочно шарить в тумбочке, перебирая книги, двигая кульки с яблоками... Одно из них упало, глухо стукнуло, и покатилося к двери. Но Коленька не обратил внимания. Он заспешил к Скачкову, держа в обеих руках, словно нечто драгоценное, лист бумаги — цветной портрет Скачкова, аккуратно вырезанный из спортивного журнала за прошлый год.

Коленька сидел рядом, чрезвычайно довольный собой, и млея от гордости. Столько открытой приязни, чисто детского преклонения было написано на его лице.

Скачков только буркнул:

— Точно.

Он хотел было спросить Коленьку о его успехах, но с кровати у окна поднялся курчавый мужичок в полосатой линялой майке. Отработанным движением фокусника подхватил многочисленные туалетные принадлежности с тумбочки и заскользил к выходу.

— Привет! — будто они дружили не меньше четверти века, бросил он Скачкову и исчез за стеклянной дверью.

Скачков вдруг окончательно осознал, что все происходящее с ним — не просто дурной сон, что он и впрямь в настоящей больничной палате, и что он болен. И вместе с нарождающимся утром начинается один из самых непривычных дней его жизни. И надо что-то делать... Но что?!

Там...

Валерий запнулся, затих, пытается как можно точнее сформулировать хотя бы для себя это понятие «там». Ничего менее громкого, чем «там, в другой жизни», на ум не шло. «Там» было все просто. Проснулся, и начиналось: кросс, зарядка, душ, тренировки... А что делать здесь, как жить?

Скачков обвел взглядом палату: Полосатик давно ушел; Коленька сидел на кровати, глядя в стену; остальные спали — кули одеяльные на кроватях...

В спертom воздухе как бы вновь прозвучал голос Полосатика: «Привет!» Ну, конечно, привет! Сюда временно собрались люди со своими болезнями, привычками, но каждый должен оставаться самим собой. И значит, жить надо, как обычно...

Облачившись в тренировочный костюм, он вышел в коридор, еще не представляя, куда направиться.

«Не худо бы пробежаться».

Коридор широкий, гулкий. Необъятность коридорного простора подчеркивали и цвет стен, ослепительно белый, и многочисленные окна, и свет, лившийся сквозь них, и тишина...

Похоже, он и Полосатик встали первыми.

Валерий невольно пошел осторожнее, чтобы не слышать звука собственных шагов.

Так бывает только в лесу на утренней тренировке. Когда выскоочишь пораньше. Лишь снежный мир, тихий, покойный, от каждого движения лопается по швам. И тоже хочется идти тише, тише... Но время... Темповый график по отрезкам трассы неумолим. Приходит усталость. Забывается окружающая тишина. И тогда в этих «жвях-жвях» под лыжами слышится уже что-то механическое, от машины... В лес бы сейчас!

Скачков подошел к окну. Оно смотрело в противоположную глухую кирпичную стену с вычурной

старинной кладкой. За стеклом обрывался куда-то вниз, в неизвестность, бездонный колодец двора, из которого под самые рамы вздымались метлы голых черных сучьев. Даже через двойные стекла окон тннуло утренней морозностью. Дыхание снега не ощущалось, хотя там, внизу, угадывался белый покров... Такой же белый, как эти стены.

Больше руководствуясь охотничьим нюхом, Скачков двинулся вниз.

Дом просыпался. Все чаще стали попадаться на встречу люди в белых халатах: в меру заспанные, в меру озабоченные. Появлялись и исчезали за нечетными дверьми.

Скачков самодовольно крикнул, когда толкнув тяжелую дверь, вывалился, судя по всему, именно в тот дворик, который угадывался за окном. Ощущение колодца еще больше усилилось при взгляде снизу вверх, на уходящие в серое небо рыжие стены.

Снежок во дворе был притоптан, словно ипподромная дорожка. Снег лежал удивительно свежий для города, без обычного грязного налета, лежал таким, каким бывает в лесу...

Скачков набрал полные легкие морозного воздуха и замер с открытым ртом. Из длинного одноэтажного здания, возле которого неприятно пахло, вышел человек в белом халате, накинута на пальто. Он тащил за собой по снегу большой пластиковый мешок. Сквозь запотевшие его стенки Скачков различил тело небольшой, рыжей, с белыми подпалинами собаки. Мешок оставлял на мягком снегу глубокую борозду, а на утопанном — тонкую, ровную, едва приметную дорожку из красных точек — видно, мешок подтекал.

«Это лаборатория... А собака подопытная... Одна из тех, которым старик Павлов воздвиг памятник как мученикам науки. Ну, после смерти можно было бы с мучениками и повежливее...»

Но больше всего поразила Скачкова — и в этом он никак не хотел себе признать — эта обыденность встречи со смертью, эта поражающая небрежность отношения человека в белом к тому, что еще совсем недавно было живым существом, а теперь вот так волочилось, будто куля старой ветоши...

Горький осадок от случайной встречи растворялся медленно, с каждым новым кругом, который он пробегал по дорожке. Скачков обнаружил за углом длинного здания точно такой же двор с хилым садиком.

«По этим дорожкам вряд ли кто бегал... Попавшим сюда уже не до того... Впрочем, я здесь человек случайный и нетипичный».

После основательной пробежки Валерий начал свое «качание» — по сто повторений каждого упражнения и в таком темпе, что едва хватало дыхания. Увлечшись, он не заметил высокого грузного мужчину в мешковатом пальто, появившегося рядом. Замерев на минуту, Валерий увидел перед собой его расширенные от удивления глаза.

— И что же вы, миленький, с таким здоровьем в этой клинике делаете? — прогудел он.

В голосе его Скачкову не почудилась доброжелательность. И потому Валерий как можно резче ответил:

— Сам удивляюсь...

Покряхтев пару раз в такт скачковским движениям, незнакомец ушел. А Валерий принялся еще злее отжиматься от холодной, припорошенной снегом скамьи.

Когда он вернулся, обитатели палаты, кроме Полосатика и Коленьки, еще не очнулись ото сна, хотя свет горел на полную мощность.

— Живой? — спросил Полосатик. — Видел зарядку. К такой вместо электрического стула приговаривают. — Несмотря на смысл фразы, в голосе Полосатика было столько душевности, что Скачков невольно вспомнил встречу внизу.

Он псал плечами и улыбнулся:

— Привычка. Уже много лет так день начинаю.

— Вижу, что не впервой. Ну, будем знакомы. Меня зовут Миша. Четвертый раз в этой клинике лежу. Еще пару раз сюда попаду и уже сам больных принимать смогу. С не меньшим, чем профессора, успехом.

Он хотел еще что-то сказать, но дверь в палату с шумом распахнулась, и в комнату вплыла крохотная кукла в белом халате, с круглым лицом, словно специально покрытым густой вычурной сеткой морщин.

— Будет спать, голуби мои! Будет! Баночки ждут. За дело, голуби мои!

Со всех кроватей разом, как по команде старшины, послышалось дружное:

— Доброе утро, Клаша Степановна!

— И ты, голубь мой, хоть и новенький, к баночкам. Я тебе тоже именны приготовила.

Она заскользила по палате, то одергивая плохо заправленное одеяло, то поднимая с пола упавшее полотенце, то сгребая с тумбочек именно те бумажки, которые следовало выкинуть.

От Клаши Степановны исходило какое-то необычное, так редко встречавшееся, а скорее, полузабытое Скачковым свечение доброты и участия.

— Степановна, а каша на завтрак небось опять подгорела? — проговорил волосатый верзила с туповатым лицом, на котором, несмотря на общую леность, все время метались маленькие круглые глазки.

— Не переживай, голубь мой, для тебя специально варят.

— А мне что, все анализы повторять? — спросил лежавший рядом с верзилой мужчина неопределенных лет. — Выписываться ведь должен...

— Тебе, никак, жалко своего нутряного? Или работа тяжелая — баночку наполнить? А там, гляди, еще один анализ подтвердит, что здоров, голубь мой!

«Если послушать Клашу Степановну, то не палата, а голубятня!» — подумал Скачков.

Он спустился в столовую больше из любопытства, поскольку не испытывал никакого желания есть. Еда в «коммуналках», как называл Скачков все — от рабочей столовой до ресторана — была ему привычна. С малых лет, бродя по земле, привык относиться к пище сначала как к обычной необходимости, потом как к составной части подготовки к следующему выступлению на лыжной трассе.

Больничная столовая встретила его перестуком посуды, сдержанным гомоном людей, обрадованных возможностью прервать свое белопостельное одиночество.

Он прошел сквозь строй любопытствующих глаз — новичок в этом зале будто на ладони — и словно споткнулся. Сначала не понял причины. Казалось, что-то оборвалось внутри. И только в следующее мгновение, машинально отыскивая глазами свободное место за пластмассовым столом, понял причину удара. Это был запах. Сладковато-кислый запах его любимых мощных патронов «сако». Так пах и затвор, и шомпол, когда он чистил оружие. На огневом рубеже этот запах гонял легкий ветерок. В гомоне зала он даже будто слышал клацанье винтового затвора. Валерий невольно зажмурил глаза и тихо простонал. Но взял себя в руки, подойдя к свободному столу, сел, будто упал. Из огромного

бездонного зева раздаточного окна тянуло жареным салом... Нет, все-таки запахом перегоревшего пороха... Он замер, уставившись на белое поле стены. Показалось, что по нему тянется не трещина, а теряющаяся в глубоких снегах одинокая лыжня.

— Чаек сам нальешь! — услышал он над ухом. Рядом стояла толстая, как квочка, розовощекая женщина неопределенного возраста, с лохматыми, будто наклеенными бровями. — Первый раз пришел? — Она спрашивала, а руки раскидывали из глубокого подноса тарелки, куски хлеба и белые обломочки сливочного масла. — Сел верно... Вчера как раз одного выписали.

Валерий жевал овсянку машинально, а сам то и дело тянул носом этот запах со стороны кухни, который большинству — да что там большинству, всем повально — в этом зале был лишь запахом подгоревшего сала.

Когда Скачков вернулся в палату, его встретил укоризненный взгляд Клаши Степановны и причитания:

— Что же ты, голубь мой, подводишь? Баночки-то пустые остались...

Тут только Скачков вспомнил, что говорила она утром о баночках для анализов.

— А сейчас нельзя? — извиняющимся тоном спросил Скачков.

— Ты, никак, впервой лечишься, голубь мой? Разве можно после еды! Натощак анализы... Ох, и попадет мне за тебя, непослушный... — Она еще что-то запричитала и ушла, оставив Скачкова весьма огорченным — не столько тем, что пропустил анализы, а тем, что доставил неприятность Клаше Степановне.

— Ничего. Успеете еще не один литр налить! — раздалось с соседней кровати, и Скачков только теперь увидел лицо своего соседа справа. Это был полный мужчина, чрезмерно полный для своего почти мальчишеского лица, на котором темнели тяжелые мешки под глазами. — Она всегда так ворчит. А врачам все равно — сегодня вы сделаете анализы или завтра.

Полосатик подал голос с другого конца палаты:

— Этих анализов у вас будет предостаточно. И до завтрака, и после завтрака, и вместо завтрака... — Он хмыкнул.

Палата дружно засмеялась. И под этот смех в дверях появился щупленький юноша в белом халате и кокетливой шапочке.

— Выписывать вас всех надо, раз смеетесь, — сказал он совершенно равнодушным тоном, и оттого слова его прозвучали подобно брани.

Смех смолк.

«Проведать кого-нибудь пришел сыночек, — подумал Скачков. — Интересно — кого?»

Сосед шепнул:

— Это наш лечащий врач. Крупно нам повезло...

На койках захихикали, а Скачков с любопытством рассматривал Сыночка, который подсаживался к очередной кровати, вкрадчивым голосом задавал несколько вопросов, что-то помечал в больших листах, которые принес с собой.

Чем дольше следил за Сыночком Валерий, тем больше иронии ощущал он в словах «нам крупно повезло», сказанных соседом. Сыночек слушал каждого, будто щенок, наклонив голову, и так явственно и старательно делал умный вид, что Скачков не выдержал: его громкий смех прозвучал в благоговейной тишине обхода почти кощунственно.

Сыночек подсел к нему на кровать и спросил:

— Вы у нас новенький?

Скачков вместо того, чтобы ответить просто на этот ничего не значащий вопрос, не сдержался:

— Похоже, и впрямь мы с вами не встречались... Сыночек сделал вид, что не расслышал ответа. Скачков готов был поклясться, что все, о чем спрашивал Сыночек, того совершенно не интересовало. — Ну, вы у нас совсем здоровы, — в конце осмотра произнес Сыночек.

И Скачков с наигранной наивностью спросил: — Следовательно, могу сегодня выписываться? Сыночек смутился.

— Не так быстро... — Он хотел еще сказать что-то глубокомысленное, но, заглянув в глаза Скачкова, полные насмешки, осекся и поспешил к выходу.

Полосатик выскочил в коридор, но сразу же вернулся и громко объявил:

— Наша палата последняя на обходе... Хотя бы раз наш многоуважаемый Марат Викторович пришел вовремя. Что он по утрам дома делает? Наверное, в куклы играет...

Все дружно, незлобиво, как отметил Скачков, засмеялись.

Волосатый блондин, молчаливо продолжавший смотреть в потолок, словно читал какую-то никому не видимую книгу, вдруг зло изрек:

— Сопляк он...

— Ничего себе обстановочка! — подумал Скачков. — Самое время и место душевно отдохнуть перед Америкой! Правда, на таких харчах потом долго не побежишь, но бог и Галицкий милостивы: коль не совсем меня списали, харчем наделят».

6.

Вошла Клаша Степановна.

— Скачков, к вам.

Валерий не успел удивиться, как в дверях увидел широко расплывшееся в улыбке лицо Галицкого.

К постели Скачкова, с садистским удовольствием взиравшего на Галицкого — это ты мне устроил такую палату! — Александр Петрович подошел уже чернее тучи.

— Что за коммуналка? — он повел глазами вокруг.

— Ты меня спрашиваешь? — Скачков усмехнулся. — «Наша фирма хоронит только по первому разряду!» — передразнил он Галицкого, вспомнив его любимое выражение.

Тот покраснел и надулся.

— Сегодня же переиграем! — вдруг решительно сказал он и петушком прошелся по палате.

Вернувшись к скачковской койке, Галицкий замер, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом хитрящая улыбка проскользнула по губам:

— А это тебе сюрприз.

Дверь в палату робко открылась, и один за другим осторожно, словно каждый нес в кармане стакан, наполненный драгоценной жидкостью, вплыли и Коржев, и Стас, и Чмырев, и вся сборная страны.

Стас, невысокого роста, розовощекий, столь мало похожий на лыжника вообще, громко произнес:

— Добрый день, курортнички! У вас здесь что — репетиция художественной самодеятельности?!

Стас Зюбанов, фамилия которого шла от названия старинного оружия запорожских казаков «дзюба» (нечто вроде стального зуба на ручке), по природной легкомысленности своей даже не понял, какой нанес удар по самолюбию старшего тренера, наемкнув на перенаселенность палаты.

Скачков мельком взглянул в сторону Коленкиной кровати. Тот сидел, широко, будто от ужаса, открыв

глаза. И Валерий сообразил, что ведь в сборной страны тот знает не только его, Скачкова. И такой сюрприз — вот уж для кого сюрприз! — вся сборная в полном составе.

Комната постепенно наполнилась галдежом, и стало по-настоящему тесно.

— Ничего ты тут устроился. — Стас, как хомячок, дергал носом, как бы на нюх проверяя истинность своих ощущений. — Мы там гнемся, — он показал пальцем за спину, — а ты тут нежишься. Александр Петрович, нельзя меня сюда на профилактику?

— Можно, — в тон ему ответил Галицкий. — Только не на профилактику. Тебе она уже не поможет. Тебя надо сюда на демонтаж. Чтобы болтал меньше.

«Галицкий долго не забудет ему «художественной самодеятельности»», — мелькнуло у Скачкова.

Здороваясь с ребятами, он всматривался в лицо каждому. И странное дело, такие разные, тут стали едины — то ли сочувствуя Скачкову, то ли испытывая некую вину перед ним: они здоровы, а он на больничной койке...

«Вырядились-то — хоть на торжественный прием! Даже наш вологодский герой, который и спит, кажется, в тренировочном костюме с гербом, галстук надел», — Скачков заставил себя посмотреть на Чижика с одобряющей улыбкой. Фитиль, который Чижик вставил ему, Скачкову, выиграв ту прикидку, еще здорово тлел.

«Не терзайся, парень, — беззлобно подумал Скачков. — Не твоя вина, что я сюда попал. Боюсь, что и не моя вина будет, когда уйду, а тебя царствовать на лыжне оставляю».

Галицкий вдруг принялся сворачивать визит. То ли неожиданный дискомфорт многоместной палаты повлиял на его решение, то ли дела звали, но начали прощаться. И только тогда Валерий понял, как дороги ему эти парни, пришедшие из его, настоящего мира и которые вот сейчас вернутся туда, оставив его одного.

— Спускайтесь вниз, я вас догоню. Скажите водителю, пусть подождет — скомандовал Галицкий.

У Скачкова защемило сердце, но он взял себя в руки и прощался с каждым сердечно и весело. А Чижик сказал, сам не зная почему:

— Дня через три выйду. Состав в Америку утвердили?

Чижик покивал, потом покачал головой, Скачков так и не понял. Но переспрашивать не стал: он вдруг испугался, что состав будет не таким, как ему хотелось.

Когда команда ушла, палата разом опустела, словно семь ее обитателей оказались всего лишь гномами. Даже могучая фигура Галицкого, задержавшегося возле постели Скачкова, не приглушала этого ощущения внезапной пустоты.

— Я сейчас к самому, — Галицкий кинул глаза к потолку. — Он что, издеваться задумал — тебя в такую конюшню поместит?!

— Стоит ли... — вяло возразил Скачков. — Все равно я больше трех-четырёх дней здесь не останусь. Из твоей затеи лишь одно вытекает: к американской гонке я буду слабее, чем мог...

Галицкий промолчал, и Скачкову это очень не понравилось.

Потом он стоял в полупустом коридоре и тяжелым взглядом смотрел в спину старшему тренеру, уходящему в глубину большого холла. И, словно на замену, вплыло лицо Кати.

Поцеловав его, она сказала:

— К тебе, как на прием к высокому начальству, не сразу попадешь.

— Ребята приезжали...

— Да уж видела. Пойдем, хочу посмотреть своими глазами, как ты устроился...

— Забыл, что у тебя богатый больничный опыт.

В следующее мгновение Скачков пожалел о сказанном. Катя сникла, будто воспоминания, связанные с трагической болезнью отца, навалились на нее. Без всякого энтузиазма прошла в палату, оглядела ее, кивнув всем и тихо сказав «здрасьте». В ответ прозвучало еще более тихое «здравствуйте». Нехорошо как-то получилось, без тепла...

Катя, похоже, чуть уловила это.

— Перейдем лучше в холл. Там и поговорим.

Однако выйти не успели. В палате появилась старшая сестра — дородная, с царственной осанкой женщина.

— Скачков кто? — хозяйским тоном произнесла она.

— Ну, я! — ответил Валерий.

— Без «ну», пожалуйста, — обрезала довольно грубо. — А вы как сюда попали? — Она уставилась на Катю.

— Странная манера обращения к людям, если хотите, чтобы вам отвечали. — Валерий сказал это, едва сдерживая себя.

Старшая сестра отвела взгляд, но продолжала говорить уже на полтона ниже.

— Идите в десятую комнату, вас там уже целый час ждет врач. А вы, — она обратилась к Кате, — приходите после тихого часа. График посещения висит внизу у входа.

— Я приду вечером. — Катя повернулась к старшей сестре и, глядя ей в глаза, ласково, как могла делать только, когда была взвинчена до предела, произнесла: — И встретимся в холле. У меня нет больше желания приходить сюда.

Старшая сестра фыркнула и молча вышла. Ушла и Катя, а Скачков побрел в десятую комнату.

За стеклянными дверьми в окружении непонятных аппаратов сидел симпатичный усатый молодец и читал журнал «Смена». Когда Скачков вошел, он взглянул на него отрешенно и снова уткнулся в журнал. Скачков хотел повернуться и уйти, но молодец спохватился:

— Вы ко мне?

— Не знаю. Сказали явиться в десятую комнату...

— Фамилия? — Он неохотно отложил журнал в сторону.

— Скачков.

— Опоздавший? Раздевайтесь и ложитесь. — Он указал в сторону высокого дивана, застеленного белым. Потом взял в руки нечто напоминавшее микрофон и, пощелкав десятком различных тумблеров, начал водить своим микрофончиком по груди Скачкова.

Валерий с любопытством посматривал на колдовавшего врача, стараясь уразуметь, где и как фиксируются результаты обследования. По выпуклым стеклам осциллографов бегали голубоватые зубцы кардиограмм.

— Что-нибудь не так?

— А вы, собственно, чего ждете? И с чем попали к нам? — Врач пробежал глазами медицинскую карту и, видно, удивившись, сказал: — Скажу одно: мне редко доводилось зондировать столь тренированное сердце. Занимаетесь спортом?

— Немножко.

— Поздравляю. Такое сердце может быть лучшим подарком к Новому году девятиноста девяти из ста жителей Земли.

— А нельзя его оставить хозяину? Хотя бы ненадолго. Лет на пятьдесят?

— Договорились! — Врач засмеялся.

— А если серьезно?..

— Я делаю только один из многих анализов, которые вам надлежит сдать. Считаю, что эхолот вы прошли на «пятерку».

«Ага, съел господин Галицкий! На «пятерку» сердечко! А ты — лейкоцитики...»

Скачков зашагал к себе в палату, чрезвычайно довольный собой и итогом первого анализа, словно выиграл по меньшей мере индивидуальную гонку на Играх.

7.

Пока Скачков был на анализах, в палате уже обозначилась потеря: один успел выпиться.

Полосатик возился с объемистым кульком у окна: у него, как у старушки, узелков набиралось больше, чем пилуль, которые щедро выдавала ему утром медсестра.

Валерий не успел прилечь, как дверь в палату распахнулась и втокнули каталку, на которой стоял мужчина. Палата сразу наполнилась людьми в белом и тревогой. Прежние обитатели притихли на своих койках.

Нового больного, глухо, без удержу стонавшего, переложили на кровать. Прибежала сестра с ящиком. Сделали несколько уколов. Потом принесли штатив и, навесив колбу с прозрачной жидкостью, ввели иглу в руку.

— Здорово мужика прихватило! — Соседу очень не терпелось поделиться избытком информации в столь бедной ею больничной жизни. — Еще два часа назад ни о чем не думал. И вон какой приступ...

Валерий хотел было отмолчаться, но не позволила искренность, с которой обратился к нему Петя, чернявый, спокойный мужчина лет сорока. Это был практически первый разговор с соседом по палате, не считая двух-трех ни к чему не обязывающих реплик.

— Да разве мы думаем о беде... — сказал Валерий, еще не осознавая, что разговор о новеньком, которого так скрутило, может вполне относиться и к нему.

— Это уж правда, — горячо подхватил Петя, обрадованный тем, что есть собеседник. — Ходишь себе по земле, ползаешь, вдруг — трах! И почти на том свете сразу.

— Считаешь, лучше болеть с детства, чтобы скончаться без неожиданностей? — откликнулся из угла Полосатик.

На душе у Скачкова стало тоскливо-тоскливо, и теперь слова Пети доносились словно из-за ширмы:

— ...когда прихватит, любого слушаешь, любой утешительный совет кажется мудрым. Хотя советчикам проще жить — они сами никогда не женятся!

Валерий согласно кивал. Щека его, лежавшая на подушке, при этом терлась о грубую белую ткань с большим синим инвентаризационным штампом.

Вошла сестра, и Валерий услышал свою фамилию. Он встал и покорно двинулся следом в отдаленный кабинет.

Потом надо было идти в следующий, потом еще в один. Где-то он крутил педали велоэргометра. Где-то дул в трубку... Настроение окончательно испортилось: день сегодняшний оказался ему таким бесконечным, таким бессмысленным.

«Ничто хорошее не проходит без последствий», — пришла на память давно вычитанная фраза. Вспомнил родной дом, детство...



Матери становилось все хуже с каждым днем. Она мерзла, хотя в доме всегда было натоплено, почти нечем дышать. Мать настолько усохла от долгой, изнурительной болезни, которую переносила молча, как бы затаив обиду на весь мир, что утром, глядя на кровать, заваленную мягким и теплым тряпьем, он не мог с уверенностью сказать, есть ли мать в постели.

Многие годы спустя он видел эту кровать. В памяти его сохранились два детских воспоминания, которые заслоняли собой все остальное: кровать больной матери и крутой откос, шедший от самого крыльца к узкой, вертлявой речонке. Пустая кровать и откос...

Валерий прекрасно понимал, что между двумя этими картинками мало общего. И все же они остались нерасторжимыми на долгие-долгие годы. Сначала общее было в том, что и кровать умирающей матери и крутой откос пугали. Позднее и то и другое словно вели в неведомую даль, куда уже не забирались две лошаденки Рыжик и Слуха, — за болотину, непроходимую даже зимой.

Надо сказать, он был не из робких пацанов. Да с чего взяться робости? Жизнь рано вытряхнула детские опаски, как остатки муки по весне после зимы впроголодь. Жили они с отцом и мамкой на охотничьей заимке. Только теперь, вдоволь набродившись по земле, понимал Валерий, в какой глухомани родился.

Дед его пришел сюда из Тобольска зимником, да и застрял: место приглянулось. Избу срубил на откосе, который красиво смотрелся в необъятных просторах. Рубил дом, кедррачи трояка только на будущей пашне да луговицах. И дедова жизнь, и отцовская прошли в работе — с темна до темна, с весны до весны. А в свободное от работы время делали детей. Валерий был в семье одиннадцатым. И детство делилось на раннее, сладкое, полузабытое, и совсем другое — после смерти матери. Мать до болезни помнил веселой, жизнерадостной, хотя сейчас понял, что лежала на ее плечах двойная тяжесть большого хозяйства и большой семьи. Накормить всех, обстирать... Подзатыльников одних надавать сколько времени требовалось. А еще шесть коров, две лошади, птицы — прорва жующих ртов. И никто сторонний не поможет, никто за тебя ничего не сделает, и ты ни за чью спину не спрячешься... Ближайший человек жил почти за двести верст ниже по Имгыту — так называлась река.

Отец чаще всего занят на промысле: летом путики — охотничьи тропы с самоловами — чинит, ночевья рубит на новых местах. Сеном для скота надо запастись, дровами для дома. Осень ранняя — на заготовке ягод, грибов. Потом и сам промысел начинается. Пока река не стала — у воды лосей скрадывает. Зверя много, с каячка всегда возьмет, а вот мясо таскать — дело нелегкое в одиночку. Особенно, если подранок в чащобу уйдет. А тут и пушнина созреет. Торопиться надо, пока глубокие снега не легли, успеть с собаками отработать. Под морозы и птицу боровую, рябца, тетеревов с глухарями для соболиных капканов в качестве привады припасти надо. А там успевай сами капканы ставить да проверять.

Места своеобразные: болотины, болотины, а между ними царственные гривы кедровых боров. Основной лес, конечно, по откосам Имгыта. Но облов шире вести надо. Вот батя и соорудил путик на три-четыре дня ходу. Пока осмотрит его — уже и по новому кругу идти время наступает.

Где-то под весну приходил в Скачковку обоз. Пацанов сгоняли в одну комнату, а дядьки собирались в горнице, пили, ели, меха перебирали. Когда уезжали, отец веселел: обозники оставляли в доме кучу вкусных, малознакомых вещей с дурманящими нездешними запахами. Мать принаряжалась в новое платье, полвесны поздними вечерами шила обновы.

После смерти матери — Валерию тогда лет шесть было — все переменялось. Настена, сестра старшая, за хозяйку осталась, а батя от семьи как бы отторгнулся. Попивал крепко. Исчезал на месяцы, оставляя без присмотра домашний кагал. Ну и, конечно, не сказать на детях такая жизнь не могла. Все работали с утра до утра — вот когда по-настоящему удивлялись: как же мать без их помощи раньше одна управлялась? Беда в доме поселилась — начали братья и сестры умирать. То одного, то другого приберет. Да все как-то по-быстрому, споро, будто за матерью торопились.

А схоронили мать на песчаном бугре под тремя соснами. Чтобы добраться до него, надобно было снести гроб по откосу, на котором дом стоит. И мамкин гроб чуть не упустили, и братин потом... Так что об откосе у Валерия со временем свое представление складывалось... Не как раньше — на ледянку сядешь и айда вниз, аж сердце от скорости к горлу подтягивает. После братинных похорон на том откосе больше и не катались для развлечения. Как-то само собой получилось.

Захирел дом. Батя почувствовал, что не удержать детей в дальнем закутке, не под силу ему тянуть сто лямок, как прежде, и начал распахивать по людям: пацанам учиться надо, а девушкам замуж... Попал Валерий тогда в тобольскую школу-интернат. И с тех пор привык жить самостоятельно, по-взрослому, полагаясь лишь на себя.

Воспоминание о детстве потому осталось неопределенным: и манящим, и пугающим. Одна радость последних лет в заимке — охота. С отцом промыслять начал рано. Если тот не брал в трудный ход, сам себе ближайший путик приглядывал. Ружье отец старое давал, а вот с патронами труднее — и птицу, и зверя какого привык выцеливать тщательно, полагаясь больше не на пулю и заряд, а на собственную сноровку и глаз.

По молодости нередко горячился и в охоте больше брал шустростью, чем мудростью. На ноги чаще уповал, а не на голову. Да это и понятно. Знания и опыт с годами приходят. Зато в долгие зимы много бегал на лыжах, проверяя ближние самоловы или даже так, без дела: ружьишко за спину закинет, палку в кулак и айда. Лес знал хорошо — как по избе двигался.

Одежонка жиденькая; бывало, морозец под сок, а то и более завалится. Бежит — тепло; чуть притомившись, остановится дыхание перевести — холод начинается вязать. Опять вперед. Батя говаривал, что сын на ногу скорый. Когда подрост, а батя по возрасту ослаб, придерживать ход приходилось, коль вместе по путику шли. Валерий два капкана обрабатывает, а батя — один на себя берет.

С лыжами своими Валерий и в интернат заявился. Смеялись над ним. У городских они особые, спортивные. А он свои любил. Выпадает время свободное, на лыжи становился и в тайгу уходил. Ружья уже не было, а петлями и еще какими хитринками то зверя, то птицу брал: все в коммуне на харч шло.

Однажды устроили соревнования по лыжам. Валерию с мелюзгой ходить совсем не с руки. Но заставили. Озлился очень, надел школьные тяжеленные лыжи, палки под мышки сунул, чтоб не мешали, и побегал. Выиграл с таким преимуществом, что

физрук обвинил, будто резанул он где-то круг. Валерий предложил ему вдоль лыжни пройти — пусть покажет, где обман совершил. Но тот идти не захотел, результат признал неверным и отдал победу сопляку.

...Годы спустя, когда взрослым попал Валерий в далекий дом на Имгыте, многое увиделось иначе. И дом тесноватый — даже удивительно, как помещалась в нем такая орава. И откос, казавшийся поднебесной вершиной — на краю стоишь и вниз, в снеговую падь, даже глядеть страшно, — лишь крутобокий бережок.

В тот последний приезд, когда Валерий смотрел на материну кровать из потемневшего струганого дерева, с изъеденной короедом спинкой, ему опять представилось это дальнее, детское воспоминание.

«...Мать настолько усохла от долгой, изнурительной болезни, которую переносила молча, как бы затаив обиду на весь мир, что утром, глядя на кровать, заваленную мягким и теплым тряпьем, он не мог с уверенностью сказать, есть ли мать в постели...»

Казалось, что она еще там. Болеет. И случай с гробом на откосе — лишь дурной сон. А вся жизнь без матери — ошибка, нелепость.

Батя, когда на него находила ласковость, желание приглядеть дитё, гудел баском:

— Жизнь — штука непростая. С годами поймешь это не хуже меня. Но что бы с тобой ни случилось, помни: жить надо — не оглядываться назад во злобе, не смотреть со страхом вперед, не озираться по сторонам в растерянности. Остальное приложится.

А еще помнил Валерий — отец все обещал больной матери развести возле дома садик, и такой добрый, чтобы тот с небом разговаривал.

9.

— А ртамончик! — Миша-Полосатик вкатился в палату. — Прибыла заправка!

Высокий, неуклюжий Артамонов, сосед Миши по койке, в роскошном тренировочном костюме и иностранных кедах, величаво поднялся с постели, пренебрежительно цыкнул сквозь зубы, выражая свое непочтение то ли к Мишиному сообщению о заправке, то ли к самой заправке.

Скачков с интересом проводил взглядом Артамонова до самой двери: удивительно нескладный, мордастый, чересчур угловатый для такого роста и такого полного лица.

В походке Артамонова, несмотря на попытку изобразить величавость, наметанный глаз Валерия, очень чуткий ко всякому движению человеческого тела, без труда улавливал полную раскоординированность. Он даже подумал, что именно больные суставы заставили Артамонова лечь в клинику.

Артамонов вернулся — прошло не больше десяти минут, — неся зажатую в охапке объемистую сетку. Он тащил ее так, справедливо опасаясь, что не выдержат ручки: в сетке желтели банки апельсинового сока вперемежку с яблоками и бананами.

«Э, — подумал Валерий, — в шутке Полосатика немало правды. Заправка-то, видно, богатая и частенько прибывает. Впрочем, чего удивляться — это я человек новенький, а они-то друг друга хорошо знают. Через неделю и меня так же хорошо изучат. Похоже на сборную команду, где каждый знает о каждом все. И даже больше, чем каждый сам знает о себе».

Скачков не терпел, когда лезли в его жизнь.

С детства приученный к самостоятельности, он не скоро подпускал к себе нового человека.

Артамонов тем временем пробил ножом две дырки в банке и, завалившись на кровать, принялся вливать сок в свой широко распахнутый рот.

Потом заговорил:

— Если есть настоящий вид спорта — так это футбол. Я многих знаменитых знал... — Он сделал паузу, как бы проверяя, достаточно ли внимательно слушает его аудитория. — У меня во дворе жил Пека... С Гусем не одну бутылку усидели. Я в спорте человек свой. Вот ты, Миша, знаешь, кто забил решающий гол в прошлогоднем финале кубка страны? Не знаешь... — Артамонов не слушал, потому что не слышал, как Миша сказал: «Гулямов». Но Артамонова это и не интересовало. Он обладал паразитическим качеством, сродни глухарину: когда говорит сам, перестает слышать других.

Он еще долго витийствовал, рассуждая о спорте, как дилетант, сумевший найти лазейку за кулисы больших событий, но видящий и мир спорта, и людей в ракурсе коммунальной кухни.

«Но ведь все это могут говорить и про меня... — подумал Скачков. — Хотя, конечно, Артамонов — явление: у него волосы вместо мозгов!» Артамонов настолько зарос, что казалось, будто все так жадно проглоченное превращается у него прямо в волосы.

— Еще классный вид спорта — шайба...

— Ты-то сам чем-нибудь занимался? — подал голос Коленька, но Артамонов снова сделал вид, будто не слышал вопроса.

Скачков хотел было сказать свое мнение, но так и замер: в дверях палаты стояла женщина в накинутом на плечи халате и улыбалась столь счастливой улыбкой, будто зашла на дружескую вечеринку, где ее долго и с нетерпением ждали.

Скачков не верил своим глазам. Это была Неля... Но зачем она здесь?! Да и откуда?! Он видел ее последний раз лет пять назад. Уже успел забыть тот день решительного разговора — по-мужски резко, прямого и неприятного для него донельза.

— Неля?! — удивился Скачков. Палата замерла, глядя на вошедшую.

Она стояла, оглядывая комнату. Скользнула взглядом по нему. Потом по соседям. На миг показалось, что ищет кого-то другого, не Скачкова. И словно подтверждая это предположение Валерия, она обратилась ко всей палате:

— Здравствуйте, товарищи! Дружно вы здесь живете. У вас, похоже, не соскучишься!

Все загалдели в ответном приветствии. А она теперь глядела на Скачкова одного. Это была все та же прежняя красавица Неля. Только красота ее с годами стала еще пышнее, женственней. Из милой озорной девчонки (с на редкость серьезным характером, когда дело касалось принципиального) она превратилась в женщину, на которую хочется смотреть неотрывно.

Только после того, как Валерий шагнул навстречу, она сказала:

— Ну, здравствуй, Скачков!

Палата утихла, поняв, к кому пришла гостья.

«А к Катюшке отнеслись настороженнее», — успел подумать Валерий и понял — он еще не раз вернется к этой мысли, пытаясь разобраться: случайно ли, не показалось ли?

Неля выпростала руки из-под халата, и в обеих оказалось по авоське. Правая рука к тому же сжимала букет цветов. Отдав одну из авосек Скачкову, она прошла по палате, положив на тумбочку каждому по огромному красному яблоку — столь редкому алма-атинскому апорту. На общий стол по-

ставила букет цветов. Потом повернулась к Скачкову.

— Ну знаешь, если такие мужики, как ты, будут валяться по больницам, никаких государственных ассигнований на здравоохранение не хватит.

В палате засмеялись. Она, ослепительно улыбаясь, обратилась ко всем:

— И вы тоже не очень болейте! На земле есть немало и других интересных занятий.

Хором и старательно — поведение Нели доставляло каждому удовольствие — все поддерживали ее шутку.

Скачков стоял в центре палаты, глупо переминаясь с ноги на ногу, пораженный не только внезапным появлением Нели, но и тем, как она стремительно и легко вошла в эту комнату, обжить в которой он и не рассчитывал.

Неля взяла его под руку и вывела в коридор. Скачков чувствовал горячую ладонь на своем предплечье, ее упругое тело дышало силой и молодостью.

— Ты как сюда попала? — только и мог он проговорить, глядя на ее светящееся радостью лицо.

— Это все, что тебя интересует?! — вопросом на вопрос ответила она и добавила: — Скачков, сколько раз я тебя учила: если не можешь высказать все в трех словах «Я тебя люблю!» — лучше не говори ничего.

— Что ты в Москве — еще могу понять. Но здесь, в больнице, где и я неизвестно зачем...

— Вспомни, ты так любил восклицать: «О, женщины! Непостижимые существа! Вы можете стать жокеями, учеными-атомщиками, хоккеистками! Но вряд ли когда научитесь парковать свою машину параллельно соседней!» — Неля откинулась от Скачкова, декламируя его любимое изречение.

Когда они вышли в полупустой холл, сбросила с себя всю шутливость и сказала, проведя ладонью по его плохо выбритой щеке:

— Что с тобой, Валерка?! Как ты чувствуешь себя?

Спросила таким тоном, что он чуть не заплакал от жалости к самому себе.

Пожал плечами.

— Вроде нормально. Сколько мы не виделись? С того вечера...

Она закрыла ему рот ладонью.

— Пять лет, два месяца и четырнадцать дней, — произнесла с грустью.

— Что не виделись целую вечность, только ты виновата, — в тон ей, но как можно мягче сказал Валерий.

— Ты прав! Виновата только я...

Скачков уловил иронию в ее признании.

— Знаешь, — сказал он, — я до сих пор не понимаю, почему ты уехала. Или точнее — из-за кого ты уехала.

Неля отпустила его руку. Они стояли у окна, прильнув к массивному подоконнику. Свет падал на нее сбоку, словно в фотоателье, выделяя тонкие черты и без того четко обрисованного лица. Она сказала:

— Пустое это, Валерочка! Важно, что я вижу тебя. И ты такой же, как прежде. Это главное.

Теперь она говорила искренне, без малейшей тени иронии. Скачков почувствовал, как от одного присутствия Нели — давно не испытывал такого — у него кружится голова.

«Не хватало упасть в обморок! Что со мной? Неужели ничего не забылось? А Катя?»

Вспомнив про Катю, он сразу насупился, будто пытал себя на подлость.

— Так чем обязан? — ляпнул он.

— Ты?! Мне?! — удивленно спросила Неля, и в глазах ее прибавилось блеска. — Я проездом в Москве. Отпуск у меня нынче такой запоздалый. Решила повидать тебя... Узнала, что ты лег на обследование. Вот, думаю, и хорошо. У него в больнице времени будет побольше, чем прежде. А то, бывало, закрутишься — жди тебя до бесконечности... — Последние слова она произнесла чуть тише, будто раздумывая, стоит ли их говорить.

Да, странные тогда были у них отношения. Оба молодые, оба горячие. Ссорились вдвое больше, чем мирились. Если подумать как следует, то просто поразительно, почему раньше не разошлись, а именно в тот год, именно в тот вечер, когда он решил, наконец, жениться на Неле.

— Валерочка, мое появление, похоже, тебя не очень радует?

Неля взяла в свои ладони его голову и повернула к себе. Она всегда так делала, когда хотела узнать от него что-либо с наибольшей степенью достоверности.

— Конечно, рад! — горячо вырвалось у Валерия. Но потом добавил, взяв себя в руки: — Просто неожиданно все... Честно, и не думал, увижу ли когда-нибудь!

— Скачков! — крикнули в коридоре. — На снимки!

— Проклятье! — Он огорченно схватил Нелю за руки. — Нашли время снимки делать. В вену цветную муру сначала ввели, а теперь вот зовут. Ты подождешь?

— Нет, Валерочка, лучше к тебе завтра загляну!

— Правда? — он с надеждой посмотрел ей в глаза. — Еще раз придешь?

— Приду! Я ведь женщина современная, эмансипированная — если мужик ко мне не идет, сама к нему прихожу!

Весь остаток дня он думал о Неле, о неожиданной встрече. Как назло, снимки перенесли на завтра: то ли проходимость сосудов оказалось недостаточной, то ли введенный в вену состав не туда пошел. Но мысль, что Неля в Москве, а он поленом лежит на опостылевшей койке, выводила из себя.

10.

З а ним явились сразу же, как только закончился обход. Незнакомая сестра безошибочно подошла к его койке и увела с собой. Скачков брел коридорами, пересек большой холл на первом этаже, а потом потерял ориентацию: они долго кружили среди тяжелых металлических дверей.

Наконец, он очутился в небольшой обшарпанной комнате, в которой, кроме вешалки и кресла, не было ничего.

— Посидите, пожалуйста, — сказала сестра и исчезла за тяжелой стальной дверью.

«Будто на морском судне. Задрают дверь: кричи не кричи — никто не услышит. А сам не выберешься».

Он сидел в одиночестве целую вечность и начал уже нервничать: в конце концов могли бы привести сюда, когда следовало!

— Раздевайтесь до трусов! — Голос из-за двери прозвучал неожиданно.

— Пройдите сюда, — раздалась следующая команда.

Скачков вошел в просторную комнату, заставленную гигантскими, похожими на космические, аппаратами, упиравшимися в потолок.

У белого стола с приборами и разложенным сверкающим инструментом сидели три женщины разного возраста. Они с нескрываемым любопытством и затаенной настороженностью осматривали стоявшего.

— Начнем, — сказала старшая.

Она подошла к Скачкову и, взяв его за руку, подвела к аппарату, состоявшему из огромных экранов, кубов и полусфер.

— Ложитесь на стол. — Она указала на белую простыню, покрывавшую ровную твердую доску. — Подушки должны оказаться под икрами и под шеей.

Скачков легко, как на гимнастический снаряд, вскочил на стол и уютно устроился в соответствии с инструкцией.

— Умница, — похвалила полная пожилая женщина. — Сейчас мы вам введем фонирующую жидкость. Вы, пожалуйста, разговаривайте со мной о чем-нибудь, чтобы я могла контролировать ваше состояние.

Скосив глаза, увидел, как медленно разряжается колба шприца. Это было последнее, что он увидел. И женское лицо, склоненное над ним, и шприц, и сложные переплетения аппаратной конструкции, и свет разом померкли.

Очнувшись Скачков от резкого запаха нашатыря. Три женщины в белых халатах кружили над ним: кто подносил тампон к носу, кто массировал руку, кто прощупывал пульс. Они облегченно вздохнули, заметив, что он пришел в себя. А полная тихо сказала:

— Слава богу! Напугал нас! Как самочувствие?

Голосом, который бы он никогда не признал за свой, Валерий ответил, вяло ворочая языком:

— Отличное.

— Самое тяжелое позади. Теперь только съемки. Лежи спокойно.

Он кивнул. Говорить не хотелось. Вернее, не хотелось слышать странный собственный голос. Он ощущал холодок плоскости, на которой лежал. И ждал. Но ничего не происходило. Только время текло медленно-медленно. Даже подумал, что про него забыли.

«Что же это было? И все так перепугались, будто я концы отдал. Ничего себе, экспериментик!.. Без обследования я бы наверняка еще сто лет прожил, а тут от одного укола чуть не загнулся».

Он начал замерзать, когда старшая сказала:

— Вот и умница. Спасибо. Теперь все. Но не вставайте, полежите немножко.

— А если я тут замерзну?

— Не дадим. — Она засмеялась и укрыла Валерия кусачим оранжевым одеялом.

Стало тепло и приятно.

— Заснуть могу, — пошутил он.

— Спите. В палату вас все равно санитары отнесут.

— Что вы! Я сам! — Он сделал попытку подняться, но старшая положила ему на лоб свою мягкую теплую ладонь и сказала:

— Не надо, мой милый! У тебя странная реакция на фонирующую жидкость. Но ты молодец! Сразу видно, что со спортом в ладу.

Вошли два рослых парня с носилками в руках. Такие дежурили обычно на финише биатлонных трасс. Если кто-то зарывался и лез на бровях, не считаясь ни с формой, ни с трассой, и после финиша падал, они подхватывали, укутывали в плед и уносили в медпункт. За долгую спортивную жизнь Скачков ни разу не лежал на этих позорных, как он считал, носилках.

«Пожалуй, вряд ли бы добрался до палаты своим ходом. Неужели один укол какой-то дряни способен

меня так легко сбить с ног?! Так зачем же я столько лет тренировал свое тело?!»

В палате Валерия встретили напряженным молчанием. Следили за каждым движением санитаров с особым участливым вниманием. Переложили на кровать. А он был не в силах разомкнуть веки. То ли сон, то ли состояние, похожее на сон, сморило его.

Когда очнулся, то увидел, что на соседней кровати лежит худощавый мужчина средних лет с больши́ми, глубоко посаженными черными глазами. Вокруг стояли почти все обитатели палаты. Новенький что-то рассказывал тихим голосом. И вдруг заметил, что Скачков проснулся. Улыбаясь, дружелюбно сказал:

— Как спалось? Товарищи говорят, что вы сегодня прошли через все круги Дантова ада. Будем знакомы: меня зовут Романом.

— Валерий! — охотно откликнулся Скачков. Вспомнился собственный приход в палату, когда он даже не поздоровался.

«Могут же люди вот так... Входить, как в свой дом... С каждым встречным — будто с родным братом. На это особый характер иметь надо».

Соседи разбрелись по койкам, а Роман, осторожно повернувшись на бок, лицом к Скачкову, сказал:

— Меня тут приступ почечный прихватил. Почка, как волейбольный мяч, раздулась. Ночью совсем невмоготу. — Он говорил о своей болезни — Скачков зримо представил себе, как раздувается почка, — будто о насморке. Нет, этот Роман положительно нравился Валерию. Пожалуй, как никто в палате. И тут же Скачков подумал, что толком, кроме Коленьки, ни о ком ничего не знает.

Потом к Роману пришла — не пришла, а тихо возникла рядом — жена: полная, с таким же, как у него, добродушным лицом. Он звал ее Дарьюшкой.

Она не суетилась, не ахала, не вздыхала, мало спрашивала мужа о самочувствии, больше смотрела и каждую минуту норовила, подобно Клаше Степановне, сделать для Романа хоть малость приятного: то одеяло подоткнет под спину, то соринку с тумбочки смахнет, то подушку поправит.

Временами лицо Романа искажалось от боли, и тогда он прикрывал лицо сухой пальцатой кистью, словно глаза уставали от света. А когда опускал руку, на губах опять держалась улыбка.

Скачков заметил, что, несмотря на разность обликов: Роман — худой и длинный, Дарьюшка — маленькая и полная, у него вытянутое мужественное лицо, у нее круглое налитое, — несмотря на это, улыбка одна, как бы общая. Такое случается с супругами, которые живут долго и ладно.

Скачков чувствовал себя лишним рядом с таким почти выставочным супружеским согласием. Хотелось уйти, но он не был убежден, что сможет встать. И потому, отвернувшись, притворился спящим. Однако на душе стало удивительно покойно — и это он понял безошибочно — лишь потому, что рядом такие вот Роман с Дарьюшкой.

II.

Здесь и впрямь заблудиться было легче, чем в тайге. Коридоры полуподвалов казались бесконечными и не похожими друг на друга. После нескольких переходов и лестничных полупролетов вниз-вверх он толкнул стеклянную дверь и очутился, как ему показалось, за пределами больничного мира.

Комната с окнами до потолка. Вдоль стен, свободных от стульев, цветы в горшках, фикусы, пальмы в белых кадках и похожие на корыта два длинных ящика с кактусами. Этаким насыщенный уют. Возможно, он и подавлял. Сидевшие мужчины и женщины были одинаково безмолвны и скованны.

Время от времени из-за другой стеклянной двери выходила сестра. Она не произносила ни слова. Но среди сидевших вдоль стены кто-то вставал и уходил за ней. Атмосфера всеобщего молчаливого понимания царила в комнате. Здесь каждый все знал про каждого, как в спортивной команде.

Скачков так увлекся наблюдением, что вздрогнул, когда кто-то тронул его за колено. Рядом с его ногой сидел на корточках мужичок с голубыми глазами под лихой челкой золотистых волос. Маленькие кулачки сжаты, словно только что он проделал непомерную работу.

— Меня зовут Женя, — сказал он, глядя на Скачкова снизу вверх. — Мне пять лет. Я с мамой пришел...

И он кивнул в сторону одинокой женщины, следившей за ним внимательным взглядом из-за полусмеженных век.

— А меня зовут Валерий. И мне уже почти тридцать лет. — Скачков ответил мальчугану, а смотрел на маму, отвечая как бы ей.

Женщина тихо улыбнулась. А Женя рассудительно произнес:

— Старый ты... — Мальчик покачал головой, с трудом поднялся на выпрямленные ноги, будто на плечах его лежал неимоверный груз — так поднимался сам Скачков в тяжелоатлетическом зале, когда со штангой «качал» ноги, — и направился к сестре, возникшей в дверях.

Сидевшие проводили его ободряющими взглядами, и потом вновь каждый ушел в себя. Рядом со Скачковым опустился на стул пожилой мужчина с крупными чертами лица. Он негромко, как бы про износ слова парля, сказал:

— Регистрацию на облечение делает та же сестра? — Он кивнул в сторону закрывшейся двери и виновато пояснил: — Я первый раз...

«Облечение... Так, значит, все сидящие здесь проходят радиотерапию?! И этот мальчуган?»

Валерий рассеянно ответил:

— Я тоже новенький... Здесь... Из больницы... — Он показал глазами на дверь, из которой пришел.

«Так вот почему здесь все знают друг друга, они ходят сюда по многу раз... Вот почему царит такое тихое товарищество...»

Открытие так внезапно поразило его, что он с испугом вспомнил маленького Женю.

«Как?! И у него?!»

Мужчина — новенький — встал и пошел к сестре выяснить что-то, а Скачков, не отдавая себе отчета, зачем это делает, пересел к Жениной матери.

— Вы простите Женю, — тихо сказала она. — Он у меня очень общительный. И, как все дети, бывает бестактным.

— Что вы... Он очаровательный. — Потом Скачков вспомнил, где они находятся и что с Женей. Мать грустно улыбнулась, поняв дальнейший ход мыслей Скачкова.

— И вы на процедуру? — спросила она, словно то, о чем идет речь, само собой разумеется. — Я что-то не видела вас раньше...

— Лежу в клинике... И попал сюда случайно, — признался Скачков.

— А-а-а, — сказала женщина.

Она посмотрела на Валерия, как глядела на Женю, и опять улыбнулась своей мягкой, доброй улыбкой.

— Жене обязательно надо вот это? — Скачков показал глазами на стеклянную дверь.

— Мы долго надеялись, что врачи ошибаются. Переговорили со всеми специалистами. И с больными тоже... Мне всегда казалось, что рак нечто далекое-далекое. Почти фантастическое. Им болеют только другие... А вы спортсмен? — Она резко переменяла тему разговора.

— Пытался им быть. Но теперь мне кажется, что тело мое и я живем в разных измерениях. Еще вчера...

— Не думайте об этом так. И не бросайте спорта. Кстати, чем вы занимаетесь?

— Всем понемножку — бегаю, плаваю, играю в футбол... А всерьез — биатлоном.

— Что это?

— Лыжная гонка со стрельбой.

— Поняла. Я в студенческие годы летом стреляла, а зимой бегала на лыжах. Даже, помню, посмотрев ваши соревнования по телевидению, подумала: как здорово это сочетать! Можно спросить? — сказала она, понизив голос до шепота. — Как вы себя чувствуете?

Скачков пробурчал:

— Нормально...

Невольно стеснясь своего, в общем-то, благополучного по сравнению с людьми, сидящими в этом зале, состояния, рассказал, что с ним случилось.

Лицо женщины просияло.

— Это же прекрасно! Вы столкнулись лицом к лицу с чем-то непонятным... И раз уж это не рак...

Скачков даже не вздрогнул, хотя страшное слово «рак» сегодня, в эту минуту, впервые было произнесено в непосредственной связи с ним, Валерием Скачковым.

— Помните восточную притчу? — продолжала женщина. — Жизнь — это цифра, где здоровье — единица, а все остальное — нули. Поставьте единицу впереди, и получится великая цифра, а за нулями — пшик, миллионные доли...

— Так уж принято не заботиться о том, что имеешь.

— Можно вам посоветовать кое-что? — дошли до сознания Валерия слова Жениной матери. — Как бы ни сложилось — боритесь. И никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте то, к чему привыкли. Живите, как жили. И успехов вам на лыжне...

12.

Галицкий появился в палате неожиданно и незаметно, что насторожило Скачкова. Но предложение Галицкого привело в восторг:

— Давай-ка, мнимый больной, собирайся! Я баньку заказал. Сауна уже разогрета. Попаримся, встряхнемся — и назад. Машина ждет...

— Но у меня врачи.

— Подождут. Врачей много, а звезда мирового биатлона одна.

Скачков поклонился, благодаря за столь лестное утверждение.

— Значит, договорились. Я сейчас на улицу, а ты через пять минут к воротам. Там и встретимся.

Ровно через пять минут, никого, естественно, не предупредив, Валерий спустился вниз по знакомым проходам. Воровато оглядевшись, забрался на ворота. Щель между грязно-серым закопченным сводом и чугунными пиками, венчавшими ворота, оказалась вовсе не столь просторной, как виделась снизу. Отжавшись на руках, он все-таки сумел проскользнуть между потолком и пиками и спрыгнул вниз, порадовавшись, что так легко отделался.

Баня, одна из лучших в Москве, была жарко натоплена. В комнате отдыха стоял накрытый нехитрой снудью стол. И, главное, Саня, массажист сборной, встретил Валерия, радостно потирая руки.

После пяти заходов в парилку, в которой Скачков хлестался венником так жаростно, как некогда, словно мстя больнице за проведенные столь нелепо дни своей жизни, он минут на сорок отдался в Санины руки. Галицкий даже не выдержал, призывая их к столу.

Александр Петрович лоснился от удовольствия, что придумал и осуществил банную вылазку.

— Слушай, Валера, ты дорогу через ворота запомни. Сегодня вечером она тебе еще потребуется. Один большой тибетский специалист по крови объяснялся. То ли из Уфы, то ли из Тулы. Я думаю, к нему съездить стоит. Вдруг что посоветует. Народная медицина чем хороша — и больница не нужна. — Последний довод Галицкий пустил в ход, увидев, как округлились от удивления глаза Скачкова: зачем ему привозные специалисты? — Травку будешь пить вместо чая. И до самой старости никаких забот.

— На травке-то с твоими нагрузками да без никаких забот?

Смех получился скорее грустным. Особенно для Скачкова. Он оглядел уютную комнату, где они сидели за столом. Валерий как мог тянул время, отодвигая момент неминуемого возвращения в больницу. Даже пожалел, что согласился на побег через закрытые ворота: эта баня, это блаженство, а потом...

В последнее время он слишком часто спрашивает себя: а что потом? И с этой точки зрения затягивать посещение бани было не просто бессмысленно, но и мучительно.

Перелезая через ворота, снова протискиваясь в узкую щель под потолок, Валерий рассмеялся. «Какого черта я полез обратно тем же путем! Ведь войти мог спокойно через дверь. Что бы случилось? Выгнали из больницы? Замечательно!»

Так, посмеиваясь про себя, он и вошел в палату. К удивлению своему, обнаружил, что никто и не заметил его побега.

13.

Вывозы к врачам участились как-то сразу. Сестры входили одна за другой и уводили его в разные концы коридоров.

С болезненной мнительностью Валерий подмечал нечто неумовимое, происходившее вокруг. Вроде ничего не изменилось, только все, с кем он сталкивался, за исключением Клаши Степановны, вели себя так, будто знали про него какой-то секрет. Даже в палате, стоило ему войти неожиданно, вернувшись из столовой или с прогулки, разговор неловко умолкал — явно говорили о нем. Возможно, так было и вчера, и позавчера, но лишь сегодня он начал придавать значение подобным мелочам.

Как-то перед обедом он зашел по вызову в физиотерапевтический кабинет. Два женских голоса вели беседу за большим старинным шкафом, отделявшим дверь от остальной части комнаты.

— ...кто бы мог подумать, такой здоровый молодой парень, спортсмен, и вот тебе, пожалуйста...

Он слишком поздно сообразил, что разговор имеет отношение к нему, и потому, шагнув в комнату, спугнул говоривших — обе мгновенно умолкли, а одна из них, молодая черноволосая сестричка, покраснела.

После того невольно подслушанного разговора он почувствовал приближение какой-то реальной

опасности. Но пока никак не хотел допустить даже мысли о том, что опасность живет в нем самом.

Врачи что-то делали с ним, о чем-то спрашивали, уточняя данные, записанные в пухлую, настолько пухлую карточку, что трудно было вообразить, как можно написать о человеке так много за короткое время.

...Катя пришла сразу после обеда, молчаливая, замкнутая. Они уселись в большие потерянные кресла с продавленными сиденьями, словно хворости человеческие тяжким грузом продавили и саму больничную мебель.

Катя время от времени поглядывала на него застенчиво-выжидающе, словно в поисках каких-то зримых перемен.

— Что с тобой? У тебя неприятности? — Валерий хотел полуобнять ее, но она мягко и решительно отстранилась.

— Какие у меня могут быть неприятности? Без тебя вот только скучно...

Последние слова ее прозвучали совсем фальшиво. Оба поняли это сразу и надолго умолкли.

«Что с ней происходит? Неужели сам факт моего больничного заключения так портит ей настроение? Конечно, Катя — человек импульсивный. Но она ведет себя так, будто присутствует уже на моих похоронах. Тыфу, черт! Глупости какие в голову лезут!»

Потом мысли Валерия улетели в далекую Америку. Зажмурил глаза и представил себе усредненный пейзаж на трассе будущих гонок. Это была не Америка, но и не тобольская тайга. Все, что довелось ему увидеть за годы бесконечных странствий, как бы отложилось в глубинах сознания вот таким пейзажем — белым многоснежным на склонах крутых гор, поросших елями. Воображаемая картина настолько захватила его, что смысл слов Кати дошел до сознания не сразу.

— ...совет в институте прошел на крике. Каждый отстаивал свою точку зрения так жаростно, будто от того, согласится с ним или не согласится, зависит его пребывание не только на кафедре, но и на этой земле вообще.

«О чем это она? Ах, да! О своих институтских делах. Глупо сидеть молча и думать каждому о своем. Впрочем, что общего у нас с ней, кроме нашей любви?»

Ему стало стыдно за свои мысли — он посмотрел на умолкнувшую в кресле Катю, которая поняла, что Валерий ее совсем не слушает. Она пошарила рукой за креслом и извлекла большую хозяйственную сумку.

— Вот тут тебе...

— Спасибо. Зря ты. У меня всего много.

Он вспомнил о том, сколько съестного принесла ему Неля. Смутился. Чтобы скрыть смущение, взял сумку. И облегченно вздохнул, когда услышал ее слова:

— Отнеси в палату. Мне туда совсем не хочется идти.

— Конечно. Я мигом.

Подхватил сумку и пошел в палату, чувствуя на себе взгляд Кати и думая, как хорошо, что она не пошла с ним.

Поворачивая за угол, он бросил взгляд в конец коридора. Ему почудилось, будто мелькнула знакомая фигура. Он не успел даже сообразить, кто бы это мог быть.

Когда, поспешно запихнув в тумбочку кульки и пакетики, он вернулся в холл, Катя сидела все в той же позе.

— Извини, мне надо бежать. Я непременно завтра найду

— Всегда рад тебя видеть.

В его голосе трудно было уловить радость. Валерию показалось, что по губам Кати промелькнула горькая усмешка.

Холодный поцелуй наконец прервал эту мучительную для Валерия встречу. Через мгновение каблочки Кати застучали по паркету. Когда Валерий повернулся, он увидел Нелю, которая, видно, давно сидела в самом дальнем углу холла, за большой кадкой с фикусом.

«Этого еще не хватало», — вяло подумал он.

14.

Заявление в пограничное училище Валерий отправил от всех тайком, не особенно надеясь на положительный ответ. И хотя в интернате учился прилично, редко позволяя оценке ниже четверки пробиться в дневник, далекое подмосковное училище казалось иным миром, таким же радостным, как отцовская заимка в летние месяцы.

С этим неверием в свою военную звезду он получил вызов, с этим неверием катил поездом через половину России. И только став в строй зачисленных курсантов, поверил, что ждет его впереди служба.

Осень в тот год стояла несусветно теплая. Сентябрь по-летнему падал. Октябрь пронес наряды бабьего лета — зеленое с золотым — едва ли не до ноябрьских праздников. Снег пал поздно, но щедро: в три дня покрыл землю полуметровым слоем. Курсантов поставили на лыжи.

Валерий подобрал себе лыжную пару из некомплекта, так как к раздаче спортивного инвентаря опоздал. За два свободных от занятий вечера он под насмешливыми взглядами товарищей кое-что подстрогал, подновил, прошив заново дратвой ременные крепления, и подогнал лыжи по обуви.

В воскресенье приятели сманивали в увольнительную, но он от поездки в город отказался. Надел лыжи и выбрался в прилегающий лесок. Двое парней из его отделения увязались с ним. Не успели и слегка размяться, когда накатилась группа человек в десять, одетых в специальные костюмы, бежавших легко, по-спортивному, а не как обычные катающиеся. Приятель, глядя с завистью на их экипировку — обтягивающие брюки и куртки, гамаши, высокие шапочки, — говоря уже о цветных ботинках и лыжах, — сказал:

— Сборная погранвойск тренируется...

Валерий, сам не зная почему, увязался за ними. Катили по лыжне в таком порядке — команда впереди, тренер за ними, а замыкал цепочку он, Валерий. Бежать было приятно и удобно: при виде многочисленной группы встречные уступали лыжню, и не надо было постоянно сбиваться с ритма.

Сначала Валерий с трудом держал заданного командой темпа. Потом пришло второе дыхание. И он уже бежал азартно, со вкусом, чувствуя, как подобная нагрузка задает всему телу приятную работу. Втянувшись в ритм, забыл обо всем, видя перед собой только голубое пятно тренерского костюма. И едва успел затормозить, когда пятно это закрыло всю лыжню.

— Ты откуда такой, паровоз?

Тренер стоял, навалившись грудью на лыжные палки, и, улыбаясь, смотрел на растерянное лицо Валерия, пытавшегося побороть смущение.

— Из училища, — спокойно сказал Валерий.

— Новичок поди? Не помню тебя...

— Первый год.

— Лыжами занимался раньше?

— Нет. Так, дома ходил по делу.

— Что значит «по делу»?

— В тайге... С батькой по путикам.

— Из Сибири, выходит. Откуда?

— Тобольский.

— У-у, сермяжный! — Он распрямился и внимательно осмотрел Валерия и его экипировку. — Неужели на соревнованиях ни разу не выступал?

— Один раз. В интернате.

— И как?

Валерий хотел промолчать, но заинтересованное, добродушное лицо тренера ободряло, и Валерий, не смотря на желание не вспоминать о том скандальном беге в интернате, брякнул невпопад:

— Жуликом обозвали.

— Как так?

— Первым пришел. Да остальные очень отстали. Физрук и сказал, что я где-то круг срезал. Я же честно! Просто хорошо бежалось...

— Не Сократ твой физрук! Знаешь, сколько ты сейчас за нами тянул?

Валерий покачал головой — он и впрямь не заметил, сколько длилась игра в догонялки за сборной.

— Силен, паровоз! — Тренер от души засмеялся. — Ты десятку пробежал с моими парнями. Да еще на таких дровах. — Он показал на осиновые лыжи. — Вот что, парень, как твоя фамилия?

— Скачков Валерий.

— Прекрасно, Скачков Валерий! Завтра к десятой утра приходишь в домик, который в углу сада стоит, знаешь?

Валерий кивнул: он знал этот уютный домик за спортивным залом.

— К десяти не могу. Стрелковая подготовка в десять. — Валерий произнес эти слова безо всяких эмоций, он еще и сам толком не осознал, надо ли идти — да и зачем? — в этот садовый домик.

— Ерунда. Я договорюсь с начальником училища. Тебя отпустят.

— Лучше договориться с нашим старшиной.

Тренер засмеялся.

— Раз считаешь, что со старшиной лучше, давай с ним тоже договорюсь.

В это время от опушки стала накатываться сборная команда, сделавшая полный круг по лыжне. Тренер, увидев их, сказал:

— Итак, до завтра, паровоз. А меня зовут Людинов Кирилл Александрович.

Валерий невольно козырнул. Кирилл Александрович снова рассмеялся. Вместе с ним рассмеялся и Валерий. Было как-то удивительно легко говорить с этим человеком.

— А почему вы меня паровозом называете? — осмелев, спросил Валерий, не отрывая глаз от команды, бежавшей слаженно, подобно длинному цветному поезду.

— Потому, что бегать на лыжах ты не умеешь. Но силица в тебе паровозная. Правда, и кпд тоже паровозный!

Валерий не понял, что такое паровозный кпд, но напустился, и это не укрылось от Кирилла Александровича:

— Не обижайся. Техника — дело наживное. А вот топку добрую иметь, — он постучал себя по левой стороне груди, — не каждому дано!

Они посторонились с лыжни, и команда покатила мимо. Кирилл Александрович прикрикнул:

— А ну, сачки, прибавили!

Когда последний лыжник показал спину, он, становясь на лыжню, спросил:

— Еще с нами пробежишь?

— Нет, — ответил Валерий. Слово «паровоз» сидело в душе занозой, и быть посмешищем не хотелось.

— Тогда до завтра.

И Кирилл Александрович укатил следом за своими питомцами, укатил мощным скользящим шагом, стремительно тая в снежном просторе и настигая группу. Валерий смотрел вслед со смешанным чувством восхищения и обиды, потом возвратился в казарму и до вечера просидел в читалке. Вернулись из увольнительной приятели. Потекли бесконечные рассказы, как там, на гражданке.

Он почти забыл о встрече на лыжне. Идти в садовый домик? Мало ли кто что скажет! Пропустишь стрелковую подготовку и объясняйся со старшиной. Тем более что предстояли первые стрельбы из «мелкашки» в тире, а ему так хотелось взять в руки знакомое оружие — соскучился со времен таежных.

Тир подавлял теснотой бетонного туннеля и холодом. Валерий, дождавшись очереди, вышел на огневой рубеж вместе с каким-то офицером, направившимся к старшине. В глубине туннеля полыхал яркий свет. Черные яблоки двух поднятых мишеней смотрели глазами горноста, увеличенными во много раз. Он успел взять в руки винтовку и три пристрелочных патрона, сунутых старшиной прямо в ладонь, когда над ухом раздался знакомый голос:

— Ну, паровоз, если ты и стреляешь, как бежишь...

Офицер не закончил свою мысль. Валерий кивнул майору, с удивлением узнав в нем лыжного тренера.

— Давай, три пристрелочных! — произнес старшина.

Валерий мельком взглянул на прицел. Там стояло «50», хотя расстояние было вдвое меньше. Он передвинул целик. Старшина прогудел:

— Правильно! Нечего коробочку раскрывать!

Одобрительный тон старшины успокоил Валерия. Он лег на мат и, почти не целясь, сделал три быстрых выстрела.

Старшина, смотревший в трубу на мишень, удовлетворенно крякнул.

Майор посмотрел в трубу и не сказал ничего.

— Как оружие? — спросил старшина.

— Нормально, — ответил Валерий.

Это была старая «тозовка», без магазина, с тяжелым литым стволом, точно такая, какую таскал он по тайге. И вес оружия, и запах пороха как бы вернули его в привычную охотничью обстановку. И теперь все происходившее с ним стало таким обыденным, что, казалось, вот-вот раздастся чуть насмешливый голос отца: «Пуделя не дал?!

— Молодец, — сдержанно произнес старшина, — три десятки. — И уже куда-то в микрофон: — Киселев, подними вторую на пятьдесят.

Вдали, вдвое дальше, чем стояла прежняя мишень, поднялся щит с бусиной-глазом. Старшина двинул к Скачкову коробку из-под патронов. Пальцами Валерий нашарил плоские шляпки. «Десять», — сосчитал он.

— Ну, снайпер, давай, — сказал старшина.

Валерий начал сажать пулю за пулей. Приглушенный голос из динамика произносил после каждого выстрела: «Десять, на двенадцать часов!», «Десять, на час!», «Десять, на одиннадцать часов!», «Десять на центр!»

Валерий не слушал корректировку. Он каждый раз выцеливал так, будто стрелял первый раз. Привычное оружие, давно-давно отработанный прицелочный стандарт делали свое дело. После того как он загнал в ствол последний патрон, до его сознания дошло, что он положил все пули в десятку. Аж перехватило дыхание! Он сделал поспешный выстрел, и бесстрастный голос из конца туннеля произнес: «Семерка, на шесть часов».

— Силен таежник, — прогудел майор. — Вот что, старшина, как договорились, я его забираю, а остальное оформим потом...

Он полуобнял за плечи вставшего Валерия и повел к двери, за которой гудела комната ожидания, полная сокурсников. Когда Кирилл Александрович, все так же полуобняв, провел Валерия мимо удивленных глаз, Скачков и не догадывался, что в ту минуту решилась его судьба.

В домике, куда они пришли, пахло мазями, стояли в стеллажах лыжи — тонкие, словно лезвия хантыйского ножа, цветные, расписанные эмблемами и цифрами. На веревках вдоль батарей сушилась выстиранная форма.

Они сели в два мягких кресла. Майор долго молчал, рассматривая Валерия, словно хотел увидеть в нем то особенное, что долго искал, и вот, кажется, нашел, но еще не уверен в этом до конца.

— Валерий, — он обратился к нему по имени, но в голосе его звучала некая торжественность, будто собирался объявить благодарность перед строем. — Тебе надо серьезно заниматься спортом. Правда, если еще вчера я точно знал, что с тобой делать, то сегодня... — Он помолчал. — Вчера считал, что лыжи — твоя стихия. Но сегодня, после стрельб — это было черт-те что! — думаю, не лучше ли тебе заняться биатлоном.

Валерий впервые услышал звонкое незнакомое слово.

— Чем?

— Так называется лыжная гонка со стрельбой. Не знаю пока, как сочетаются у тебя эти два элемента на трассе, но каждый в отдельности весьма обнадёживает. Из тебя может получиться звезда мирового класса.

— Прямо! — хмыкнул Валерий. Слова Кирилла Александровича показались ему обычной приманкой, которую бросают соболю возле капкана, чтобы он лучше шел в ловушку.

— Именно мирового класса! — горячо повторил Кирилл Александрович. — Если будешь серьезно работать, ты сделаешь в спорте очень многое. Я говорю это с полным убеждением и так же искренне, как говорил бы своему сыну.

— Да я что... — Валерий помедлил. — Я бы с удовольствием, как они... — Он кивнул в сторону развешанной на просушку лыжной формы.

Кириллу Александровичу, он и не скрывал этого, понравилась прямота Валерия.

— Значит, порешили. Завтра начнешь тренироваться вместе с нами. С начальником училища я уже договорился...

15.

Первая бессонная ночь показалась Валерию случайной. Но утром он не мог себе толком объяснить, то ли впрямь терзался бессонницей, то ли она ему приснилась. Но на вторую ночь, проведенную без сна, голова распухла от мыслей. Когда рассуждаешь в три часа ночи, а не в полдень, то и мысли совсем другие.

В эти ночные бессонные часы, где-то на грани сознания и подсознания, родилась его игра в давно предполагаемую болезнь. Он плохо представлял, что может быть с кровью, его кровью. Скорее мог вообразить болезнь, схожую с привычной спортивной травмой. Ушиб, порез, вывих... Но он ведь знал точно — этим объяснялась его больничная одиссея, — плохо именно с кровью. А это не так понятно, как перелом. Значит, можно додумывать все, что угодно. Тем более за дни, проведенные в больнице, он

узнал о медицине столько, сколько не слышал за всю предыдущую жизнь.

В ту ночь, проведенную то ли в бреду, то ли в полудреме, он представил себя другим человеком. Нет. Не совсем так. Это выглядело сложнее. Будто был он и в то же время не он. Такое случается только во сне. Значит, все пережитое той ночью было плодом болезненного воображения. Только почему так реально, почему так жизненно? Вспомнил невольно, как посмеялся когда-то над книжкой одного американского врача, где были рассказы людей, переживших состояние клинической смерти. Словно побывавших на том свете. Все они говорили, что видели себя со стороны, как бы улетевшими к потолку, а там, на кровати, лежало лишь тело...

И вот теперь нечто подобное случилось с ним. Он мысленно проходил сквозь жизнь какого-то другого человека, с которым, однако, был связан невидимой, но столь крепкой нитью, что с полным основанием не мог утверждать, будто речь идет именно о другом человеке. Люди всегда сталкиваются с болезнью внезапно. И он не был исключением. Уже с год замечал какой-то шарик на внутренней стороне правой ладони. Когда появился, не запомнил. То ли во время рубки дров, то ли после долгих летних тренировок, когда руки держат лыжные палки без перчаток, столь привычных зимой. Роллеры тихо катят по асфальту. А палки упираются в камень жестко. И этот шарик...

Да, да, именно в тот вечер... На тренировке играли в баскетбол. Мяч кинули сильно, через половину площадки. Он принял его неудачно, в штык, ладонью. И дикая боль вдруг пронзила всего, будто коснулся проводов высокого напряжения. Боль такая, что и сознание отключилось, и свет померк. К боли разный привыкший в спорте, тут испугался не на шутку.

Врач, к которому он обратился, очень походил на Галицкого — не потому ли кажется, что Галицкий так похож на врача?!

— Это может быть всего лишь киста, — сказал спокойно врач, будто речь шла о бородавке. — Но мой совет — удалите шарик. Вы ведь военный? В любом госпитале легко сделают.

Операция? Как проходила она? Все словно на бегу.

Почистили, помыли, к операции приготовили. Потом белый стол под гигантской лампой... Очнулся уже в палате. Рука белой куклой лежала на простыне, и два врача сидели рядом.

— Ну, что нашли?

— Первое предположение — киста. Но чтобы не ошибиться, нужна гистология.

Никто не говорил ничего определенного несколько дней. Уже перед самой выпиской пришел хирург, который делал операцию.

— У нас нет никаких сомнений, что с хирургией все в порядке. Но гистология, честно говоря, удивила. Это не просто киста. Это опухоль. Похоже, предрасположена к росту.

— Вы хотите сказать — рак? — Он почему-то спросил об этом так буднично, словно речь шла о насморке.

— Вы солдат, спортсмен, не кисейная барышня, и, думаю, с вами можно говорить откровенно. Тем более, что взаимная искренность нам очень понадобится в будущем, если мы хотим одержать победу.

— Победу над чем?

— У вас весьма редкая форма фибросаркомы. Насколько мне известно, медицина знает единичные случаи подобного заболевания.

— Что же мне делать? — растерянно спросил он, только сейчас понимая, о чем идет речь.

— Прежде всего сохранять спокойствие. Мобилизовать всю силу воли и на некоторое время забыть о происшедшем. А через двадцать дней я вас жду: посоветуемся со специалистами.

Забыть? Наверное, пошутил — забыть! Он не из слабодольных, конечно... Когда порой не мог отвести что-либо, всегда находил в себе силы довести дело до конца. Но забыть... Все эти дни, после операции, только и думал о случившемся. За столом. С друзьями. На тренировках. В очереди на станции техобслуживания автомобилей.

Спорт — это прекрасно. Сам знал. Но точно знал и другое: спорт еще никого не вылечивал от рака. Хотя жить полной, приятной жизнью — не самый худший способ ожидания смерти. Пожалуй, с помощью спорта он сможет болезнь перенести не труднее, чем само сообщение о раке.

Потом пришел сезон, и все завертелось в развлекательной карусели. Так было несколько месяцев, пока однажды вновь не позвонил лечащий врач.

— Хочу тебя обрадовать, дружище, — сказал он.

Как-то само собой они перешли на «ты». И впрямь казалось, что он знаком с врачом вечно. И что сама болезнь родилась так давно, как родился и он сам. Иначе почему в жизни ничего не меняется?! Он так же, нет, не так же — с двойной силой тренируется, удачно выступает на соревнованиях. Поговаривают о сборной страны...

«Хочу тебя обрадовать» — какие хорошие слова. Если они правда, а не ложь, святая ложь утешения.

— Специалисты пришли к выводу, что у тебя все сто шансов выздороветь. Но чтобы с гарантией, пожалуй, лучше пройти цикл радиотерапии. Когда поймали твой шарик, он, похоже, был в зачаточном периоде роста. Наследить никак не мог. И все же совету для профилактики...

И тогда он появился в комнате с цветами. Странно, но был маленький Женя. И его мать. Только с ней он почему-то никак не мог заговорить. Но зато теперь сам уходил за стеклянную дверь вместе с сестрой. И лежал на тяжелом диване под мощной лампой, протянув руку, на которую надевали специальный пластиковый чехол.

После десятка облучений кожа на ладони огрубела, а сама ладонь вздулась. Это он потом понял, что радиация не убивает раковые клетки немедленно. Она только ограничивает их развитие. Наконец закончился последний сеанс. Соскочив с дивана и одеваясь, он шутя спросил врача, мрачного детину без лица и имени:

— Можно считать, что теперь я вылечился окончательно?

Тот ничего не ответил. Потом, словно обращаясь в пустоту, сказал кому-то, но не ему:

— Что такое «окончательно»? Болезни нет, а рак остался. Вернется ли? Спросите об этом лечащего врача...

— Слышишь, ты, у меня нет никакого рака! Понял?!

Подхватив спортивную сумку, он ринулся на улицу. После тренировки забрался в полупустой бассейн и плавал до его закрытия, когда уже последняя группа пенсионеров закончила свою общефизическую подготовку. И не чувствовал усталости...

Пожалуй, от этого чувства невероятной, почти забытой в последние дни легкости он и проснулся. Долго лежал с открытыми глазами, пытаясь отделить правду от фантазии, увиденное от придуманного, свое от чужого.

— Н еужели ты не хочешь спросить, что это была за женщина? — Валерий почти сорвался на крик. У него не хватало сил слышать веселый, до приторности веселый голос Нели.

Уже с полчаса они сидели в тех же креслах, что и с Катей.

Неля видела его с Катей. И вот теперь смеется. И даже не спросит...

— А зачем? — тихо сказала Неля. — Какое мне дело до той женщины? Или тебе хочется выговориться? Так пожалуйста. Мне не впервой слышать от тебя о других женщинах, что хотелось бы услышать о себе.

«Дернул черт за язык! Но не спросить я не мог. Не мог! Она все поняла. А ведет себя так, словно ничего не знает. Дескать, крутись перед судом своей совести...»

Валерий встал и подошел к окну: те же черные хлысты ветел терлись под ветром друг о друга, та же белая пустошь дворового колодца.

Он почуствовал на плече руку Нели.

— Не терзайся по пустякам. Ты свободный мужчина. И я тебе, в общем, никто. Почему ты должен отчитываться передо мной?

Она, конечно, мягко сформулировала то, что так терзало Скачкова. Она прекрасно его понимала. Чего нельзя сказать о Кате. Казалось, вот немножко такого понимания со стороны Кати, и они давно бы уже жили с ней под одной крышей.

— Ну же, ну! Веселей!

Он повернулся к Неле, увидел рядом ее улыбающееся лицо.

— Ты чудесный человек.

Валерий взъерошил короткую стрижку Нели. Она крутнула головой.

— Я два часа сидела в парикмахерской, чтобы тебя поразить своим видом, а ты вот так, одним жестом все ломаешь...

— Прости. Это от избытка чувств.

Он показал рукой на кресло. Они снова сели.

— Старее, — сказал он и развел руками.

— Все хотят жить долго, но, странное дело, никто не хочет быть стариком. — Она нагнулась к сетке и достала большой апельсин. — Ты же настоящий мужик. Чего канючишь по пустякам?

— Я не канючу. Не привык... Вот у нас однажды появился на сборах парень с таким количеством медицинских справок, что тренер, переглянувшись с врачом команды, спросил: «Слушай, а ты как сюда добирался — случайно, не на «скорой помощи»?»

Неля расхохоталась.

Ее лицо пылало румянцем, светилось такой искренней добротой, а в глазах, влажных и сверкающих, как бы отразилось прошлое, которое теперь так далеко от них обоих.

Валерию нестерпимо захотелось поцеловать Нелю. Но кругом сновали люди.

— Вот таким я тебя люблю... — Она прошептала в самое ухо. — Не важно, где ты, на спортивной базе или в больнице, лишь бы оставался самим собой. — Потом серьезно спросила: — Что говорят врачи?

— А что им говорить... Делают свое дело. Живу, как подопытный кролик...

— Ты же сам мне говорил когда-то, что спорт приучает человека пережить все, не теряя своего «я».

— И это запомнила?

— Ах, Валерочка, я помню каждую минуту, каж-

дое слово, что было произнесено и что не было.

— Ты хочешь сказать...

— Все, что хотела тебе сказать, я сказала в тот последний наш вечер. К чему полузатухшие угли кочергой ворошить?

Валерию захотелось взглянуть в лицо Нели, но она не повернула к нему головы — будто говорила не с ним, а сама с собой.

Рядом выросла тощая фигура Коленьки.

— Вас старшая сестра там ругает. Говорит, в тумбочке продовольственный склад устроили.

Валерий двинулся было за Коленькой, но Неля остановила его.

— Я сама... Не надо тебе вмешиваться в наши бабские дела.

Минут через пять она вернулась, загадочно улыбаясь.

— Все отрегулировала. Теперь она к тебе долго приставать не будет.

— Ты случаем не заместитель Руденко?! Не на штатной ли тут работе?

— Георгий Филиппович — милый человек. Я бы с удовольствием у него поработала, если бы не моя несколько иная профессия.

Скачкова больше всего поразило, как Неля произнесла имя и отчество шефа клиники. Не оставалось сомнения — она знакома с Руденко.

«Боже! Она, кажется, специально приехала, узнав, что я в больнице. Другой вопрос, как она узнала. Но зачем приехала — это важнее...»

— Что тебе сказали врачи? — вдруг резко и прямо спросил Валерий.

Неля сразу сникла. И ее виноватая улыбка уже не могла спасти положение.

— Мне? Ничего...

— Не надо врать. Я давно чувствую, что вокруг какая-то серьезная возня, а меня, сопляка, все время уговаривают, что надо лишь сдавать новые анализы...

— Нервы, Валерочка, нервы... — Неля хотела отшутиться.

— Ты встречалась с Руденко?

Она молчала.

— Да или нет?

— Прошу тебя, перестань со мной разговаривать таким тоном.

— Почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Хотела увидеть — пожалуйста. Но эти разговоры с врачами... По какому праву?

Неля обиженно надула губы. Она готова была вот-вот выпылить и уйти. Наверное, именно этого хотел сейчас Валерий.

— Ты считаешь, что мне безразлично, как себя чувствует отец моего сына?

Валерий вздрогнул:

— Какого сына?

— Твоего сына... — Она вздохнула тяжело, явно не одобряя столь некстати вырвавшееся признание.

— Ты мне ничего не говорила...

— Я тебе говорила все... Тогда... В тот вечер... Но ты выбрал спорт. Я не осуждаю тебя. Каждый человек должен поступать в соответствии со своими принципами. Мне осталась твоя любовь, тебе — твой биатлон!

— При чем здесь биатлон?

— Вот и я все эти годы о том же думала. При чем биатлон, когда речь идет о жизни? Но для тебя жизнь только в скорости на лыжне и в выстрелах. Ты прекрасен в этом действе, сомнений нет. — Она жестом пресекла его попытку вставить слово, и Валерий понял, что уже ничто не помешает Неле закончить монолог, который так напоминал о разгово-

ре в давний вечер расставания.— Но ты никому не оставлял места в своем сверкающем мире. Ты сам занимал его весь, без остатка. А сын... Лешка — это осколок твоего мира, который мне удалось удержать при себе.

Валерий слушал, низко опустив голову. Он даже не пытался вспомнить хоть что-то из того давнего разговора, уяснить, кто же был тогда прав... Он чувствовал, что безусловно права в том споре женщина, которая сейчас сидит перед ним, которая говорит такие обидные слова и которая так его любила и любит.

17.

Валерий лежал на кровати, натянув одеяло на голову. Все звуки, рождавшиеся в палате, доходили до него одним обезличенным шуршанием.

Серо-зеленое одеяло отгораживало его от мира, в котором подстерегало столько проблем и который еще несколько дней назад казался ему самой подходящей средой обитания.

Неля... И еще неведомый Лешка... Валерий попытался представить себе сына, но перед глазами роились какие-то рыжие бесенята. Ни одного симпатичного детского лица! Потом сама Неля... Он за эти годы совсем забыл о ней. А она его любила. Он забыл ее так легко — забыл ли? — может, потому, что ее уход показался тогда предательством. И вот эти слова Нели: «Любовь — особая игра: или выигрывают оба, или никто!» И еще: «Из четырех миллиардов людей, которых ты мог любить, ты выбрал только себя!»

Кто-то тронул его одеяло. Он притворился, что не слышит. Над самой головой раздался громкий голос: — Капитан Скачков, подъем!

Откинув одеяло, Валерий увидел над собой лицо Галицкого.

Скачков нехотя поднялся, заправил одеяло, показал рукой Галицкому — садись! Но тот, не поднимая руки от бедра, словно стрелял из пистолета то-ковбойски, поманил его согнутым пальцем. И для пущей важности показал глазами на дверь.

В самом конце коридора Валерий увидел коренастого мужчину в накиннутом на плечи халате.

— Это известнейший одесский специалист Константин Васильевич Коршунов... — Галицкий не уточнил, специалист в какой области.

Рука одессита оказалась тяжелой — железной ладью человека, много работавшего с металлом. Валерий окинул взглядом мужчину с головы до ног. Точнее — с ног до головы. Яркие желтые ботинки вопиюще дисгармонировали с черным дорогим костюмом. Кричащий галстук под стать ботинкам. А простоватое лицо выражало нечто среднее между божанью и хитростью.

«Со вкусом у специалиста не бог весть... И глазенки что-то бегают. На кой черт он сдался мне да еще в больнице?!»

Словно отвечая на сомнения Скаčkова, Галицкий сказал:

— Константин Васильевич проездом в Москве. Всего один день. Мне с большим трудом удалось уговорить его приехать сюда...

— Зачем? — спросил Валерий, заставив Галицкого поперхнуться. Валерий смягчил свой вопрос: — Я хочу сказать: зачем так срочно понадобился редкий специалист?

Константин Васильевич хлопал белесыми мохнатыми ресницами, переводя взгляд со Скаčkова на Галицкого.

— Константин Васильевич — автор уникального препарата обновления крови — поспешно забормотал Галицкий. — Константин Васильевич, расскажите кратко.

— Чего говорить? Экстракт сделал я. Из кожи змеи...

— Из чьей кожи?! — Валерию показалось, что он ослышался.

— Из змеиной кожи... Экстракт на спирту. С добавлением трав.

— И помогает?

— Константин Васильевич вылечил немало безнадежных больных, — охотно подхватил Галицкий.

— Таких, как я? — наивно спросил Валерий.

Галицкий понял, что допустил оплошность.

— Перестань, Валерий! Речь идет только о счастливой случайности — Константин Васильевич оказался в Москве...

— Я понимаю. — Валерий повернулся к Коршунову. — А вы кто по профессии?

Специалист стусевался.

«У парня явно плохо не только с мыслительным аппаратом, но и с обыкновенной реакцией. А по профессии он, скорее всего, грузчик».

— Боцман я был, — признался Коршунов. — Да вот увлекся медициной.

— А-а, — протянул Валерий. Он так выразительно посмотрел на Галицкого, что тот заерзал в кресле. Валерий встал, кивнул «специалисту» и пошел к себе в палату.

Его догнал Галицкий. Не поворачиваясь, Валерий спросил:

— Ты меня за идиота принимаешь? Кому нужен этот неандерталец от медицины? Неужели мои дела так плохи?

18.

Сегодня впервые он не сделал зарядку. Впервые за многие годы. И возникло ощущение, что он забыл где-то очень важную и нужную вещь. Но, с другой стороны, на это ощущение накладывалось иное — нужная и важная вещь ему сегодня ни к чему. Странное состояние: потеря несомненная, а искать ее нет желания.

Скачков долго не вставал, насколько позволяло расписание. Не пошел и на завтрак — неохотно пожевал яблоко, принесенное Нелей.

— Не заболел ли сосед? — проходя мимо койки, спросил Миша-Полосатик.

— Разве здесь поболееешь? — вяло огрызнулся Валерий.

Хихикнул один Артамонов, и то с набитым ртом. Когда вчера сестра сказала Артамонову, что таблетки надо принимать за два часа до обеда, Петя сострил:

— Сестра, у него нет «двух часов до обеда» — он жует беспрерывно.

Валерий поднялся с постели, лишь когда приехали с каталкой за Романом. Это было неожиданно только для Скаčkова. Занятый своими собственными проблемами, он плохо видел, что делается вокруг. Остальные в палате знали, оказывается, что Романа готовят к операции.

— Как настроение? — спросил Валерий, когда Романа переносили с кровати на тяжелую белую каталку.

— Нормально. Видно, время пришло. — И устало улыбнулся.

— Желаю успеха. Ждем быстрее назад. — Он стиснул Роману руку.

Ответное пожатие было слабым и не очень уверенным.

После того как забрали Романа, в палате стало так пусто, словно увезли половину ее обитателей. Надолго повисло тягостное безмолвие.

Миша-Полосатик пытался порассуждать скорее для того, чтобы снять общее напряжение.

— Ему придется удалить одну почку. Дело в этих стенах немудреное. Что со второй почкой — вот важно. Если вторая действует, то без удаленной еще сто лет проживет...

Слова Полосатика падали в пустоту. Никому не хотелось ни комментировать слова Миши, ни оспаривать их.

«Характерная черта современной жизни — мы вырубам леса в местах, где строим свои жилища, а потом называем наши улицы по названиям вырубленных деревьев: Березовое шоссе, Дубовый проспект... Так и с людьми. Живем с ними рядом, в лучшем случае не замечаем, а когда расстаемся, вдруг проникаемся к ним запоздалой и теперь такой бессмысленной любовью...» — подумал Скачков.

На месте не сиделось. Как назло, ни одного вызова к врачу, ни одной сестры, будто все силы клиники брошены на предстоящую операцию Романа.

«А ведь мы должны куда раньше, чем перед смертью, понять или хотя бы попытаться это сделать: откуда мы, куда и зачем идем? И как важно слушать кого-то сердцем, а не ушами...»

Валерий встал и вышел в коридор. У самых дверей он столкнулся с Катей. И неожиданность встречи совсем не удивила. Будто Катя и не могла не оказаться здесь именно сейчас. Но почему же тогда он так безразличен к ее приходу? И под руку взял, и по коридору повел почти машинально. Только приткнувшись у большого окна, где шло тепло от длинной батареи отопления, взглянул на Катю. И поразился. Ее лицо — чужое, холодное — было бледнее, чем обычно.

— Как ты? — Вопрос сам по себе не требовал ответа, таким тоном он был задан.

Валерий не ответил.

Молчание прошлой встречи как бы переливалось в эту, сегодняшнюю.

— Прости, Валерий. — Катя стиснула собственные плечи, словно стремясь спастись от холода. — Я не могу больше приходить сюда...

— Не приходи, — тихо ответил он, хотя сердце захолонуло. Спросить бы, почему она больше не может сюда приходить... Но Валерий понимал, что сказанное Катей еще не главное и не все.

— Не могу приходить сюда... Нет сил. И не только сил. Всю ночь я думала о нашем последнем разговоре. К ужасу своему, не нашла сострадания в сердце. Понимаю, что дурно, но это так.

— Ты просто устала. Тебе надо отдохнуть. В институте неприятности?

— При чем тут институт?! — она вскрикнула, но тут же взяла себя в руки. — Похоже, я и впрямь устала. Но главное — не могу видеть эти белые стены, белые халаты, тебя в этих стенах. Пойми, это выше моих сил. Память об отце слишком жива во мне. И я ничего не могу с собой поделаться...

Валерий едва коснулся рукой Катиного плеча и, не говоря ни слова, пошел в палату.

«Вот уж когда посыплется... Недаром с утра такое настроение. А еще говорят: будь счастливым — это верный способ жить долго!»

— Вот ты где, голубь мой! Идем, доктор видеть хочет. — Клаша Степановна раскинула руки, словно боясь, что Валерий проскочит мимо и не послушает ее.

— Может, не стоит, Клаша Степановна? — спро-

сил Валерий, чтобы скрыть радость: надо куда-то идти и что-то можно делать. Впервые вызов врача доставлял ему такую радость.

Когда он обернулся, Кати в коридоре уже не было.

19.

Из Берлина выехали поздно, после обеда. Путь лежал неблизкий — километров четырехста на юг, в Тюрингию. Он поначалу внимательно рассматривал бегущие за окном автобуса чистенькие, аккуратные пейзажи, по-осеннему серые и пустынные. Громоздкий автобус весело вписывался в чехарду автобана, то как бы поигрывая густым басом при обгоне зазевавшегося тихохода, то уступая путь маленькой юркой машинке.

С соседом Стасом Зюбановым заспорили о мажках. Разговор перешел на снег, ни малейших признаков которого не было за окном. Казалось, команду кто-то дурачит. Какие там соревнования биатлонистов, коль совсем нет снега... И традиционная предновогодняя гонка, собиравшая столько именитых, казалась нереальной. Правда, обещали снежные покровы в горах.

И он, и Стас — дебютанты в сборной. До последнего момента будет неясно, поставят ли кого-нибудь из них в основной состав. Или, размявшись на трассе, вновь придется только глядеть вслед старшим товарищам... Неопределенность наполняла душу тревогой. Чтобы отвлечься от мыслей о предстоящей гонке, Скачков принялся считать косуль и ланей, высматривая их не только в непосредственной близости у дороги, но и там, в голубоватой глубине полей, слегка подернутых предвечерней дымкой тумана.

Но отвлечься не удавалось.

Сколько можно лопатить палками снег впустую! При этой мысли Валерий невольно покраснел: разве не он только что выиграл первенство страны в эстафете? Когда его включили в сборную, стало казаться, будто он прожил в спорте долгую-долгую жизнь. И уже ничего нового не узнает. А ведь не выиграл еще ни одной порядочной международной гонки.

В автобусе, не первый час монотонно катившемся по убавляющей однообразии дороге, почти все спали.

«Терехову можно спать. И Звонкову тоже. И Карпову. Они-то точно побегут. А вот остальные как могут спать?! Ну, Любомиров, тот — понятно. Похоже, что он вообще едет в последний раз. Хотя и сейчас неизвестно, зачем его тащат. И устал, и постарел...»

Думая так, Валерий слишком явственно ощущал жестокость приговора. Он уже стал привыкать к тому, что спорт — не лучшее место для проявления милосердия. Правда, мысль, что когда-то скажут и о нем так же, как он думал о Любомирове, не пришла в голову, куда больше занимало, выпустят ли его в основном составе. Он ведь уже столько сделал, чтобы занять место в сборной! И Звонков, и Карпов, и Терехов это прекрасно понимают. И тренер понимает, только признать не хочет. Еще бы, он сопляк! Сам-то Галицкий шел наверх так туго. И сделать в спорте толком ничего не смог. Как щепку ветром по пруду, потаскало его от одной случайной победы к другой.

За окном автобуса заметно стемнело. Лишь дальние высокие леса резной кромкой чертили по небу свои загадочные графики. И покачивание машины, и равномерный гул под полом, и мрак за окном

сморили. Скачков задремал, как показалось, на мгновение. Но очнулся уже в белой сказке. Автобус заложил крутой вираж и, пыхнув тормозами, замер. За его окном в небо уходили два сверкающих корпуса. Слово «Рапогата» полихало во все ночное небо. Усыпанное звездами, небо казалось бездонным, а острые крыши отеля, будто два зуба гигантской вилки, вонзались в черноту, пытаясь поддеть на острие хотя бы одну из сверкающих точек.

Пока выгружались, пока размещались по номерам — просторным, уютным, теплым, что особо ценно в горных отелях, с телевизорами и холодильниками, — подоспел ужин. Их кормили в маленьком зале. Стас встретил у входа. Он уже разузнал, что в отеле есть и бассейн, и кегельбан, и сауна. Даже расписание работы финской бани запомнил.

— Достойный уровень, я тебе скажу... Номер на двоих уйму денег стоит. А наши хозяева молодцы: своих по профсоюзным путевкам селят да еще талоны дают на питание...

— И когда ты все успел узнать? — Скачков часто произносил эти слова, слушая Стаса.

— Природа дала мне два глаза, два уха и только один язык.

— Но ты им работаешь так, словно нет у тебя ни ушей, ни глаз...

Стас не обиделся, только подмигнул и сел рядом. После ужина Валерий решил побродить окрест. Не прошел и километра вдоль уютных альпийских домиков, светившихся цветными окнами, как ветер заметно уплотнился. И уже, казалось, не из щелей тянет он, а огромная, поставленная за углом аэродинамическая труба разворачивается на полную мощность. Горы уже скорее угадывались, чем виднелись, крутилась пелена белого мокрого снега. Скачков повернул к отелю.

«Похоже, здорово теплеет».

Когда вошел в номер, в ушах еще продолжал ревет ветер.

Ночью Скачков пару раз просыпался, но даже не слышал традиционного стасовского храпа. То ли ветер, ревевший за окном, заглушал все, то ли Стас сам спал тревожно, если спал вообще.

Утром Валерий проснулся, едва забрезжило за окном. Впечатление такое, что ночи и не было. Только заметил, что крыши почернели, а на пригорках проступила жухлая зелень травы. Когда перед завтраком вышел на улицу для утренней пробежки, понял, в чем причина изменений вокруг. Дождь слизал не только выпавший вчера снег, но и тот, который лежал уже не один день. На дорогах, на всех подступах к отелю чавкала каша из воды и остатков снега.

— Придется пробежку отменить, — услышал за спиной голос Галицкого.

И тут же Стас добавил:

— Давайте тогда поплаваем.

— Все треплешься, Стас! Работай ты на лыжне хоть вполсилы того, как языком, — цены бы тебе не было.

На следующее утро чувство уныния охватило участников гонки. Только гости отеля, веселые и беззаботные, уезжая, разбредались по машинам, заставшим на парковке.

Стас пустил слух, что гонка то ли отменяется, то ли переносится. Пока Валерия волновало другое: поставит ли Галицкий его хоть на один вид программы — в личной гонке или эстафете... Хотя какая там лыжня, когда кажется, что вода льет с неба и выдавливается из-под земли.

На совещание Галицкий пришел мрачнее тучи. Валерий старался на лицо тренера не смотреть, что-

бы тот, упаси бог, не подумал, что Скачков очень хочет выйти на трассу.

Он так и сидел, глядя в окно, за которым бушевал теплый ветер, пожирая остатки столь драгоценного снега.

— Я хотел перенести собрание, так как перенесли открытие. Но потом подумал... Судя по всему, состоится лишь индивидуальная гонка. И потому правильнее объявить состав сегодня.

Когда Скачков услышал свою фамилию, ни один мускул не дрогнул на его лице. Или, во всяком случае, так ему показалось.

Остальное, что говорил Галицкий, он уже не слушал. В нем все ликовало. Даже то, что старший тренер не поставил Стаса — а так хотелось, чтобы они прошли вместе, два дебютанта, — не могло омрачить его радости.

«Наконец-то! Свершилось! Теперь все зависит от меня! Ничто не помешает доказать, что в основном составе я не случайно. Сегодня в стране нет гонщика сильнее меня...»

Утром стало известно, что соревнования отменяются совсем. Пять градусов выше нуля, дождь и теплый ветер разрушили трассу, особенно в районе стрельбища, и никакие усилия организаторов, старавшихся хоть как-то спасти ее, не помогли.

Это был тяжелый удар. По крайней мере для одного человека. Так, как переживал Скачков, вряд ли кто переживал. Терехов сказал, что славно отдохнули в хорошем отеле. Этаким непродолжительный отпуск. Только Стас понимал, что значит быть поставленным в команду и не выступить. В другой раз может выпасть совсем другой расклад. И тот же Галицкий, признавший Скачкова сильнейшим сегодня, не повторит своего решения завтра. Стас пытался высказать сочувствие. Прежде всего делом, помогая собираться.

Большим цыганским табором покидали Оберхоф команды. Все автобусы подали разом. Уже сидя в салоне, Валерий увидел опушку леса, на которой несколько елей лежали с высоко задранными корневыми узлами. Одна ель переломилась по центру ствола, вершину отбросило в сторону, а слом белел свежей пугающей раной.

«Похоже, что мне будет крупно не везти и дальше... Вот как этой елке! Сломаться возможностей больше, чем доказать свою силу...»

20.

Скачков смотрел на Галицкого, который юлил, пытаясь говорить о чем угодно, только не о деле. Собственно, все дело для Скачкова сводилось к тому, когда его выпишут. Александр Петрович намекнул, что предстоит разговор с Руденко, и увел беседу в сторону.

«Надо же... Мой любимый старший тренер становится таким двуличным, что обе его натуры, доведись, могут вполне разговаривать друг с другом».

Галицкий забежал, как он сказал, в неурочный час, но Скачкову показалось, что он провел достаточно времени в стенах больницы: от него совсем не пахло снежной улицей.

«Никогда не верил будто людям, — думал Скачков, глядя сквозь Галицкого, — интересны наши спортивные мелочи. Хоть что-то из того миллиона факторов, которые складывают понятие «спорт». Скажем, как затухает мышечная боль. Люди предпочитают воспринимать спорт в целом, как бы со стороны. Да и нами, звездами, не говоря уже о менее известных, они интересуются лишь в минуты триумфа, когда поднимаемся на пьедестал почета».

Взять того же Артамонова. Для него спорта как такового нет. Есть лишь знаменитые приятели, знакомство с которыми и составляет его отношение к спорту.

Мы и сами не всегда однозначны в своих суждениях о себе, о своем виде спорта. Далеко не сразу Валерий осознал, как сладостно мгновение, когда над головой разворачивается флаг твоей Родины и ты особенно остро ощущаешь, что она и ты — одно целое. Не думал над этим, начиная заниматься лыжами. Когда его спрашивали о лыжах, он говорил: «Надевайте лыжи сами — это единственный способ познать их!»

— Совсем не слушаешь! — Галицкий тряхнул Скачкова за плечо. — Брось кукситься! Вчера прикидывали для тебя ускоренный — не скрою, очень тяжелый — график восстановления формы.

«График! Твой график напоминает список срочных дел, который я составил в прошлом году, — этим списком можно спокойно воспользоваться и сегодня, он будто только что составлен! Ты лжешь, тренер мне не нужен никакой график тренировок! Ничто так не живуче, как ложь, вызванная страхом перед необходимостью что-то исправлять...»

Галицкий говорил горячо, но Валерий вновь ушел в себя.

«Сколько раз твердил: «Я могу это сделать! И я это сделаю!» Я люблю лыжи, кое-что знаю о них, чего не знает никто. Люблю быть на природе, оставаться один на один с самим собой, люблю ощущать слаженность собственных движений. Лыжи — это форма моего существования. Это моя жизнь... Я провожу полгода на лесной тропе в одиночку, не думая ни о чем, кроме тренировок. На лыжне каждая клеточка моего тела должна работать над совершенствованием и техники, и стиля. Такой концентрации воли и чувства не научит никто и ничто.

Можно быть отменным гонщиком и таким же стрелком, много тренироваться, любить соревнования и — проигрывать. Между тренировкой и гонкой — бездонная пропасть. В гонке всегда что-то сокрыто. В гонке ты должен каждый раз пойти дальше. Но где предел этому «дальше»? Самое главное — знать свои слабости и уметь преодолевать их. Болезнь — это ведь тоже слабость? Значит...»

— Увидимся вечером — дошли до него слова Галицкого.

— Вечером увидимся, — сказал Валерий и не двинулся, даже не посмотрел вслед старшему тренеру. «А зачем он, собственно, приходил?»

21.

О том, что нарушил святая святых больничного устава, Валерий понял, как только вошел в приемную Руденко. Не один час продумывал Валерий все, что скажет профессору: и что он не девица красная и видел в своей жизни всякое, что обязан пройти эту американскую гонку, даже если она будет последней в его жизни, что готов к самому худшему.

— Профессор не принимает больных в неурочное время, — решительно ответила секретарша, когда Валерий спросил, может ли он видеть Руденко.

— Но профессор здесь? — переспросил Скачков.

— Он всегда здесь. Даже когда его нет! — поджав губы, ответила «мегера», как он назвал про себя тощую старую деву.

— Скажите профессору, что пришел Скачков. Георгий Филиппович знает. Я обязан с ним поговорить. Пять минут.

— Молодой человек, разве я вам объяснила недостаточно?!

— Недостаточно! — перебил Скачков.

— Немедленно возвращайтесь в палату, если не хотите, чтобы у вас были неприятности...

— Их у меня уже достаточно...

Неизвестно, чем бы завершилась эта разгоравшаяся перепалка, не появившись в дверях кабинета сухая фигура Руденко.

— Что случилось? — спросил он, переводя взгляд с красного лица своей секретарши на бледное и потому еще более злое лицо Скачкова.

— Все то же самое... — Секретарша говорила с Руденко тоном, каким говорила со Скачковым. — Им всем нужен профессор.

— Этому молодому человеку я действительно нужен, — внезапно сказал Руденко и указал в сторону кабинета.

Скачков прошел мимо «мегеры» с видом римского триумфатора. И только в тихом кабинете профессора подумал: «Боже, до чего докатился! Прорвался через секретаршу к ее шефу, а гонору столько, будто выиграл чемпионат мира».

Когда они сели друг против друга за маленький стол, поставленный торцом к большому письменному с телефонами, Скачков понял, что Руденко давно готов к этому разговору.

— У меня был ваш тренер... — начал Руденко, давая Скачкову возможность освоиться. Академик говорил мягко, медленно, с тем особым чувством полной уверенности в себе, которое дают человеку жизненный опыт и служебное положение.

— Мы обсудили с ним главное... Но вот с вами...

— Георгий Филиппович, — перебил его Валерий. — Что у меня? Уже осточертела эта святая ложь: кругом все что-то знают, но делают вид, будто ничего не произошло. Что со мной? — повторил он, отрубая напрочь возможность скрыться от ответа.

Георгий Филиппович снял очки, протер их и водворил на место.

— Я не бог. И даже не гений. Обычный мешок с медицинским опытом. Мне кажется, понимаю вас достаточно хорошо. Настоящий характер, как хороший суп, готовят дома. Мне вас воспитывать ни к чему. Потому будем откровенны. У вас лейкомия.

— Рак крови?

— Да.

— И требовалось так много времени, чтобы установить это?

— Это установили еще в вашем диспансере. Правильно установили. Время нужно было и еще потребует, чтобы определить, как поступать дальше.

— Безнадежно?

— В каком смысле?

— Неизлечимо?

Руденко помолчал, пошамкал губами: похоже, сердился на самого себя.

— Есть два подхода к возникающим сложностям: можно решать проблему, а можно решать, как лучше жить с этой проблемой.

— Насколько понимаю, в моем случае уже есть один вывод: болезнь и большой спорт несовместимы.

Руденко понизил голос почти до шепота. — Я говорю по своим седым и редким волосам.

— Я говорю о жизни, а не о спорте.

Скачков понял его и едва не задохнулся от хлестака, которым повеяло от высказанной, хотя и не прямо, правды. Задавать дальнейшие вопросы глупо. Да и по лицу Георгия Филипповича было видно, что

он не намерен продолжать разговор в том же духе и сожалеет о сказанном.

Руденко включил селектор:

— Галля, принесите нам, пожалуйста, чаю. И меня нет ни для кого.

Скачков долго, задумчиво помешивал ложечкой в стакане, гоняя не желавший растворяться кусок сахара.

Они молчали. Руденко по-стариковски прихлебывал чай, а потом вдруг спросил:

— Вы не будете возражать, если я из блюдечка? Очень люблю из блюдечка.

Скачков кивнул: какое имеет значение — из блюдечка или из стакана, когда у него такая беда...

Руденко весь ушел в чаепитие — для него не существовало, кажется, более важного дела. Резким движением наконец он отставил пустое блюдце, и по этому жесту Скачков понял, что весь чаевой антураж — лишь передышка перед большим и серьезным разговором.

— Смейся — и весь мир будет смеяться с тобой! Заглазь — и ты будешь плакать один! Старая и, увы, жестокая истина, — начал Руденко.

Валерий от волнения даже не заметил, что Руденко перешел с ним на «ты».

— Сколько мне осталось жить?

— Так вопрос не стоит. Мой приятель, первый заместитель министра, двенадцать лет ходит с твоей болезнью по земле и работает как вол.

— Я могу заниматься спортом?

— Не знаю. Думаю, на прежнем уровне — нет.

— Хотите сказать, что о поездке в Америку и ближайших Играх должен забыть?

— Похоже, так...

— Что нужно делать?

— Пока я не готов к исчерпывающему ответу. И тренеру сказал, что потребуется время для дальнейшего серьезного обследования. Он настоятельно убеждал тебе ничего не говорить. Давай сделаем вид, что я ничего и не говорил. Сможешь?

«Я делаю вид, что мне ничего не говорили... Они делают вид, что у меня ничего нет. Лишь Катя прямо и честно сказала, что ей все это не под силу... Может быть, только она и права?!»

— Я не могу больше находиться в этих стенах, — вяло сказал Скачков.

— Привыкай! — коротко и жестко произнес Руденко. Но жесткость его была мимолетной. Шоколадные глаза Георгия Филипповича потеплели, и он ласково добавил: — Современная наука все еще пытается сделать успокаивающие средства более эффективными, чем несколько добрых слов. Смешно! Никакие лекарства не помогут, если больной сам не настроится на борьбу. Только тогда он победит.

«Красиво звучит! — с иронией подумал Скачков. — Но нужно придумать, чем заменю я в своей жизни спорт: этот скрип снега, этот сухой треск выстрелов... Что сказать Галицкому, когда придет вечером? Что сказать Кате, если она придет? Что сказать Неле, которая, похоже, все узнала раньше меня?»

— Можно еще один вопрос, профессор?

— Естественно, спрашивай...

— С вами разговаривала обо мне женщина?

— Эта энергичная приезжая красавица? Могучий бульдозер в божественном облике? — Георгий Филиппович засмеялся. — Кто она тебе?

— А что она сказала?

— «Никто». Но так ответила, что и слепой поймет: ложь. Ты любишь эту женщину?

— Не знаю. О любви ли теперь думать...

— В твои годы — самое время думать о любви.

— Но болезнь...

— К ней надо относиться серьезно, и не более. — Голос Руденко опять стал тверже. — Надо жить и тем бороться с болезнью. Если сможешь — побеждай на лыжне, если хочешь — люби женщину... Кстати, если будешь продолжать геркулесовские комплексы по утрам, — прекрасно!

Руденко посмотрел на часы, поморщился — своим приходом Скачков сломал строгий график работы. Валерий встал. Поднялся и Руденко.

— Самые занятые люди не настолько заняты, чтобы не найти время рассказать, как они очень заняты. И тем не менее приходи ко мне, когда захочется. С любым вопросом. Наша ближайшая задача — найти генеральную линию борьбы...

Провожая Валерию до двери, он легонько похлопывал своей старческой рукой по скачковской спине. И, шагая к палате, Валерий еще долго чувствовал эти ободряющие и ласковые хлопки.

22.

О нем писали охотно, много и красочно.

Он посмеивался, глядя на потуги журналистов открыть тайну стабильности его выступлений. На людях выказывал к таким писаниям иронию, иногда, даже помимо своей воли, обижая знакомых спортивных журналистов. Но в душе ревностно следил за каждым словом, написанным о нем, аккуратно подбирал вырезки — и тексты, и фотографии, — складывая в папочки по годам. Толщина годовых папочек служила ему своего рода показателем спортивной формы, хотя на самом деле — скорее интереса мировой общественности к личности лидера советских биатлонистов Валерия Скачкова.

Папки стали распухать с того самого лета, когда он впервые провел свой летний отпуск не в армейском санатории на переполненном берегу Черного моря, а в горной Осетии.

Как-то в компании он познакомился с бывшим борцом, одним из знаменитых осетинских чемпионов. И Виктор, так его звали, настоятельно зазывал к себе на родину, в горы, в ущелье с певучим романтическим названием — Дигоры. Скачков забыл и об этой встрече, и о пригласении, но однажды, проездом домой, Виктор нагрянул на скачковскую квартиру. Вечер провели за разговорами, и все кончилось тем, что на следующий день Валерий был вместе с Виктором в аэропорту, сам удивленный — куда и зачем летит?

После четырех дней затяжных осетинских застолий, где «дорогой гость» удивлял добрых, открытых душой, словно дети, сотрапезников категорическим неприятием спиртного, наконец отправились в горы.

Стояла сочная пора, когда на равнине вовсю пахнет летом, а на высоких вершинах, тая с каждым днем, еще сверкают отвалы белого снега.

Уже густыми сумерками добрались они тогда до места, которое обозначилось внезапно, как все в горах, ярким огнем костра и светлым дымом, ползущим вверх по бесконечной, уходящей в небо скале.

Целью их долгого перехода оказался небольшой — четверым не развернуться — домик, прижавшийся к подножию серогранитной скалы. К домику примыкал длинный сарай для скота, крытый сеном, с плетеными из лозы стенами. Пахло навозом. В звонкий гул близкой речки, бившейся у небольшой площадки для скота, вплетались жалостливые вздохи коров, хорханье ишака, невидимого в темноте.

В домике жили два парня, заросшие, степенные; за многозначительной неторопливостью каждого, однако, угадывались далекие до солидности годы.

Когда утром, несколько проспав после трудной дороги, он встал и первым вышел из душежного домика на свежий воздух, сразу же захлебнулся и самим воздухом, и картиной вздыбившихся над ним каменных вершин.

Он заметил неброскую тропинку и, как был в одних трусах, несмотря на свежесть стекавших с гор воздушных потоков, побежал, как всегда, начиная утро с кросса.

Тропа вилась вдоль склона, то прыгала вверх, то круто обрывалась вниз. И он впервые после трудных, почти забытых зимних тренировок ощутил такую знакомую усталость работающего с полной нагрузкой тела.

За большим камнем, на скалистом пятачке, среди дурманяще пахнувших трав, под светом первых солнечных лучей принялся делать зарядку.

Он так увлекся, что не заметил, как подошли Леонид и Толик, два осетина, живших в этом заброшенном горном домике.

— Доброе утро! — чтобы скрыть свое смущение, крикнул он обоим, стоящим на камне у него над самой головой.

Оба дружно закивали бараньими шапками.

— Доброе... Доброе...

Леонид вдруг выпалил, с нескрываемым восторгом оглядывая словно выточенное из мрамора, сверкающее от пота тело Валерия:

— Ты — бог!

В тот первый приезд он еще нащупывал возможности своего нового, тайного оружия, которое пришло в руки так случайно. Галицкий все больше «прижимал» нагрузками. Участились медицинские осмотры. Увеличились и без того долгие часы функциональных и общефизических занятий. Но уставшим за долгий сезон нужен был отдых. Главная, нужен отдых нервам, которые в биатлоне, может быть, как ни в каком ином виде спорта, испытывают такие различные, порой диаметрально противоположные нагрузки: взрывную возбудимость лыжной гонки надо мгновенно и не раз перевести в холодную расчетливость стрелка перед мишенью.

Проблема круглогодичной тренировки повисла в воздухе. Особенно в годы, когда так явственно повеяло ветром новых Белых игр. Этот отпуск! Как трудно после него втягиваться в работу, методичную, полную подводных камней и течений. Благенный, столь желанный и в то же время расслаблявший надолго, выбивавший из привычного тренировочного ритма отдыха в санатории на берегу теплого моря, становился — по крайней мере для него — серьезной проблемой.

Галицкий сначала отмахивался от его сомнений.

— Все должны отдыхать! — говорил он. — Возвращаться к работе с новыми силами. И тебе это необходимо.

Галицкий Галицкий. У него свое чутье. А у Валерия, как у всякого серьезного спортсмена, есть и своя голова.

Жизнь в горах...

После зарядки и простого завтрака — вареное мясо дикой козы, чай из молодых побегов малины, такой розовый, такой пахучий — сидели на разогретых камнях, слушали шум реки и говорили, говорили... Не болтливый от природы, скорее сдержанный той особой сдержанностью, которую рождает в лыжнике долгая привычка трудиться в одиночестве, Валерий с удивлением ловил себя на том, что рассказывает этим парням много и охотно. Сдержан-

но поахивая, они рассматривали его карабин, щуряли глаза, не зная, как обращаться с неведомой им штукой, да еще с таким мудреным названием: диоптрический прицел. Карабин нравился — как, впрочем, и самому Валерию — легкостью форм, изяществом сложного, пригнутого инструмента, с помощью которого хозяин может совершать необычную, удивительную работу. С некоторым чувством недоверия глядели на маленькие медные пульки, торчавшие из аккуратных гильз.

Увидев, как упрямо преодолевая себя, шустро бежит по горам Скачков, Леонид как-то спросил его, сидя у костра:

— Скажи, Димитрич, а ты не горец?

Валерий рассмеялся.

— Нет, Леня. Я с Севера, с равнины... У нас самая большая гора — коровья шлепа.

— Где же так бегать по горам научился? Ты совсем не устаешь!

— Не учился. А устаю здорово. Но и усталости спорт учит. Усталость не смерть. Ее пережить можно...

— Правильно говоришь, Димитрич. Но все-таки где так к горам привык?

— Да я первый раз в настоящих горах...

Постепенно выработался и распорядок этих горных отпусков. Утром легкий кросс, зарядка с камнями — и приседания, и метания, совсем как у древних викингов, — и, наконец, завтрак. Хлопоты по хозяйству: принести от реки ведра свежей воды, вкусной и ледяной, так что зубы сводило от холода и удовольствия одновременно; разжечь костер, разогреть в котле похлебку, мясо и вскипятить чай...

А потом Валерий уходил в горы. Смешно — уходить в горы из гор! Но тем и притягательны, тем и неповторимы горы, что им, как морскому простору, нет предела.

Закинув карабин на спину — за годы тренировок оружие, кажется, приняло особую форму, чтобы во время бега сидеть на спине полочнее, — словно шел по дистанции где-нибудь под Москвой. Но трасса в горах — особенная. Он не просто ходил по горам. Он работал в горах.

В часы затяжных подъемов к скалистым гребням наливались силой ноги. Уже к концу первой недели они привыкали и к возрастающим нагрузкам, и к специфике горной ходьбы. Развивались такие мышцы, которые при беге на лыжах по равнине развить невозможно. Открывался резерв, хотя и небольшой, но вполне достаточный, чтобы на равнине прийти на финиш чуть-чуть раньше. Победа в современном биатлоне складывается из этих «чуть-чуть»...

Сколько бы ни ходил, никогда его дневной поход не был в тягость эмоционально. Ему казалось, что именно за ближайшим гребнем, на том южном склоне, который он знал до каждого кустика травы, до каждого камня, происходит что-то необыкновенное, неповторимое. И поэтому завтра он с особой охотой начинал очередную подъем: двести метров по крутой тропе, потом по травянистому, глубоким амфитеатром склону, бросавшему его сразу метров на восемьсот вверх, к первым скалам. Он шел по-горски — зигзагом, держа в левой руке березовый посох, подогнанный под руку с не меньшей тщательностью, чем лыжная палка. С первых дней дал себе задание: как бы ни шел по склону, палка должна быть в левой руке; тем самым «накачивал» слабую руку, стараясь добиться желаемого каждым лыжником эффекта, чтобы толчок обеими руками был одинаково силен и точен.

Чем выше поднимался Валерий в горы и чем ближе надвигались каменные исполины — остроконечные

пики и толстолобые стены, обрывавшиеся к каменным осыпям,— тем ближе было к минувшему времени года: то там, то здесь в ложбинках светились затаившиеся от солнца белые языки прошлогоднего снега.

Он иногда подходил к ним. С волнением срезал наст палкой и холодил снегом руки, лицо... Потом приучил себя растирать колючим снегом и грудь, и плечи, и бедра, отчего тело загорало под горным солнцем буквально на глазах.

Когда в домике кончалось мясо и Леонид грозился пойти «завалить» пару коз, Валерий отговаривал, обещая принести добычу. Собственно, в своих походах он охотился всегда. Но в большинстве случаев — без выстрела. Хотя карабин непременно висел за спиной, Валерий не стрелял без нужды. Зверя было много. И когда вдруг видел на склоне, за гребнем, в ста метрах стадо коз, или полдюжины туров, или трогательную медвежью семейку — отошедшую за зиму маману с валенком-медвежонком,— прерывал свой путь, ложился в траву или садился на камни, рассматривая зверей в бинокль. Они были рядом, подать рукой... Ему открывалось таинство совершенно незнакомой жизни обитателей гор.

Если уж приходилось стрелять — а он помнил северный закон: бить зверя только в случае нужды,— то старался выбрать трофейный экземпляр с хорошими рогами. Но козлы, словно зная цену тому, что носят на головах, держались особенно осторожно. И это возбуждало Валерия, распаляло в нем почти соревновательный азарт.

Леонид, встречая Скачкова без добычи, ворчал: — На охоту так поздно не ходят. Надо затею. Сесть на тропе и ждать. Сам зверь придет. А ты все бегаешь за ним, Димитрич!

— Это не охота — сидеть и ждать. Подло караулить. И в спину...

— А это не подло с его стороны — нас на хлебе с картошкой три дня держать?! — совершенно серьезно ворчал Леонид. И грозился уйти на охоту сам.

Наконец козел попался. До огорчения легко и просто. Валерий застал его мирно пасущимся в ложине и, кажется, забывшим о всякой опасности. А может, опыт его козливой жизни подсказывал, что здесь, в глухоманном закутке, куда невозможно приблизиться незамеченным по открытому склону, он всегда успеет уйти... А стрелять так высоко, с кручи... Вряд ли зверь знал что-либо о баллистике пулевой стрельбы, но точно не знал, что его враг сегодня — лучший стреляющий лыжник мира.

Все остальное — дело техники. Грудь козла с седым воротничком под шеей на черной-пречерной шкуре лишь на мгновение привычно резко обозначилась в круглом глазке диоптра. Плавнo нажимая спусковой крючок, Валерий ощутил все действие оружия — от движения холодной скобы до молниеносного разворота боевой пружины, от стремительного броска бойка до вылета пули...

Он не стал раздвигать добычу, а, взвалив на плечи, задыхаясь от тяжести, постоянно останавливаясь передохнуть, потащил Леониду, чтобы тот снова завтра не начал свою песню о необходимости заступить на тропе...

Но главным трофеем, который Скачков привозил с гор, кроме отличного загара, бодрого самочувствия, ощущения полнейшего душевного и физического отдыха, была его феноменальная способность с ходу, опережая других, как он их называл, «курортников», включаться в интенсивные нагрузки.

Галицкий радовался. Пытался докопаться, чем вызвано такое обновление скачковского организма. Может быть, в пику Александру Петровичу Валерий и сделал из горных отпусков личную тайну Галицкий, донельзя довольный своей проницательностью, наконец объяснил все феноменальным свойством регенеративности организма и незаурядным спортивным талантом. С чем Скачков молчаливо согласился. А ребята приклеили кличку «двуужильный», что было менее торжественно, зато полезнее, поскольку Скачков твердо верил, что «шорох» на своих соперников надо наводить еще до того, как схлестнешься на лыжне.

23.

Трижды проходил мимо телефона-автомата и трижды равнодушно скользил взглядом по хромированному ящику, утопленному в прозрачную пластмассовую полусферу. Даже когда наконец остановился перед телефоном, не был уверен, кому звонить. Однако оторванность от привычного мира сама заставляла искать, восстанавливать былые связи.

Монеты в кармане не оказалось. Валерий пошел в папату, но на полпути встретил Петю-кандидата.

— Двухкопеечной не найдется?

Петя протянул ему ладонь, полную двухшек.

— Этого на полжизни хватит. — Валерий взял лишь одну.

— Бери, бери! Моя жена считает, что только нехватка монет мешает мне разговаривать с ней круглые сутки.

Петя щедро сыпанул в руку Скачкова желтые кружки. И Валерий вернулся к автомату. Теперь он точно знал, кому хотел позвонить, — Кате.

Тщательно набрал номер и долго стоял, затаив дыхание и приготовив первые слова. Но трубка моментонно отвечала гудками вызова.

«Отсутствие ответа — тоже ответ».

Он повесил трубку и заходил кругами, время от времени возвращаясь к аппарату. Ему нужна была Катя. Зачем? Вряд ли он мог бы ответить, зачем, но что она была нужна, знал точно. И чем дольше рвался к ней сквозь телефонное молчание, тем яростнее желал слышать ее голос. Но телефон упрямо молчал.

В «будку» нырнул Петя. В течение пяти минут он набрал с десятков номеров, со всеми громко и весело переговорил и вернулся к Валерию в приподнятом настроении.

— А ты что же не звонишь?

— Не отвечают...

— Звони другим...

— Тебе хорошо — у тебя не голова, а телефонный справочник. А мне кому звонить? Мои друзья сейчас по лесу бегают.

— Тянет туда? — Петя кивнул головой на окно.

— Еще как.

— А меня вот нет. Честно говоря, я лег не потому, что плохо. У меня уже лет пять такое давление. То прихватит, то отпустит. Тут с начальником отношения сложились не лучшие. Думаю, черт с тобой, пойду-ка отлежусь — нервишки успокою.

— Успокоить нервишки здесь, в больнице? Мне кажется, тут с ума сойти от безделья можно.

Петя засмеялся.

— Больница не эстрадный театр, не обхохочешься! Зато от дрязг мирских укрыться помогает.

Валерий возвращался в палату с такой горечью на душе, что, спроси, какой был самый неудачный день в его жизни, несомненно бы ответил — сегодняшний!

24.

Ужинать он не пошел. Выгреб из пакета горсть изюма и сунул в рот. Больничную кашу нет больше сил даже нюхать...

Валерий лежал в палате один. И знал, что не скоро вернутся ее обитатели. После ужина все разбрелись кто куда: обменяться с соседями информацией о болезнях, других послушать, в шахматки сыграть.

Впереди была очередная бесконечная ночь. И казалось, что надо сейчас как можно быстрее передумать обо всем, если он хочет уснуть. Но это так же несбыточно, как и американское турне.

За своими бедами, в сложном треугольнике личных отношений он почти совсем забыл, что сборная вот-вот отправится за океан. А он по-прежнему в больнице и уже смирился, что команда улетит без него.

«Как это говорил мудрый хант, промышлявший на участке рядом со Скачковой? «У старой росомы — старый глаз». Вот и я за эти дни, кажется, состарился на полвека». Раньше одно упоминание о дороге вызывало волнение. Проехав в детстве долгую дорогу до интерната, он впервые почувствовал, что единственный способ сделаться счастливым — интересоваться всем! Потом, когда стал ездить по миру, понял, что он велик, как мечта, которую невозможно осуществить. А какие дороги теперь ждут его?

Валерий упорно не допускал в сознание даже мысли о болезни. Ему казалось, что если он не думает о ней, то ее и нет вовсе.

Самое грустное, что тянет подводить итоги. Пусть предварительные, но итоги. Вот уж никогда не страдал тягой к ведению бухгалтерии. Больше думал о том, что будет, что надо сделать. А теперь... Причиной тому больница, с ее ожидальнейкой...

Скажем, столько лет прожил, столько женщин любил, но о самой любви как-то и не задумывался. Что такое любовь? Это как большое-большое дерево. Оно растет медленно и исподволь. И тот, кто хочет постичь, как рождается любовь, должен очень внимательно следить за корнями дерева. Видел ли кто-нибудь, чтобы дерево встало разом, из ничего? Так и любовь. К тому же для любви непременно нужна еще и честность. Когда не можешь открыто смотреть в любимые глаза, в такие мгновения и умирает любовь. Уничтожил ли он все, что было у них с Нелей? Да и сделать это он мог только в себе. Как не родить любовь одному, так и не убить ее одному в обоих...

Валерий лежал в темноте, прислушиваясь к звукам, долетающим из коридора. Он хотел, чтобы кто-то вошел, зажег полный свет, заговорил... Ладони его, медленно двигавшиеся по простыне, ощущали фактуру грубой ткани, будто была это не простыня, а наждачное полотно крупного зерна.

«Не так ли и беды наши растут в воображении? Чем больше думаем о них, чем дольше ощущаем и так и сяк... Взять Романа, — внезапно мелькнуло в сознании. — Роман... Роман...»

Валерий осторожно выбрался из-под одеяла и, натянув кроссовки, вышел в коридор. Из тишины палаты он попал в многоголосый гул коридора. Ходили люди... Из-за стеклянных дверей соседней ком-

наты неслись возбужденные голоса — слушали репортаж о хоккейном матче.

У столика дежурной донжуан в больничной палате крутил шуры-муры с молодой сестричкой. Это и помогло Скачкову незаметно прошмыгнуть в реанимационную палату. Тихо прикрыв за собой дверь, он замер, стараясь привыкнуть к полутьме: после огней коридора показалось ему, что в палате мало света. Уже через мгновение он различил огромную кровать с высокими спинками, увешанными аппаратурой. Возле постели стояли какие-то ящики, тянулись проводочки и шланги.

Роман лежал головой к двери. Валерий тихо прошел в центр комнаты и повернулся лицом к кровати. Первое, что увидел, — большие черные глаза Романа, смотревшие спокойно, без удивления. Узнав Скачкова, Роман улыбнулся уголками губ. Но глаза остались такими же спокойными, словно у человека не было сил улыбнуться еще и глазами.

— Проведать заглянул... — виновато сказал Валерий.

— Спасибо, — едва слышно ответил Роман.

— Ты не говори ничего. Я просто немножко и уйду. А ты отдыхай, набирайся сил...

Валерий стоял, стараясь не смотреть на простыню, которой был укрыт больной: из-под нее торпачились пипетки, трубки... И все они уходили в живое тело...

Глаза Романа внимательно следили за ним, почти не двигаясь от переполнявшей их боли. Валерию показалось, что они сверкнули, как прежде, мягким черным блеском, но потом понял, что это слеза. Сделал шаг к кровати и осторожно погладил кончиками пальцев желтую ладонь Романа. Тот благодарно двинул ею, как бы желая пожать руку Валерию, очень слабо стиснул двумя пальцами и в изнеможении откинул на простыню.

— Поправляйся. — Валерий ласково кивнул Роману. — Ждем всей палатой. Соскучились по тебе... А я особенно. — Ему очень хотелось сказать Роману что-то ласковое, доброе, но боялся выдать себя — положение, в котором он увидел Романа, потрясло. Валерий еще раз дружески кивнул и тихо вышел.

Он забился в самый конец коридора и, привалившись к холодной стене, долго стоял, не желая возвращаться в палату, — боялся, что вновь окажется в ней один.

«Жизнь — это большая суета, избавиться от которой можно только одним способом: умереть! Но это прекрасная суета. И как обидно, что мы понимаем это иногда слишком поздно. Чаще жалуемся на спешку. А ведь она далеко не всегда результат полноты жизни или нехватки времени. Ощущение спешки чаще порождается страхом, что мы зря тратим свою жизнь... Однако похоже, что прежде в жизни больше поклонялись красоте и правде, нежели как теперь — голому километражу. Вперед! Вперед и быстрее!»

Валерий взглянул на часы — время отбоя давно прошло. Пора было возвращаться в палату.

25.

Появившийся Галицкий выглядел сосредоточенным почти до торжественности. Он внес свое большое тело, будто подарок ко дню рождения. Давно Валерий не видел Александра Петровича столь величавым. В последние дни, проведенные Скачковым в палате, Галицкий казался более суетливым, чем обычно. В нервозности Алек-

сандра Петровича Скачков усматривал долю какой-то вины.

Хотя в чем мог быть виноват старший тренер? Наоборот, может быть, Валерию придется благодарить его за то, что вовремя положил в больницу.

Артистическим жестом Галицкий достал из кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги. Еще до того, как он полностью развернул его, расправляя на кровати, Скачков понял, что это график тренировок. Галицкий тщательно разрабатывал его для каждого, кто входил в команду.

— Мы улетаем,— небрежно бросил Александр Петрович, словно речь шла не о предолимпийском турне сборной, а о поездке в Малаховку на сборы.— Тебе же предстоит серьезная работа...

— Когда улетаешь?— спросил Валерий, перебивая старшего тренера.

— Завтра утром...— понижая голос почти до шепота, сказал Галицкий, но сразу же взял себя в руки, заговорил дальше: — Это твой индивидуальный, очень жесткий график подготовки к Белой Олимпиаде. После выхода отсюда — мне кажется, ты достаточно здесь понежился,— за работу! Если вытнешь, все будет в норме. Пойдешь на Играх первым номером.

Галицкий говорил громко. Палата затихла, прислушиваясь к словам именитого посетителя.

«Вряд ли он вещает для публики... Тогда — для кого? Не для меня же?! Скорее все придумано только для одного человека — для старшего тренера сборной Галицкого. Неужели его так грызет совесть, что он не может обойтись без этого фарса?! Какой личный график тренировок? Какие нагрузки? Известно, выйду ли я вообще из этой проклятой больницы живым!»

Но почему-то Скачков не решался оборвать монолог Александра Петровича. Не мог себе объяснить, почему не перебил, не послал к черту...

«Как называлась та книга Писемского? Постой, постой... Ну, конечно, «Русские лгуны». Лгуны... Так ведь ты, Саша, из них».

Голос Галицкого, требовательно излагавшего планы на будущий сезон, забивали мысли о книге Писемского. Но все-таки в памяти всплыла фраза: «Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны». И еще в очерках Писемского поразило, что он совершенно не интересовался корыстной ложью... Галицкий лжет, собственно, тоже бескорыстно. Что ему теперь от меня проку? Мы сошлись на лыжне и разошлись, коль лыжня уже не держит одного из нас.

Валерий вдруг стал внимательно прислушиваться к словам Галицкого. Чем дольше слушал, тем больше понимал: все, о чем говорил Галицкий,— это сладкая и так нужная ему, Скачкову, ложь. И нет сил отказаться от нее.

Валерий согласно покачивал головой в такт словам Александра Петровича, но уже совсем не машинально. Он начинал жадно ловить не только сказанное, но и пытался постичь, что за словами стоит. Вслушивался в интонации Галицкого и, к удивлению своему, находил в голосе его много искренности.

— Да-да, конечно, Саша! Обещаю не только выполнить наставления, но и еще нагрузочек подкину. Ты знаешь, я себя никогда не берег...

— Убежден, что этого хватит.— Галицкий положил ладонь на развернутый лист бумаги.— Ты должен после выхода отсюда,— Галицкий не захотел

произнести слова «больница»,— сразу же включиться в работу.

— Хорошо, хорошо, Саша.— Валерий охотно соглашался с Александром Петровичем: он боялся, как бы дальнейший разговор не взорвал изнутри эту принятую обеими сторонами игру, боялся, что мираж искренности, серьезности растает. Он приближал Галицкого. И они с минуту посидели так, замерев.

Вышли в коридор. Скачкову хотелось протянуть эти недолгие минуты перед прощанием. Кто знает, на сколько они расстанутся... Александр Петрович чувствовал, что ему тоже будет нелегко сказать первым «Прощай!».

Не доходя до холла, Валерий резко обернулся, так что Галицкий уткнулся в него.

— Вот видишь, Саша, и обниматься не надо — само получилось. Спасибо тебе. И прощай. Ребятам передай: «Успехи!» А тебе обещаю стоять на лыжне до последнего. До последнего..

26.

Валерий ошибся во времени. Может быть, в первый раз ошибся так грубо. Подняться за два часа до рассвета в день самой ответственной гонки — несусветная глупость.

Сборная жила в частном пансионате, который поддерживал известный в прошлом горнолыжник. С немецкого название отеля переводилось как «Липовый двор». Стоял пансионат на самом краю небольшого зимнего курорта. Если бы не чемпионат мира, мало кто знал бы об этом утонувшем в горных снегах чистеньком сказочном городке.

Сегодня этот совершенно чужой городок может стать поворотным в скачковой судьбе. На тренерском совете задача поставлена однозначная и определенная — Скачков бежит за золотом! Хорошо ставить задачи — а каково их выполнять?

«Не выспался толком. И до старта дольше маяться... Пойти хоть снег понюхать?»

Он быстро и тихо оделся. Комнатки были маленькие — кровать да тумбочка — с тонкими, словно из бумаги, стенами: половину пансионата одним стуком разбудить можно.

Когда вышел на улицу, предрассветные звезды пожули на восточном склоне небосвода, но еще отчетливыми точками светились на западе. Снег поскрипывал под рифлеными подошвами, и казалось, что скрип этот разносится над всей планетой.

Отойдя от отеля метров сто, он с наслаждением забрался в мягкие, не тронутые уборщиками снега. И сразу же провалился почти по пояс. Запустил пятерню в белый пуховичок — свежий снег ласково холодил. Набрав горсть, Валерий помял его пальцами, прислушиваясь к тому, как быстро он перестает скрипеть, подтаивает, сбивается в плотный мокрый ком.

Ханты по скрипу снега под нартovým полозом безошибочно предсказывают погоду едва ли не на неделю. И если мудрый старый хант вдруг повернет упряжку назад, к дому, из которого только что выехал, и скажет: «Однако, ехать плохо...» — не стоит спорить. Он прав: к полудню жди метельного конца света. От хантов Скачков, наверно, и перенял это уважение к разговору со снегом. Спортивная жизнь только обострила ощущения и сделала прогноз столь значимым: ошибка в мази — и без того тяжкий бег покажется несправедливой и бесконечной каторгой. Сразу станут ненужными все премудрости биатлонной техники. Длина скольжения на одной лыже у биатлониста с оружием укорачивается на двадцать пять — сорок сантиметров. А два



года совместных с Галицким поисков оптимального угла наклона — вместо пятидесяти градусов сорок семь, — и вовсе станут пустой химерой: тело гнет к земле так, будто за спиной не винтовка, а противотанковое орудие. На огневом рубеже, где частота биения сердца должна быть сто двадцать пять ударов в минуту, оно, милое, и на ста пятидесяти не удержится — готово выпрыгнуть из груди: где уж тут хорошо стрелять?!

Конечно, Галицкий и сам «понюхает» снег, и тренерский совет окончательно решит, на какой мазе бежать, но только Валерий сам определит те мелочи, которые и есть главное: где погуще, где пожиже, подкладочку потолще, и в каком порядке слои намазывать — ответственнейший бутерброд получается.

«Похоже, все как предполагали. Неожиданностей за эти часы быть не должно. Температура вчерашняя. И солнце взойдет вчерашнее. К концу гонки незначительно потеплеет».

Выбравшись из сугробов, он обил сапоги и побрел по улочке.

Застреляв возле витрины большой лавки, из-за стекла которой смотрели белолицые и тощие манекены, одетые в элегантные пальто, куртки и пиджаки из кожи. В стекле отражалось посветлевшее небо над горами и темные пики хвойных лесов на гребнях. С каждой секундой витрина окрашивалась во все более густой малиновый цвет от утренней зари, нарождавшейся где-то далеко, за черно-белыми горами.

Картавый голос заставил вздрогнуть. И потому, что прозвучал так рядом, и потому, что говорили по-русски:

— О, господин Скачков, я вас узнал. Не поверил, что ты выстали так ранечко. Думал, что только мы, деловые люди, которые немножко по торговле, должны не спать по утрам. Прошу зайти в мой магазин!

Маленький, худенький, в лыжных брюках и куртке — лыжник, и только, — обладатель картавого голоса царственным жестом толкнул дверь, мелодично звякнувшую коляколычком.

— Но я ничего не собираюсь покупать...

Хозяин развел руками — во все двери своего магазинчика:

— Нет таких людей, которым нечего было бы купить. Есть только люди, у которых нет денег.

Валерий вошел в магазин, и первое, что бросилось в глаза, — красивый пиджак из черной кожи, будто специально повешенный на виду. Он давно мечтал о таком — и удобно в дороге, и модно.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Скачков. — Взял бы вот это, — и ткнул пальцем в пиджак.

— Вот видите, — без всякой радости и даже признаков удивления, словно заранее знал, чем кончится этот визит, сказал хозяин, — я же говорил: всегда есть что купить. И эта прекрасная вещь стоит копейки.

При слове «копейки» Скачков не смог сдержать улыбку.

— Можно копейками или лучше пересчитать на вашу валюту?

— Лучше всего долями. Девяносто пять баков, и можете забирать. — Называя цену, хозяин уже снимал пиджак с вешалки. — Меряйте, меряйте, пожалуйста. Совсем ваш размер.

— Но у меня нет таких денег, — признался Валерий, сразу потеряв интерес к покупке.

— У человека, который так бежит на лыжах и так стреляет, не может не быть этой маленькой суммы. Впрочем, у вас, русских, сейчас, правда, маловато денег... Ну, хорошо, только для вас: пятьдесят пять долларов — и забирайте. Носите на здоровь-

ичко! И скажите всем вашим, где находится мой магазин. Пусть приходят. Только не говорите, за сколько я вам отдал.

— У меня сорок долларов. — Валерий сунул руку в карман и насмешливо показал ему все деньги, которые лежали в бумажнике.

Хозяин кисло улыбнулся. Потом махнул рукой, как бы давая согласие на самоубийство.

— Пусть будет. Только такому знаменитому земляку, как вы. Забирайте, но прошу — не говорите вашим, где находится мой магазин...

— Так не пойдет. У нас дружная команда. Десять таких же штук по сорок долларов — тогда я беру.

— Но у меня он всего один, — жалобно произнес гостеприимный «земляк».

— Валей, — махнул Скачков рукой, отдавая деньги.

Когда с большим пакетом он входил в пансионат, столкнулся в дверях с Галицким.

Старший тренер, поздоровавшись, выразительно посмотрел на пакет, будто не веря своим глазам, а потом проводил Скачкова взглядом, выражавшим лишь одно: у тебя нет другого выхода, как быть на финише первым.

Вся команда уже собралась на завтрак. После него последний тренерский инструктаж. Потом маркировка лыж, проверка оружия... А там легкий удар планки по ноге на стартовом створе.

Скачков попал в мазь. Бежал легко. Дважды стопроцентно отстрелялся. Третий этап дался труднее. Но Галицкий, стоявший у входа на стадион, прокричал, что бежит с запасом. Валерий так обрадовался, что на третьем рубеже едва уложился в лимит патронов, но от позорного штрафного круга ушел. И поверил, что победа в кармане.

На каждом контрольном пункте тренеры подтверждали, не скрывая радости, что Скачков выигрывает с запасом. Впереди оставалось не более трети последнего круга. Валерий знал на оставшемся отрезке не только каждый спуск и поворот, знал уже, какой снег лежит на каждом склоне: синеватый, накатистый — в темной аллее, и сверкающий, обмякший — на солнечной «щечке».

И еще впереди лежал долгий спуск, на котором можно перевести дух перед последним броском.

Скачков выскочил на вершину и яростно кинулся вниз. Теперь яркие пятна одежды болельщиков, которые ловил краем глаза, слились в бесконечные цветастые полосы.

Так и не успел Валерий понять, откуда выкатилось это оранжевое облако прямо на лыжню. В последнее мгновение успел подумать, что надо уйти от столкновения, а уж остальное потом... Но предпринять что-либо... Только раскрылся больше... И потому страшнее оказался удар... Тяжелый приклад винтовки, как молот, бухнул в спину.

Очнулся — кругом бело. Словно продолжал бежать по лыжне. Только почему лежит? Ах да, это облако... Валерий огляделся. Входили и выходили люди в белом. За маленьким окном ревел стадион — кто-то еще финишировал. У кровати сидел с мрачным лицом Галицкий. Постепенно до Скачкова дошло, что он в медпункте на финише гонки. На финише, до которого так и не добрался... Грудь ломило, а где-то в боку остро свербила вызывающая тошноту боль.

— Что произошло? — тихо спросил он Галицкого, будто это сейчас имело какое-нибудь значение.

Лицо Галицкого вспыхнуло на мгновение радостью — наконец заговорил, — но сразу же исказилось злобой:

— Да одна дура сорвалась со склона! И вместо того, чтобы сесть на задницу, как все бабы тормо-

зят, решила перекатиться на другую сторону трассы...

«Так и есть... И облако, и удар — все было!» Не было только одного — победы, которая уже лежала в кармане.

27.

Неля не приходила два дня подряд. И без того опостылевший больничный режим стал для Скачкова невыносим. Если бы не обдумывание графика Галицкого, в который он так охотно поверил, трудно даже сказать, как бы пережил эти дни.

По заведенному распорядку продолжал ходить по врачам и сдавать анализы. И столь аккуратно, что Клаша Степановна не могла на него нарадоваться. Но каждую свободную минуту выскакивал в холл, всматривался в лица входивших. Он давно так жадно не ждал женщину... Ждал не только потому, что хотел видеть: боялся, что уйдет и она. Уговаривал себя: приехав издалека, Неля не уйдет просто, без причины. Еще этот, пока не виденный им Алешка, живущий где-то на окраине страны. Первое, что должен сделать, выйдя из больницы, — посмотреть на Алешку... Слово «сын» пугало, невероятно отягощая совесть. Слово «сын» сразу сделало отношения с Катей пустышными. Нет, не ее уход так резко вытеснил Катю из его жизни, а этот самый Алешка. Его, скачковское, продолжение... Как бы ни сложились дальше судьба, на земле будет частица его существа.

Валерий даже похолодел, представив на миг, что было бы, не объявись Алешка. При одной этой мысли вся его жизнь, такая стройная, такая определенная, разом показалась ему чудовищным нагромождением нелепостей. Хотя он уже достаточно хорошо знал, что люди не планируют своих ошибок — они лишь ошибаются в планах...

До ужина оставалось полчаса, когда появилась Неля. Петя что-то рассказывал Скачкову о своей работе. Валерий ничего не понимал в сложных химических проблемах, слушал больше из уважения. Увидев Нелю, он довольно невежливо бросил собеседника и кинулся ей навстречу. Неля улыбнулась ему, но согнать озабоченность с лица не смогла.

— Я тебя заждался... — признался он.

— Правда? Извини. Куча хлопот.

— Боялся, что уехала...

— Глупости — уехать, не простившись? — Она фыркнула и потом, решившись, сказала: — Вот сейчас и пришла попрощаться. Через три часа самолет... — Это серьезно?!

В голосе Валерия было столько отчаяния, что она, как бы оттаяв, виновато пояснила:

— Мне надо лететь. Звонила соседям, с которыми оставила Алешку, они больше не могут... Я обещаю вернуться раньше... А вот загостились...

— Но ты еще приедешь?

— У меня кончился отпуск...

— Как же так? Как же так? — забормотал Валерий. — Но ведь я должен тебя проводить?!

— Ты сошел с ума. Из больницы?

— Ну и что! Я мигом...

— Перестань! Не будь мальчишкой!

— Тебя проводят?

— Конечно.

— Кто?

Она рассмеялась.

— Ты.

— Так я и говорю...

— Ты проводишь меня сейчас до конца коридора. И мы с тобой расстанемся.

— Надолго?

Неля помолчала. Валерию показалось — прикидывала срок. Потом вздохнула:

— А это как захочешь...

— Ты позволишь мне приехать к тебе?... к вам?.. Сразу же как выйду отсюда?

— Конечно. Рада видеть тебя всегда. Если позвешь... — вдруг сказала она, — приеду к тебе... Если позвешь... — повторила Неля и принялась объяснять, что принесла в объемистой кошелке. — Бери с сумкой. Она мне уже не нужна. Свои вещи я оставила в машине. Такси ждет. Я пойду, хорошо? — Она спросила, не ожидая ответа на свой вопрос. Но что оставалось им обоим — тянуть быстротечные минуты...

— До свидания, Неля. Спасибо. За все спасибо. Хотя не уверен, что смогу хоть когда-нибудь отблагодарить тебя.

— Сочтемся! Приедешь — будет время для подведения баланса. Пока позволь поцеловать, пожелать удачи. Мы с Алешкой будем тебя ждать. Коля не шутишь... — уже тихо добавила она. — Иди к себе. Проводы не встречи: не люблю их. — Она повернулась и пошла прочь.

Он смотрел ей вслед, и ему казалось, что она уходит совсем ненадолго, что вернется уже сегодня, через час, через минуту. И ощущение того, что этому свиданию не будет конца, заполнило его душу.

Он долго лежал в темной палате без сна, с горячей головой, невольно прислушиваясь к громкому храпу Артамонова, тихому посвистыванию Коленки у окна, тяжелым вздохам Пети.

«Память... Ах, память! Если человек с мое потоптал землю, голова его набита столькими воспоминаниями, что способна лопнуть. Зачем мне столько воспоминаний? Сын, мой сын — и тот живет не со мной. Смотрю на Нелю и думаю, что столько времени, несмотря на разность характеров, держало нас вместе, что развело нас по жизненным дорогам? Тот вечер последнего разговора не в счет. Он был страшен своим спокойствием, спокойствием с обеих сторон...»

В первый год их совместной жизни Валерия здорово понесло... Вернулся однажды поздно. То есть рано — часов в десять утра. Зашел, чтобы переодеться и — на поезд: через два дня тренировочный сбор на Урале. И застал Нелю в слезах. Растрепанная, сует свои вещи в чемодан. Вошел, прикрыл дверь, стоит как дурак и смотрит, что она делает. Неля молчит, только движения стали судорожнее. И тут ее прорывает: «Я больше не останусь в этом доме ни минуты! — кричит в истерике. — Мне надоели бесконечные ожидания твоих приездов! Мне надоели слухи о твоих похождениях! Эти стычки и перемирия! Этот биатлон, отнявший у меня простое бабье счастье! Мне нужен муж, а не прославленный кумир!»

Чемодан объемистый — с ним Скачков ездил в длительные туры, — и она от волнения никак не могла его протянуть в узкую дверь. Что бы случилось, стань ее уговаривать? Если уж она сорвалась — все слова бессильны. Но окончательно это Валерий понял потом, в вечер их разрыва. А тут его осенило. Бросился к шкафу, схватил пустой чемодан и тоже начал запихивать в него вещи... Оглянулся и надолго запомнил удивленный взгляд зареванной Нели. «Подожди минуту, — сказал спокой-

но, сам удивляясь, откуда только бралось самообладание. — И мне здесь плохо. Пожалуй, тоже не останусь здесь больше. Я пойду с тобой». Ее лицо сначала вытянулось от удивления. Потом дошел смысл слов. Она тихо опустилась на чемодан и рассмеялась. Наступило сладкое время домашнего мира. Правда, недолгого — Валерию нужно было на поезд.

Боже! Это будто случилось лишь вчера. Но где же он хранил все эти детали? Как мог жить так долго, не вспоминая?

Да полно, забывал ли он Нелю вообще?

28.

Романа назад в палату не привезли. Миша-Полосатик вернулся утром из умывальной как всегда первым, но неслышно. Он прошел к своей кровати и сел, отвернувшись к окну, Валерию показало, что Мише плохо. Скачков подошел к нему и хотел спросить, но тот поднял серое лицо и сказал тихо, чтобы не слышал никто другой:

— Роман умер... Полчаса назад...

Мир словно раскололся для Валерия надвое, и уже не было, кажется, силы, способной вновь склеить эти две распахившиеся половины...

Говорят, человек живет только однажды. Наверно, так оно и есть. Но согласиться с этим он никак не мог. Скорее потому, что был убежден: у большого спортсмена всегда минимум две жизни, одна — в спорте, когда слава баюкает на сладких волнах удачи, а вторая — когда зыбкая, но такая знакомая почва спортивного действия вдруг уходит из-под ног и, словно перед мальчишкой, вновь встает огромный вопрос: что делать?

Скачков привык так спрессовывать свое время, свои дела, что и в первой своей жизни — спортивной — умудрился многое сделать. Спорт приучил прежде, чем начать что-либо, мысленно прокатать каждый вариант, продумать каждое движение, каждый шаг. Он прожил почти всю свою сознательную жизнь, подчиняя ее жесткому графику тренировок.

И глубоко ошибается тот, кто думает, что тренировка длится от сих до сих, а там гуляй себе. В спорте так много от труда творческого — он не знает временных границ. Творец всегда в работе. И спортсмен тоже... На тренировке он примеряет к делу то, что родилось в аналитической работе, когда жесточайшая ревизия беспощадно выявляет твои слабости, недостатки. А так ли просто искать их у себя? У других они замечаются легче.

Тысячу раз Скачков мысленно произвел каждый выстрел. Тысячу раз воткнул лыжную палку в хрустящий фирн, прежде чем нашел ту мазь, которая позволяла ему бежать максимально быстро по старой, твердой лыжне.

29.

Телевизор стоял в красном уголке. Сегодня Скачков впервые заглянул в эту комнату — могли показать репортаж из Америки. Телевизор был один, а желающих посмотреть разные программы куда больше. Валерий очень боялся, что в галдеже пропустит те несколько минут, в которые покажут американскую гонку. Он прекрасно знал, что биатлон не самое любимое спортивное зрелище. К счастью, выбрать спортивное обозрение помог хоккей.

Замеров в своем углу, он смотрел отрывки хоккейных матчей. Казалось, сегодня телевидение задалось одной целью — показать все, что можно, о хоккее. Болельщики были довольны.

«Нам бы, биатлонистам, половину того внимания, которое уделяют фанатики своему хоккею. Хотя бы половину! Блаженные хоккеисты избалованы — конечно, матч и смотреть легче, и динамики больше... Но все-таки — стандарт мышления.

Мы так привыкаем к общепринятым истинам, что порой принимаем их за откровения. Еще ребенком я слышал, что волки, которые воют за дальней кромкой леса, воют на луну. «А почему воют волки?» — думал я не раз. Старый хант объяснил мне совсем не так, как объяснял мой отец, прирожденный промысловик. Хант говорил, что волки воют не потому, что они одиноки. Скорее наоборот — потому, что их слишком много. Заслышав вой, говорил старый хант, другая стая понимает, что им рядом друг с другом не прокормиться, и ищет себе добычу на новом участке».

Как ни жаждал Скачков увидеть репортаж из Америки, — занятый своими мыслями, упустил появление долгожданного сюжета. Страничку о советских спортсменах за рубежом начали сразу с биатлона. На экране появилось крупным планом лицо Терехина. Потом лицо кричащего что-то Галицкого... Потом издали показали трассу... И вот бегущий Чижик в окружении соперников... В мельтешении на стрельбище, в мельтешении на трассе трудно толком что-либо разобрать. Только Валерий мог из обрывков поспешно снятого или здорово сокращенного репортажа представить сколько-нибудь цельную картину гонки. Помогли слова спортивного комментатора: «Первым в индивидуальной гонке оказался норвежец Гроссен, вторым пришел дебютант нашей сборной Чижики, наказанный за неуверенную стрельбу двумя штрафными кругами...»

«Стрелять на международных соревнованиях совсем не то же, что палить у себя дома. Тут не только нервы нужны — тут опыт нужен и характер. И все-таки Чижик удивил — лучший из наших. Конечно, не зря он меня на той прикидке «причесал». Здорово бежал! И вот поди, уже в лидеры сборной выбился! Впрямь, пока мы, ветераны, рот открываем, молодые растут...»

Хоккейные болельщики, расходясь, судачили о своем: никто даже не обратил внимания на рассказ о гонке в Америке. Они просто не знали, что такое биатлон. Зато Валерий знал его слишком хорошо. Эти несколько кадров буквально вывернули душу наизнанку. Каждой клеточкой тела пережил он виденное. Нет, не только пережил, но и домыслил многое на основании долголетнего опыта.

Шагая по белому коридору, Валерий весь был там, на трассе. Он не представлял ее себе конкретно. Зато запах снега, запах пота, запах стреляных гильз щекотал гортань. Руки невольно сжимались, словно стискивали пробковые рукоятки лыжных палок. Удар, удар... Он ощущал каждый толчок. И ноги сами невольно переходили на переменный шаг. И привычно стучала по спине винтовка... Это были одни из тех редких и дорогих минут, когда он так явственно ощущал каждое свое движение.

«Я не могу жить без спорта! — хотелось кричать ему на всю больницу. — Я не буду жить без него! Чего бы мне ни стоило, но не сойду с лыжни до последнего. Даже когда не хватит сил стоять, лягу на лыжню, буду ползти по ней, но не изменю себе! И это единственный путь. Другой дороги для меня нет...»

30.

Валерий пропустил утренние анализы. Вместо них дал двадцать кругов по больничному двору, еще до того, как появились на дорожках первые гуляющие. Торопившиеся врачи не обращали внимания на бегавшего. И Валерий злобно подумал, что никому из них и в голову не придет, что такой рысью может бежать больной, — скорее тренируется какой-то практикант. Потом он принялся за яростную зарядку.

Он понимал, что поступает неразумно: после стольких вялых больничных дней не следовало так увеличивать нагрузку. Но ничего не мог с собой поделать. Важно было доказать самому себе, что по плечу любая работа. И больница в конце концов только короткий нелепый этап в его большой спортивной жизни. Да, конечно, откровенный разговор с Руденко не оставил сомнений в правильности диагноза. Но Скачков и не нуждается в каких-то сомнениях! Ему хватит того, что он верит в свои силы...

К концу зарядки пот лил по лицу, стывшему на морозце... Пар от рубахи смешивался с дыханием. Давно Валерий не работал так, чтобы каждый элемент упражнений доставлял ему наслаждение. Завалившись на скамью, «качал» брюшной пресс, резкими движениями вскидывая обе ноги за голову и, распрямляя их, почти касался земли. И вновь вскидывал... Он не чувствовал ни холода скамейки, ни ее твердости. Зато слишком хорошо ощущал, как наливаются усталостью мышцы. Но ему казалось, что если он отступит сейчас от задуманного, то отступит и в другом, и в третьем... И тогда отступление станет главной линией его поведения. И поэтому — вперед!

Зарядку он закончил, не глядя на часы. Сделал все, что намечал, и понял: большего не надо. Громко, удовлетворенно засмеялся в гулком дворе, слушая, как смех его возвращается как бы сверху, с неба. Слыша это эхо, он и пошел к себе в палату.

Впервые сегодня Валерий не чувствовал, что идет по больничным коридорам. Ощущение такое, словно живет на старой армейской спортбазе. И коридоры — лишь спортивная гостиница. А встречающие просто на время прикинулись больными: дай срок, и они займутся каждый своим видом спорта.

Он шагал быстро, как не ходил уже давно. И если вчера еще временами чувствовал себя совершенно подавленным этими стенами, то сейчас все вокруг казалось ему подвластным.

Завтрак был в самом разгаре: во всяком случае, в палате не было ни души. Он схватил полотенце и почти бегом бросился к умывальникам. Раздевшись до пояса, прямо из крана окатился холодной водой, заливая цементный пол, и без того не очень чистый после всеобщего утреннего туалета.

«Вот когда больничной кашки на завтрак будет мало... Фунтовый бифштекс положен после такой зарядки. А я ее еще вечером повторю. Вы у меня побегаετε, лишние лейкоцитики! Я вам такую жизнь устрою, что тошно станет, немоготу во мне сидеть»...

31.

Валерий замер у тех самых ворот, через которые когда-то махнул в баню с Галицким. Он стоял, вцепившись голыми руками в холодные прутья металла, но будто не чувствовал ледяного ожога. Там, за воротами, в небольшом садике через дорогу, шел на лыжах малыш. Один,

как бы один во всей вселенной. Голос матери долетал до Валерия, но женщину он не видел — угол подворотни скрывал правую половину садика.

Малыш ступал на новых лыжах по совершенно свежему, сверкающему снегу: после ночной метели снег еще не успел подернуться серой пленкой городской пыли. Малыш, похоже, вообще едва научился ходить. И каждый шаг на непослушных лыжах давался ему с трудом. Он натужно сопел, качался из стороны в сторону, стараясь удержать равновесие, но упрямо шел туда, на голос матери. Ручонки в красных пушистых варежках держали палки, которыми он помогал себе устоять, когда поскользывался, или заезжал лыжей на лыжу, или клевал носом, не рассчитав усилий.

Валерий, замерев, смотрел, как боролся малыш с новым для себя делом, со стихией скользкого, сыпучего снега. Шажок... Шажок... Еще шажок...

На свежем снегу темнел прорубленный детскими лыжами корявый след. Уже здесь, на этом коротком отрезке первопутка, было видно, как выправляется лыжня, как становится увереннее, прямее.

ГЕННАДИЙ
БУРАВКИН



☆☆☆

Край мой милый,
свет вершинный,
полный гомона и сил!
Сколько ты моих ошибок
без упрека мне простил.

Как терпел великодушно,
возмужая
молча ждал.
Сколько сумок и кадушек
на подмогу присылал.

Я гонялся за удачей
и за ветром голубым.
Пустоту в душе не спрячешь,
не прикинешься родным.

Свет мой грозный,
свет печальный,
ты упреков злых не слал.
Мне садами и ручьями
ты дорогу освещал.

Свет родимый,
я старею
и не просто сыном быть,
и боюсь,
что не успею
светом — отблагодарить.

☆☆☆

Лес для того и вырос,
чтобы в нем
был птичий угол
и звериный дом.
Чтоб ворожили совы среди ночи,
чтоб рассыпался утром
треск сорочий,
чтоб положить однажды
под сосну
свою последнюю весну...

☆☆☆

Узнал я рано от людей,
Что злость — сестра злорадности.
А сердце, что в груди моей,—
Гнездо для птицы радости.
Уже летят скворцы, грачи,
Уже вернулись аисты.
И лишь не занято в ночи —
Гнездо для птицы радости.
Зато и в дождь и в холода
Летит ко мне осенняя
Птиц перелетных череда:
Печаль,
Вина,
Сомнение...
Как будто нету гнезд других,
Усталые, безмолвные,—
Летят, и не прогонишь их,
Ведь мокрые, бездомные.
Они гостят в душе моей
Средь синей неоглядности,
Чтоб гнезда были у друзей
Согреты птицей радости.
Во мне живут их голоса —
Печальные, тягучие,
Пока не кликнут небеса
Моих гостей за тучу.
Светлее станут мир и дом.
Я долго ждал без зависти.
И я сберег свое гнездо
Для звонкой птицы радости.
Пусть она для всех поет
С утра, и днем, и вечером.
Я все равно дождусь ее
Вместе с человечеством!

☆☆☆

Стояла у дверей поникшая, как зной.
Чтоб вечно быть моей, просила: — Дверь
закрой.
Земная дрожь плеча, небесный зов трубы...
И поворот ключа, как поворот судьбы.
Никто не отомкнет мою ночную дверь
и у меня теперь тебя не отберет.
И молча рот кричит: — Навеки я твоя!
И гулко кровь стучит в просторах бытия.
На белизне плеча куда-то ночь плывет.
И поворот ключа как жизни поворот...

☆☆☆

Я славы не молю, награды не выпрашиваю,
родной песок люблю, скупую землю нашу.
Все ей отдам — сполна, пока живу на свете,
чтоб не была черна в продыmlенном столетии.
В любви своей — не слеп, я клятвы не мусолю,
не посыпаю хлеб чужой ехидной солью.
Мой сон и суть — она, родная, молчаливая,
и в радости — одна, и в смерти — справедливая.
Ее обгородил я мыслями и песнями,
чтобы потомок жил и праведно и весело!
Красуйся в тишине — радужная, не слабая.
И это будет мне и почестью, и славою.

Перевел с белорусского
И. ШКЛЯРЕВСКИЙ

ВАДИМ КОВДА



☆☆☆

Посмотрела, забыв об обиде...
Я растерянно прятал глаза:
— Ты поверь, я хочу тебя видеть,
но встречаться нам больше нельзя...

— Нет уж. Поздно. Теперь до могилы...
Без тебя не сумею прожить...
Я ответил: — Найдутся ли силы,
но любовь нашу нужно убить...

И тогда зарыдала в безумье,
закричала, платок теребя:
— Лучше б умер Ты! Лучше б Ты умер!!!
Я бы легче забыла тебя...

Стихи о некоторых литературных ровесниках

Входит в силу мое поколение.
Нарастают года и чины.
Начинается скука и тленье
у мужчин, что не знали войны.

Матереет мое поколение.
Появляются власть и почет.
Там, где было безумство и жжение,—
лишь смиренность да трезвый расчет.

Толще кнчки и выше оплата.
Чаще — в креслах и реже — в толпе...
Все, что мы презирали когда-то,
Все сполна замечаем в себе.

Улыбаемся хитро и сухо.
Малой группкой сплотили ряды.
Не избегли томления духа —
избежали былой чистоты.

Не поймали летучее счастье.
Ну так что ж, ну так что ж—подслом!—
Не прошли испытание властью.
Не прошли испытание рублем.

О страданье

Сколько истины в том, кто страдает,
свет живет в том, кто много страдал.
Человек от беды пропадает —
без беды бы и вовсе пропал.

☆☆☆

А кто сказал, что предавать легко!
Нет, знаю точно: это делать трудно,
пусть тайно, бескорыстно, неподсудно...
Как липко все! как на сердце паскудно!
А мама, небо, солнце — далеко.

Она

Забывая мной и всеми,
смотрит в глухую даль...
Не тронь, не тронь ее, время,
лучше меня ударь.
За окнами мгла да темень,
дождь да слепой фонарь...
Не старь, не старь ее, время,
лучше меня состарь.
Не отягчай ей бремя,
дай ей души и сил...
Не обижай ее, время.
Я ее так любил...

☆☆☆

Почти все, что со мной происходит,
происходило ранее с другими людьми
и будет происходить впоследствии...
Меня сначала печалила эта мысль.
А потом обрадовала:
значит, я понимаю людей прошлого,
а люди будущего,
может быть,
поймут меня.

Прогресс

Ну, прогресс! — Выкидывает штуки.
Я его поклонник и ценитель,
Сколько стоят кожаные куртки!
А нейлон! А клейкий заменитель!!

Как же так! Кому он угождает!
Что еще накличет и навевает!
Все естественное — дорожает.
Все искусственное — дешевеет.

Но куда же есть еще надежда,
все ж она еще куда бьется:
это все — про обувь да одежду,
это нас с тобою — не коснется!

Только вдруг захочется перечить.
Сам не знаю, что со мной творится, —
слышу я искусственные речи,
вижу неестественные лица.

Да и сам сужу легко и кругло
после телевизионного бденья,
словно механическая кукла—
без любви, без слез, без удивленья...

ВАДИМ ШЕФНЕР



Гости

Все свои годы решил создать я,
Чтоб оценить их, окинуть взглядом,
Чтобы они, как дружные братья,
Все в моей памяти встали рядом.
Гости явились, галдят в прихожей,
Гости меня затоптали в угол...
Ну до чего же они несхожи,
Многим из них не узнать друг друга!
...Глупые годы, умные годы,
Годы-красавцы, годы-уроды,
Годы-невзгоды, годы-счастливыцы,
Годы-трудяги, годы-ленивцы...
Годы — в обносках, годы — в обновках,
Годы — в шинелях, годы — в спецовках;
В кепках приперлись годики-шкеты,
Годы-хрычи снимают береты.
Год-второгодник сжался в комочек,
Год-юбиляр ему что-то бормочет;
Годы-солдаты стоят в сторонке,
Свой разговор ведут негромкий...
Год-весельчак зовет на танцы,
Год-забудыга требует водки;
Годы-юнцы и годы-старцы
Спорят вовсю, надрывая глотки.
Разные взгляды, разные лица —
Не столкнуться им, не сдружиться...
Рано созвал я вас, годы-братцы, —
Старшего брата надо б дожидаться.
Вверю я вас ему, командиру, —
Он вас построит всех по ранжиру,
Всех приструнит, подведет итоги...
Он — самый строгий — уже в дороге.

☆☆☆

Ни справочников, ни программ
Судьба не издает;
Она вовек не скажет нам,
Что нас в дальнейшем ждет.
Ей, равнодушной, просто лень
В известность ставить нас,
Что нам сулит грядущий день,
Что будет через час.
Ты сам лепи свою судьбу из глины бытия!

Тебе — пока ты не в гробу —
Подвластна жизнь твоя.
О будущем гадалки лгут,
Примет правдивых нет,
И только долгий честный труд
На все дает ответ.

Раз в году

Среди могил во мгле осенней
При свете тусклого костра
Старик — придурковатый гений —
Пилил на скрипке до утра.
Он сам себе казался юным,
Спланированным на века,
Но отсыревшим старым струнам
Была нагрузка нелегка.
И слушала концерт нелепый
Сентябрьская ночная тьма:
Дремали каменные склепы —
Кладбищенские терема.
— Уйди, — ему шептала осень, —
Вконец простынешь, чудачок! —
А он чихнет, ветвей подбросит
В огонь — и снова за смычок.
Он, памятью в былое вдавлен,
Забыв, что смерть была и есть,
Старался для подруги давней,
Когда-то погребенной здесь.
И звуки стай многокрылой,
Пробив сырую немоту,
Кружились над ее могилой
И возносились в высоту.

☆☆☆

Откуда-то его окликнул кто-то.
Он обернулся — никого вокруг.
Молчит полузасохшее болото,
Безмолвна высь, безлюден летний луг.
Он испугался: вдруг я сумасшедший!
И долго брел среди немых полей,
Все голоса живущих и ушедших
Перебирая в памяти своей.
Потом припомнил путник одинокий,
Смиренной благодарностью объят,
И отчий дом, и день былой, далекий,
И матери прощальный взгляд.

Былое

Так что же такое былое?
Былое не склеп и не храм,
Былое — строенье жилое,
Где место найдется и нам.
Былое — дворец, возведенный
Над бездной скорбей и утрат;
В дворце том людей миллионы
У солнечных окон стоят.
Там наши друзья фронтовые,
Которых убила война;
Там всем, кого помнят живые,
Надолго жилплощадь дана
И мы туда тоже прибудем,
Родной не покинув земли, —
Поскольку не боги, а люди
Строение то возвели.
Никто не оучится в нетях
И не растворится в былом,
Пока средь живущих на свете
Хоть кто-нибудь помнит о нем.
г. Ленинград.



ГАЛИНА ЮДИНА

ОСТАНОВИТЬСЯ И ПОДУМАТЬ

*М*осковский вечер. Дождь. Мокрые тротуары. Красные огни. Летящие машины. Зонты. Еще открыты магазины. От Маяковки я иду по улице Горького вниз. Чтобы попасть домой, мне надо пересечь Красную площадь, перейти через широкий, как улица, мост и оказаться в заманчиво-старом Замоскворечье, где сохранилось множество старых особняков, соборов, колоколен, литых чугунных решеток... Очарование Замоскворечья почти не скомкано новостройками. Люблю этот уголок моего города. Здесь, как в Ленинграде, изогнулись пешеходные мостики над водоотводным каналом. Здесь Москва осталась несуетливой, тихой, помнящей себя еще без метро и без росчерков реактивных самолетов в небе.

Около здания гостиницы «Интурист» я складываю зонтик и ныряю в стеклянный теплый подъезд. Здесь мне необходимо встретиться с зарубежными гостями столицы и взять интервью для журнала: что они

думают о советском предложении по продлению одностороннего моратория на ядерные испытания до конца Года мира. У стойки администратора крутятся двое мальчишек...

— Ребята, здравствуйте,— по-английски окликаю их.— Вы откуда?

— Из Дании.

— Надолго в Москву?

— На один день. Завтра мы улетаем в Китай.

— А потом?

— А потом домой в Копенгаген.

Подходит их отец. И мама. Знакомимся. Джон Херц — физик. Вот он справа на снимке, в очках.

— Ядерная физика? — спрашиваю.

— Нет, физика твердого тела. Процессы в магнитах и стеклах. Это очень интересно, поверьте,— говорит он.

Джон работает в Международном исследовательском институте. Его пригласили прочесть несколько лекций в Шанхайском университете. Джевен — на

снимке она в кресле слева — занимается экспериментальной психологией в детской глазной клинике.

— А меня зовут Джошуа, — врывается в разговор старший из братьев. — Мне одиннадцать лет. Я тоже буду физиком. как отец.

— А я художником! — Это младший, его зовут Даниель, ему семь.

— Отлично! — говорю я. — Как у вас с завтрашним днем? У нашего журнала три с лишним миллиона подписчиков. От лица наших читателей приглашаю вас на... Тут я затрудняюсь в переводе. Как по-английски «самовар»? — Знаете, у русских есть такая традиция — говорить по душам за чашкой чая. — Как же все-таки «самовар» по-английски? Ладно, пусть будет по-русски, как «спутник». — Есть традиция обсуждать сложные проблемы за самоваром.

— А, понятно, — говорит Джон. — Са-мо-вар! У нас в Америке это лучший сувенир, привезенный из России.

— Почему «у нас в Америке»?!

— Мы американцы. Наша родина — Соединенные Штаты. Только сейчас живем и работаем в Дании. Парни у нас родились в Чикаго.

— Тогда тем более. Завтра ждем вас в редакции. Важно, чтобы мы сели вокруг самовара и обсудили, как нашим странам жить в мире.

— У нас завтра самолет в Китай. Как мы успеем? — качает головой Джон.

— Успеем, — говорит спокойная Джейвен. — Самолет вечером. Мы обязательно придем. Главы наших государств встречаются за столом переговоров. Тем более важно, чтобы простые люди протянули друг другу руки. Мы придем. До встречи! До завтра!

И вот на столике в редакции урчит, закипая, самовар. Мы ставим на стол яблоки из подмосковного сада. Режем торт. И начался добрый разговор.

Советскую сторону у этого разговора представляет семья Миндадзе. Глава семьи Александр Миндадзе — кинодраматург. Его жена Галя Орлова — актриса. На снимке они сидят с краю, а у стены стоит их старшая дочь Катя. Ей ровно столько же лет, сколько Джошуа. А первоклассница Нина сидит в кресле вместе с Даниелем. Даниель точно так же, как и Нина, в этом году отправился в первый класс.

— Для меня мир и дети неразделимы, — говорит Александр, — так же как несовместимы дети и война. Они взаимоисключают друг друга...

— Я, кажется, видела фильм, снятый по вашему сценарию, — перебивает Джейвен. — В Дании показывали «Парад планет». Там есть эпизод, где герой, симпатичный очкарик, просыпается на рассвете в стогу сена. От непонятного грохота. Стороной проходят танки. Он принимает это видение за кошмар и снова засыпает.

— Танки были учебные, — уточняет Джон, — но вполне реальные. И ваша мысль, — он обращается к Миндадзе, — мне понятна: существование орудий войны и всех этих учений — даже в состоянии мира между государствами — кошмар, с которым люди должны покончить. Уже больше года, — с тех пор, как Советский Союз объявил односторонний мораторий на испытания ядерного оружия, — люди напряженно ждут. Односторонний мораторий — реальный шанс остановить совершенствование этого оружия. В то время как в моей стране продолжают греметь испытательные взрывы, Советский Союз нашел в себе мужество и терпение в четвертый раз (!) продлить действие моратория. На советских испытательных полигонах тихо. Все, у кого есть дети, напряженно слушают тишину, которая продлится до 1 января 1987 года. Эта тишина — надежда.

— Джон, я рад, что мы понимаем друг друга, — улыбается Александр. — О поиске взаимопонимания

между людьми разных профессий, социальных слоев, убеждений, культуры я привык говорить языком кинообразов. Но готов повторить и прямо, в лоб: понять другого — первый и самый необходимый шаг к любому соглашению, в том числе и на уровне государства.

— В нашу эпоху вечные и истинные ценности нередко подменяют сиюминутными, преходящими, — говорит Джейвен. — Радио и телевидение подают их соблазнительно. Богом существования становятся успех, деньги, престиж. Именно на этих людях, отдавших душу такому «богу», держится гонка вооружений. Есть библейская притча о том, как бог роздал сыновьям по семь талантов. Один их закопал, другой промотал, а третий приумножил. Так вот, на этих приумноживших дарованное природой держится мир. И среди всех талантов, даруемых человеку природой, думаю, самый все-таки ценный — материнство.

Джейвен и Гале это очень близко. Джейвен считает, что напитать своих сыновей материнским теплом, чтобы его хватило и на тот крайний период, когда ее не будет с ними, — назначение ее жизни. Галя — актриса. Ее профессия требует — в идеале — отречения от житейских забот. Но только теперь, когда девочки подросли, Галя вернулась в театр и наверстывает упущенное.

Вечером у Александра сдача новой картины по его сценарию. Он тоже очень спешит. Но и ему трудно оторваться от беседы.

— Джон, — спрашивает Александр, — что видно из окна твоего дома?

— Зеленые деревья и дворец датской королевы, которому двести лет. А у тебя?

— Зеленые деревья, — улыбается Александр. — Тимирязевский парк и город, которому восемьсот лет.

— Ты тоже, как твоя мама, будешь актрисой? — спрашивает Нину Даниель. Он, пока мы беседуем, рисует что-то в блокноте.

— Нет, — отвечает Нина. — Я пойду работать производником в поезде, а еще — дежурным в Доме творчества. Это так интересно.

— Как вы рискнули отправиться всей семьей так далеко? — спрашивает Галя.

— Мы любим путешествовать, — улыбается Джейвен. — Любим видеть озера, горы и леса Швеции, Дании. Люблю свою родину — Соединенные Штаты. Особенно тихие деревенские места. Большой Каньон тоже нравится. Наши родители, братья и сестры живут на западном побережье Коннектикута, в Нью-Йорке, Вирджинии. Мы звоним им по телефону. Пишем письма. Они приезжают к нам. Если я думаю об Америке, я думаю о своей родине, о маме, об отце. Я хочу, чтобы они жили долго.

Дети говорили о своем, о фантастике и приключениях, о сказках Андерсена, братьев Гримм.

На прощание Даниель протянул мне рисунок. Он нарисовал золотые купола Успенского собора в Кремле. Такого он не видел никогда в жизни. И чтобы многое увидеть на земле, считает он, нужен мир.

А потом мы допили чай и все заспешили по своим делам. Их много накопилось, серьезных сложных дел. Но как бы хотелось, чтобы в этой суете мы находили время остановиться и подумать, как сохранить навсегда и тот лес, в котором любят кататься на велосипеде Джон, и мое тихое Замоскворечье, как сохранить озера, горы, зеленые деревья под окном. Сохранить Россию и Америку, океаны и материки, малые и большие страны, сохранить человечество.

БЕЗ ФАЛЬШИ!



дравствуй!

Ты спрашиваешь: «Стоит ли жить честно и прямо, если от этого одни неприятности?»

В «Философских повестях» в одной из притч Вольтер рассказывает, как Задиг разрешил спор об отцовстве, возникший между двумя магами. Он призвал обоих и спросил, чему они собираются учить своего воспитанника?

«— Я научу его, — ответил первый ученый, — восьми частям речи, диалектике, астрологии, демонологии, я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактное и конкретное, монады и установленная гармония.

— Я, — сказал второй, — постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы».

Спор между магами мудрый Задиг разрешил в пользу последнего: «Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери».

Справедливым и достойным дружбы... Эти качества Вольтер ставит впереди многих знаний.

Образовываем, учим, заботимся о квалификации. Качество и количество знаний — об этом разговор и споры. Представляю, если бы Вольтер встал сейчас на педсовете и сказал: «Главное, чего надо добиться, — чтобы выпускники школы были справедливыми и благородными, считали бы ложь неприемлемой ни при каких обстоятельствах, умели бы вступаться за слабого, умели бы подлецу говорить в глаза, что он подлец, и никогда бы не шли на сделки с совестью. Если учитель не в состоянии достичь этого, то его надо немедленно отлучить от школы».

Гвалт, конечно, поднялся бы страшный. Впрочем, что Вольтер? Зачем так далеко ходить? Позовем на педсовет Макаренко, разве он говорил иное: «Я крепко верю, что для мальчишки в шестнадцать лет в нашей советской жизни самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека».

Но именно это оказалось далеко позади, на заднем плане, в качестве необязательного приложения к аттестату либо диплому.

Выписал из Политического доклада, с чем нам предстоит бороться: с упущениями в политической и практической деятельности, с неблагоприятными тенденциями в экономике и социально-духовной сфере, с инертностью, застойностью форм и методов управления, со снижением динамизма в работе и нарастанием бюрократизма, с консерватизмом, с полуправдой, стыдливо обходящей острые углы, с некомпетентным вмешательством в производственную деятельность на селе, с мздоимцами и рвачами, с частнособственническими, изживденческими настроениями, с формализмом, казенщиной, с нетрудовыми до-

ходами, туеядцами, расхитителями, взяточниками, с безответственностью, благодушием, чинопочтанием, с парадностью, подхалимством, с нарушениями социалистической законности, с косностью, с привычкой говорить обтекаемо, с боязнью раскрыть истинное положение дел, с замалчиванием недостатков — далеко не полный список. Это уже не бой. Это — целое сражение. Сражение за социализм.

Чтобы выиграть его, необходим новый тип человека, отличный от того, которого растили и воспитывали ранее. Нам необходим тип человека отважного, сильного, убежденного, который бы смог проломить эту круговую оборону, — а то, что эта оборона уже занята, не сомневайтесь! — и так встряхнуть заглядывающих друг другу в рот жалких угодников, обнаглевших мздоимцев, доящих кресло, на котором они сидят, всех этих «кабычегоневышлистов» и просто штатных врунов, чтобы ясно стало каждому из них, что слова о перестройке не просто слова, что нам действительно «не по пути с теми, кто надеется, что все уляжется и вернется в старую колею».

Где нам взять такого человека? Без такого человека действительно все может даже под самые пламенные призывы увязнуть в старой колее. Кто и где воспитает так необходимого нашему сегодняшнему времени бунтаря, борца, человека правдивого и прямого?

Наверное, такое воспитание происходит сейчас, — когда мы о многом говорим честно и прямо, когда приобщаем молодежь к реальным проблемам сегодняшнего дня, не приукрашивая и не облегчая их. Урок правды — каким был партийный съезд, — еще и урок нравственный.

Но, к сожалению, вступает в свои права и прежний стереотип. Не так давно — уже шла перестройка — я воочию видел десятилетнего мальчика, который с бумагой в руке взобрался на трибуну и прочел одноклассникам речь «о повышении успеваемости в свете решений съезда». Я спросил учительницу, с удовольствием вершащую мероприятие: «Может, они лучше сами решат, как быть с двойками?» Она всплеснула руками: «Да вы что, они же неизвестно что наговорят!» А несовершеннолетний лицемер бойко шпарил по заготовленной учительницей бумажке о том, что «мы все как один должны повернуться лицом к нашим двойкам, бросившим тень на успехи класса во второй четверти». Тридцать ровесников, не обращающих внимания на говорившего, занимались кто чем, время от времени грозно сдерживаемые наставницей. Она сеяла в их душах не разумные, не добрые и хорошо бы, если не вечные зерна фальши и цинизма, которые дадут всходы через несколько лет... Какие всходы?

Не забуду сцену, которая произошла на моих глазах у памятника Пушкину в Москве. Это был летний звонкий день. Мимо, не обращая внимания на монумент, спешили люди, иные ждали друг друга, суетливо толкалась молодежь. И вдруг высокий старик в темном длинном плаще остановился напротив памятника, снял шляпу и низко поклонился Поэту. Может, его жест был излишне старомоден, словно старик зашел на минутку к нам из минувшего века, но не было в том жесте какой-либо нарочитости или позы. Подростки, толпившиеся вокруг, сидевшие на скамейках и на парадете, сначала оторопели, разглядывая замершего в поклоне человека, а потом захохотали. Старик изменился в лице, побледнел, но степенно выпрямился, надел шляпу и пошел прочь. Ему заулюлюкали вслед, крикнули что-то обидное, —

я видел, как плечи старика дрогнули, словно в него бросили камень.

А вокруг памятника продолжалось действие, ради которого и собрались сюда эти ребята: здесь торговали самым ходким в те дни товаром — сочинениями. Скупали, меняли, перепродавали сочинения для выпускных экзаменов, запасались впрок для экзаменов вступительных. Три рубля, и приобретешь для себя необходимую точку зрения на Павку Корчагина. Еще трешка — и мятущийся Чацкий в кармане. Еще — и переписывай: «Комсомол — моя судьба». Почему сочинение «по Маяковскому»? Почему «по Пушкину»? Почему «на патристическую тему»?

И все же в случившемся меня больше всего угнетало одно: те, кто сейчас хохотал над стариком, поклонившимся Поэту, завтра получат отличные оценки «по Пушкину». Да и за патристический пафос тоже. Учителя останутся довольны гладкостью изложения и верно расставленными запятыми, — и никого не будет волновать, какие чувства к Пушкину испытывают они на самом деле. А какие, кстати?

Неужели важнее, с какой степенью точности они перенесли в тетради клишированные обороты «обращением Базарова в романе показано», чем скажут свое? Пусть пропустят сто запятых, сто раз споткнутся на грамматике, пусть будет сочинение бугриться от неуклюжих придаточных предложений, пусть фразы будут корявы, как коряги, но лишь бы явилась нам собственная, этим юным человекомдуманная мысль. Ставьте оценки и за запятые, и за деэпричастия, но поставьте, кроме всего, Главную оценку — за самостоятельность мысли, за независимость суждений, за умение думать!

Главное — научить каждого нашего питомца мужественно думать, — об этом Сухомлинский говорит в книге «Как воспитать настоящего человека». И далее: «Мужество на поле боя, в поединке с жестоким непримиримым врагом уходит своими глубочайшими корнями в мужество мысли, духа, слова, выражающееся в нетерпимости к молчаливому равнодушию, обману, лицемерию, боязни «вмешаться не в свое дело». Все, что происходит и рядом с тобой, и далеко, все касается тебя, юный гражданин, до всего тебе дело, все ты должен принимать близко к сердцу, обо всем думать, думать, думать. Мужественно думать — значит прежде всего ненавидеть всей душой зло, несправедливость, нести в своем сердце, как неугасимый огонек, возмущение злом, несправедливостью, беречь этот священный огонек от тьмы равнодушия, духовно готовиться к столкновению с противником».

Именно с этого — с умения думать и действовать без фальши — начинает формироваться остро необходимый нам сегодня и завтра тип нового человека, непримиримого и убежденного человека-борца.

Путь становления такого человека труден. Его не ждут на каждом углу с овациями. Скорее наоборот. Принципиальность всегда являлась камнем раздора. Гармония нарушалась, и возмутительно спокойствия приходилось худо. И все же принципиальность — качество, помогающее нам и государству становиться лучше. Это доказал партийный съезд.

Знаю четырнадцатилетнюю девочку, которая отказалась взять комсомольский билет, — потому что ее принимали формально, не так, как, она была убеждена, должны принимать в комсомол. Это о том, что каждый на своем месте может дать свой личный бой.

Но, к сожалению, среди массы протоколов комсомольских собраний пока трудно найти такой, где бы речь шла, например, о взяточничестве заведующей гастрономической секцией. Или протокол заводского комсомольского собрания о том, как покончить с ежемесячной штурмовщиной.

Вот один из московских таксопарков. Система такая: за въезд на территорию двадцать копеек, помыть машину — полтинник, ремонт какой — минимум пятерка, двигатель сменить — готовь полста, новую машину получать — копи деньги. Поборами и взятками все повязано снизу доверху. К ним настолько привыкли, что не замечали, как мы не замечаем турникета в метро, бросая пятак. Таксисты вынуждены ловчить на линии, брать чаевые с пассажиров, чтобы покрыть расходы. Есть, конечно, в этом парке и комсомольская организация. Но система поборов существовала сама по себе, а комсомольские собрания сами по себе. И страдали от той системы-то в основном молодые таксисты, у них и знакомств и опыта меньше, но никто из них не решился сказать об этом вслух. Никто из этих молодых, крепких парней.

В эти же дни, когда я занимался таксопарком, в соседней парикмахерской произошла такая история: девушки-мастера регулярно отчисляли из своего заработка заведующей по пятерке. А пришла новенькая и наотрез отказалась в этом участвовать. Излишне пересказывать, как девушку травили, пытались избивать от нее, подавляли на всяческих профессиональных нюансах. Но закончилась история увольнением заведующей. Девушка победила!

И я готов назвать ее мужественным человеком. Потому что в борьбе с круговой порукой требуется мужества не меньше, чем на полях сражений. Вот здесь и проходит разграничительная линия между настоящим комсомольцем и просто человеком с комсомольским билетом в кармане.

Наполненная гражданским пафосом нетерпимость к недостаткам — оружие сильнейшее и справедливое. Хрупкая девушка из парикмахерской преподала урок крепким парням из таксопарка. Способность дать такой бой и есть, если хотите, тот самый «конечный результат» воспитательных усилий комсомола.

Нам хочется обсудить с тобой, как воспитать такого человека, который бы на вопрос: «А стоит ли жить честно и прямо, если от этого одни неприятности?» — отвечал твердо: «Да, стоит! Так победим!»

**РЕДАКТОР
ОТДЕЛА ПУБЛИЦИСТИКИ**



МИХАИЛ
ХРОМАКОВ

ВСТРЕЧА С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ СКАЗАЛ «НЕТ»

Пругой ветер с Азова бил, как в парус, в стену современного отеля, вгребал стекла, постанывал в найденных отдушниках, задыхался, злился и вдруг разом стихал, словно неожиданно поняв, что ему никогда в жизни не удастся сдвинуть с места этот гладкий, абсолютно правильный, а потому скучный прямоугольник.

— Но ведь кто-то же должен был сказать правду обо всем этом? — спросил меня Сокол.

А вечером в маленькой комнате, которую Сокол снимал на двоих с другом, присев среди холостяцкого жилья — книг, самодельных стеллажей, магнитофонных кассет, выгоревших на солнце рубашек, среди вороха бумаг, блокнотов — и под птичий стрекот проектора я смотрел фильмы. По оранжевому полю шли комбайны, улыбались загорелые люди, зерно лежало в ладонях.

— Это мы ездили снимали жатву, — комментировал Михаил. — Сначала на дискотеке идет «тематика»: фильм, музыка, стихи, слайды...

— Но народ же идет на дискотеку потанцевать?

— Так и было. А сейчас «тематику» ждут не меньше, чем танцев. Программа три с половиной часа, на танцы оставляем час пятнадцать. И все довольны. Представляешь: фильм, фото, текст — все

о твоих знакомых. Смотрят взахлеб. — Он помрачнел, поправил себя: — Смотрели...

Директор одного из районных домов культуры скажет: «Я помню программу о Чили. Она называлась «Пустите меня на могилу Неруды». Почти спектакль. Еще у них есть отличная программа о Микеланджело. Потом — «Что происходит за Великой Китайской стеной?». В селе у нас молодежи не густо. А на дискотеках — зал битком. Приезжают из города... — Осекся, поправил себя: — Приезжали...»

— Можно сделать так, чтобы субботний вечер в селе был интереснее, чем в городе, — уверяет меня Михаил. — Ты же знаешь, как бывает: сплошная тарабарщина, никто не слушает, лишь бы отметить, что мероприятие провели. Мы пытались сломать шаблон.

— Получилось?

— Суди сам. В одном колхозе на дискотеку нашу пускали только тех, кто работает в хозяйстве. И одного местного парня — он шоферил в городе — не пустили. Представь — уволился и вернулся домой.

...Михаил появился в райкоме около года назад — высокий и с чем-то таким во взгляде, по чему люди сразу определяют «обязательного товарища», который не подведет, на которого можно положиться. К таким кидаются на улице с вопросом «Где тут «Энергобытснаб»?». Девочки в секторе учета несказанно обрадовались: вот будет теперь кому собирать взносы. Вручили сразу пачку ведомостей на два года вперед: вдруг больше не зайдет!

Михаил ведомости упаковал аккуратным валиком в газетку и попросил дать еще одно комсомольское поручение — организовать дискотеку. Мол, на работу пришел сразу после института, есть опыт, есть идеи. Первый секретарь Светлана Корогодская не менее бурно приветствовала «инициативу снизу». Имеешь опыт студенческой дискотеки? Да замечательно! То, что нам нужно! Дерзай! Всячески приветствуем!.. Ну, а сколотить группу соратников-единомышленников было делом нескольких дней. Михаил уверен, что люди спят и во сне видят интересную жизнь, надо только их разбудить...

Он менял в проекторе кассеты, и на куске белой стены возникал очередной фильм. Звенело молоко в лодыжниках, коровы удивленно поворачивали морды к кинокамере, солнце протискивалось в щели, и в полусумраке фермы накрахмаленные халаты доярок светились, как рафинад.

«...И еще у них замечательная программа «Все начинается с любви», — будет рассказывать воспитательница рабочего общежития. — Кстати, порядок на дискотеках удивительный! Поначалу к ним шли, как на обычные танцы. Ну, значит, выпьют для настроения... Сокол выдворил пару раз таких, и точка».

Я подробно рассказываю именно о дискотеке, потому что события, происшедшие после районной комсомольской конференции, перевернули все с ног на голову. Чтобы расставить все по местам, мне приходится выбирать ясную точку отсчета. В данном случае это их общее дело, то есть то, чем они жили, чему посвящали время, — дискотека.

Шесть десятков их вечеров — это шесть тысяч слушателей. От чисто развлекательных программ отка-

зались сразу, и каждый вечер дискотека «Контакт» делала шаг к своему идеалу, к тому, чем они желали стать — агитационно-пропагандистской группой.

Прежде всего это требовало времени. Для репетиций. Для возни с аппаратурой. Для съемок фильмов. Для проявления пленок, составления программ, записи музыки. «Понимаешь,— говорил мне Михаил,— мы старались быть интересными даже в привычных вещах. Ставили себе задачу: взволновать рассказом и о событиях в мире, и о наших районных передовиках. Понимаешь, взволновать! Старались уйти от общих слов, от накатанных фраз...» Те шестьдесят дискотечеров, которые они успели провести, были рассыпаны по всем хозяйствам района. В том и состояла суть придуманной ими дискотеки — она была мобильной, легкой на подъем, готовой к любым неожиданностям... Кроме той, которая с ней случилась после конференции. Точнее — после выступления Сокола на этой конференции. Дискотеку закрыли, комнату с аппаратурой опечатали, и райком наотрез отказался иметь что-либо общее с создателем и ведущим дискотеки Михаилом Соколом.

— Знаешь,— нервно говорит Михаил.— Хочется действовать, а не жить вхолостую. А начинаешь действовать — натыкаешься на чье-нибудь бездействие, как на камень. Вот и конфликт. А как иначе? Промолчать? Еще хуже. Помнишь, у Вознесенского: «Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить».

— Да, да,— сказал я,— «...тому же, кто вынес огонь сквозь потраву,— вечная слава! вечная слава!».

Был вечер, и мы вышли к Азову. В полукилометре от берега стояла живая вода, здесь — ледяное спокойствие припая. Я поднял льдинку и пустил по зеленому льду. Она бесшумно заскользила в наползающую муть. Казалось, что этот мертвый панцирь навсегда. Нужен был крепкий ветер, чтобы раскачать море и взломать лед.

— Не кори себя,— сказал я.— Ты ведь был прав!

Он долго молчал.

— Я корю себя за то, что не решился сказать больше.

Но все-таки с чего конкретно начался разлад? Как могло случиться, что правые стали виноватыми, а виновные вышли сухими из воды. Сейчас ребята, которые с ним вместе, не досыпая ночей, мотались по району, продолжают жить так, будто ничего не произошло и не было никогда среди них человека по имени Михаил Сокол. Какие такие силы заставили занять позицию «невмешательства» всех тех парней и девушек, которых он — в самых отдаленных уголках района — будил своими дискотечерами и которые тоже были на конференции?!

Летом дискогруппа работала над новой программой «Трудный хлеб». Субботы и воскресенья они пропадали на жатве, вечером не хватало на обработку отснятого материала. Михаил несколько раз просил в райкоме машину. «Ну хотя бы туда отвезите! Дело-то общее!» Ему было сказано: «Работать по выходным мы не работаем — это ваше личное дело, а вот шофер по законодательству должен отдыхать. К тому же есть лимит горючего, на выходные он не рассчитан». Меня автобусы, попутки, а где и пешком ребята с кинокамерой, фотоаппаратами и блокнотами мотались по дальним хозяйствам. Сокол поддружился со своими ровесниками-комбайнерами, и те легко приняли этого беспокойного, живого, веселого парня, который уже два раза — осенью и зимой — ухитрился приезжать к ним со своей дискотекой. Наматывались на кассеты метры кинопленки и магнитофонной ленты, застыли на слайдах

раскаленные полдни. Михаил делил с ребятами и хлеб, и соль, учился водить комбайн. Замечательные были дни.

И горькая оскомина: нагруженные аппаратурой, пропыленные, замотанные, они возвращались на случайной попутке. Вдруг мимо проскочил райкомовский «газик»: загорелый и веселый шофер вез свою семью с пляжа. Михаил закусил губу. «Нельзя так,— сказал он на следующий день первому секретарю Корогодской.— Если на дискотеку лимит бензина не рассчитан, то хоть на личные нужды пусть его не тратят, ребята же видят все». «Может, ты еще и машиной моей станешь распоряжаться? — прищурилась Светлана.— Может, ты и сюда захочешь сесть?» — показала на свое кресло.

Но, впрочем, дискотекой своей райком гордился, как и следует гордиться живым и полезным делом. Первый секретарь Корогодской не раз рассказывала о ней на страницах ряда центральных, республиканских и областных газет. Вплотную заходила речь о создании на базе группы «Контакт» объединения дискотек. Ждали конференции, чтобы избрать Сокола в члены райкома. На пленуме слушали его отчет о работе дискотеки.

На очередном совете дискогруппа придумала — ура! идея! — о жатве расскажут школьники, чьи старшие братья и отцы убирали хлеб. Даем слайды, фильм, и пусть дети — запишем на магнитофон — читают «дикторский текст». Любое сердце тронет! Бюро райкома идею одобрило и приняло решение о проведении конкурса сочинений о жатве. Прошло изрядно времени, Михаил поинтересовался в нескольких школах, как дела с сочинениями. Там удивились: «Какие такие сочинения?» Он — в райком к Вере Чумак: «Почему не выполняете своих же решений?» Чумак вспыхнула: «По какому праву мне, секретарю райкома, ты указываешь, что делать!» С мертвой точки, правда, конкурс сдвинулся, но до конца так и не добрал. «А какие могли быть закадровые тексты,— волнуясь, говорил Михаил, когда я приехал в райком.— Ты послушай!»

«Сочинение Ладыгина Андрея, ученика седьмого класса. Мой отец — участник жатвы. Жатва началась двадцать седьмого июня. Мой отец возил пшеницу и выполнял норму. Мой отец был передовым. А после отец убирал кукурузу. Он тоже выполнял норму. Мой отец работает на тракторе. Ему вручили грамоту и объявили благодарность. На вспашке зяби отец работал с тем же успехом. В нашем селе очень много таких людей, которые принимали участие в жатве и все выполняли и даже перевыполняли нормы. Вообще мое село очень красивое и в нем живут хорошие люди».

Когда я переписывал эти строки, в кабинет влетела разгневанная Вера Чумак: «Вы хотите сказать, что ничего не сделано? Вот же сочинения!» «Вера, скажите, Сокол требовал, чтобы вы подвели итоги конкурса?» «Да. Но какое право он имеет требовать у меня, секретаря райкома!» «Право комсомольца». «Пусть он у себя на собрании выступает, а не здесь».

В районной газете Михаил наткнулся на заметку про аэроклуб имени Полины Осипенко, который действовал до войны недалеко от родного села знаменитой летчицы и успел выпустить триста пилотов. В воскресенье вместе с заведующей делопроизводством и финансами райкома Аллой Поповой они поехали в село. Вернулись в райком взбодороженные: какие люди жили когда-то в этом селе! Даже матросы с броненосца «Потемкин»! Сколько в войну погибло! Пришли к Володе Панкову, второму секретарю, и с ходу выложили идеи: создать музей исто-

рии района. Стенды, витрины, комнаты — все это не обязательно. Заснять все, что можно, на пленку, записать на «маг» рассказы стариков — и прокручивать эту программу для вступающих в комсомол, как на дискотеке. А вторая идея — возбудить ходатайство об открытии аэроклуба имени Полины Осипенко. Ведь давнишнее решение правительства остается в силе. Аэроклуб никто не закрывал, просто после войны не возобновил свою деятельность... Панков солидно выслушал, поразмыслил: «Хорошее дело Ты прикинь, как там Положение должно звучать».

Михаил несколько дней просидел в библиотеке парткабинета, написал краткий очерк истории партийной организации района, проекты писем об аэроклубе... Панков взглянул: «Молодец. Все хорошо». На том и заглохло. «Да как-то руки не дошли», — объяснял мне по-дружески Панков. — Вы же представляете объем нашей текучки — сто дел! А тут еще Сокол лезет со своими идеями. Я с ним, как с малым ребенком, — пусть играет, но нам не мешает».

Он бывал в райкоме так часто, что райкомовцы признали его за «своего» и, ничуть не смущаясь, обсуждали при нем то, что Михаилу, очевидно, знать не полагалось. Как, например, секретарь Владимир Панков на субботнике, не стыдясь посторонних, отлил для себя восемь ведер виноградного сока. В райкомовских «кулуарах» поступок осудили, — впрочем, не высказывая это Панкову в глаза. С удивлением Михаил узнал, каким образом бывшая работница райкома Берстенева Наташа заполучила льготную путевку на Черное море: выписали эту путевку для поощрения передовика сельского хозяйства Прошко, а поехала и хорошо льготно отдохнула (заплатив 31 рубль вместо 106) Берстенева. Надо сказать, что это происшествие в райкомовских «кулуарах» восприняли спокойно. Такие фокусы проделывались то и дело. Особенно возмутило Михаила, когда по путевке, которой наградили комбайнера Петра Мелкодова, в заграничную турпоездку Корогодская отправилась собственная жена.

Позже Соколу скажут: «А тебе какое дело? Это внутрирайкомовские проблемы». Такую формулу, кстати, я слышал не впервые и не только здесь. Она изобретена чиновными ловкачами для борьбы с тем редкостным типом людей, которым «до всего есть дело».

Осенью состоялся пленум Центрального Комитета комсомола Украины — тот самый, на котором была отмечена важность создания развития дискотек на селе, — и Соколу предложили выступить на предстоящей конференции, рассказать о дискотеке. «Это было моей роковой ошибкой», — скажет Корогодская потом, когда уже ничего нельзя будет «поправить».

В райкоме шел ремонт. Готовились к конференции, теснясь в двух маленьких комнатах. Когда Михаил пришел показать свое выступление, на одном из столов ему попались на глаза протоколы предыдущей конференции. Присел и, никем не остановленный в этой суматохе, выписал критику и предложения двухлетней давности. Совершенно очевидно было, что за это время ничего в работе райкома не изменилось.

Первым посмотрел выступление Михаила заведующий лекторской группой обкома комсомола: «У тебя не выступление, а бутерброд», — заметил он. — Тут о дискотеке, а тут о стиле и методах работы райкома. Послушайся моего совета, скажи только о дискотеке. Так будет разумней». Михаил вычеркнул «о стиле и методах».

Корогодская споткнулась на первом листке. Вычеркнула замечание о «райкомовском «газике», используемом не по назначению». «Может, ты еще доложишь конференции, что я машину в другую область послала? И про конкурс сочинений уберу, не стоит о такой мелочи на конференции. И про музей, и про аэроклуб, и про Панкова, это никому не нужно...» Карандаш первого секретаря заматался по листкам, уничтожая «ненужное». Михаил посмотрел, что осталось, — оставалась лишь дискотека. «Вот что, Светлана, я молчать не буду», — предупредил он. «А ты вот об этом списке помнишь? — Она показала ему проект будущего состава райкома комсомола. — Видишь, твоя фамилия? Помни — все зависит от твоего выступления». Михаил повернулся и пошел к двери. «Да я просто не дам тебе слова!» — крикнула она.

Заведующий отделом обкома комсомола Сергей Кочерженко беседовал с Михаилом по мужски доверительно, на ходу надевая плащ и застегивая замки «дипломата».

— Видишь? — показал он на одну из папок, которые брал с собой. — Мы тоже с этими материалами работаем. Мы все знаем. Но прежде чем критиковать, учти — это далеко не самый худший райком.

По опыту работы с людьми Кочерженко знал: дальше любой человек уже не упорствует — после столь явного намека «сверху» о нежелательности его выступления. Он слегка торопился к вечернему хоккею и погасил свет, давая понять Соколу, что разговор окончен.

— Корогодская, — сказал Михаил, — использует свою должность в личных целях. Панков — человек далекий от комсомола, а вы его выдвигаете первым секретарем.

— Мы все знаем. Корогодская уходит. Мы будем рекомендовать на ее место инструктора обкома Надежный, энергичный парень.

— А почему не избрать первым секретарем Аллу Попову? Заведующую сектором учета. Она настоящий комсомольский работник, она душой горит за дискотеку...

Михаил будто не замечал, что хозяин кабинета торопится. В густеющих сумерках они стояли у двери, и Кочерженко пришлось напрячься, чтобы вспомнить, где у этого твердолобого правдолюбца уязвимое место. Видимо, своей собственной кандидатурой в состав будущего райкома тот не очень дорожил. ...И вспомнил. И по реакции Сокола понял, что вспомнил правильно.

— Вот что, Михаил, — задушевно сказал Кочерженко. — Если учтешь мои пожелания: во-первых, не касаться стиля и методов работы райкома, во-вторых, не выдвигать своих кандидатур, хотя это, конечно, твое право, — тогда обещаю тебе личную поддержку в деятельности дискотеки. — Здесь Кочерженко выдержал мастерскую паузу, подмигнул заговорщицки. — Дадим ей статус агитационно-пропагандистской группы, а?!

Вечером на репетиции дискотеки Сокол сидел мрачный. Статус агитационно-пропагандистской группы — это, во-первых, машина по первому требованию, может, даже «Рафик» с постоянным водителем, во-вторых, это легальная статья в бюджете... Ведь поначалу группа работала на своей аппаратуре. Скинулись ребята, купили магнитофоны, проектор, усилители — и организовали для райкома дискотеку. Никто ни разу даже не спросил, во сколько это им обошлось. Спасибо, разрешили теперь часть доходов тратить на цветную пленку, проявку, ремонт аппаратуры...

— Как у тебя с выступлением? — спросил кто-то из ребят.

— Я, наверное, не буду выступать, — сказал он. — Или только о дискотеке.

Играла музыка. Зал наполняли делегаты конференции. Поначалу показалось — все незнакомый народ. Но Михаила радостно окликали, хлопали по плечу, и в празднично одухотворенных делегатах при галстуках и в туфлях на шпильках он узнавал запыленных трактористов, загорелых доярок. В фойе столкнулся с Корогодской. «Видишь? — она возбужденно помахала списком кандидатов в члены райкома, где была и его фамилия. — Помни». И Михаил покраснел. Ему вдруг стало мучительно стыдно за то, что он словно торгуется в душе сам с собой, что выгоднее: промолчать с пользой для себя и дискотеки или сказать. Щеки его горели, когда он прошел в зал, сел подальше от сцены и, торопясь, заново стал набрасывать тезисы выступления.

Пока с трибуны широко и свободно, как хорошо разученная песня, лился доклад Корогодской, Михаил помечал в своем списке замечаний с прошлой конференции «выполнено — не выполнено».

Через двадцать минут фамилия Сокола испарится из списка кандидатов в члены райкома.

...В своем выступлении Михаил Сокол сказал о том, что итоги соревнования подводятся в райкоме настолько формально, что одного передового шофера посчитали за тракториста и чуть было не вручили ему именной трактор вместо грузовика. Сказал, что знает колхозы, в которых есть только комсомольские секретари, а комсомольских организаций нет. Повернувшись к президиуму, он спросил Корогодскую прямо с трибуны: коллегиально ли решался вопрос о поездке в ГДР ее мужа по путевке комбайнера Мелкоедова? Корогодская смотрела в зал с задумчивым достоинством. Словно и такого рода вопрос входил в размеренный ритуал конференции. Сокол привел убедительные примеры, доказывающие, что прошедшие два года не явились шагом вперед в деятельности районной комсомольской организации. Никогда раньше работа райкома не оценивалась в таких жестких формулировках. Казалось, вот сейчас ход конференции сломается и начнется разговор по существу. Из президиума прервали: «Товарищ Сокол, ваше время истекло». Из зала крикнули: «Пусть говорит!» «Я заканчиваю, — сказал Михаил. — Мы хотим ликвидировать скуку в сельских домах культуры. Хотим видеть свою организацию сильной, крепкой, единой. Для этого надо избавиться от тех, кто гирей висит у нас на ногах. Нужны лидеры!» И предложил избрать Попову Аллу первым секретарем и членом бюро райкома. «Своей работой, — сказал Михаил, — она доказала способность решать насущные проблемы молодежи».

Соколу шумно поаплодировали... и конференция покатила к своему благополучному концу.

Никто не потребовал слова, чтобы возмутиться услышанным или чтобы поддержать.

Проголосовали. Работу райкома признали удовлетворительной. Корогодской вручили почетную грамоту «За успехи в коммунистическом воспитании молодежи».

Ей тоже поаплодировали.

Михаил уж чуть было не убедил себя, что его собственное выступление ему пригрезилось. Но на другой день начали приниматься «меры».

Сначала от него просто отреклись — посторонний человек.

А как может «посторонний» вести дискотеку? Комнату с аппаратурой срочно опечатали. Ключи срочно отобрали. Отправили ходатайство с просьбой о наказании Сокола по месту работы, и больше Соколом райком не занимался. Заведующая сектором учета Алла Попова — вот кто оказался в центре внимания райкомовцев.

Ход рассуждений был прост, как кирпич. Раз Сокол выдвинул кандидатуру Поповой — наверняка в этом есть какая-то корысть. Несомненно, что «тайные» сведения о жизни райкома Сокол получил от Поповой, и никто иной, как она, «организовала» скандальное выступление. Оставалось только обнаружить (на худой конец — придумать), какие глубинные мотивы двигали Соколом. Новоиспеченный инструктор райкома Галя Бычек, проживающая в общежитии вместе с Аллой, рада была услужить коллективу — родилась и поползла сплетня. «Галя, зачем вы наговариваете на Аллу? — спросил я Бычек, когда разбирался в этом деле. — Что случилось? Говорят, вы раньше были подружками?» «Никогда не были. И вообще я ее не выношу. Курицу нашу съела». «Какую еще курицу?» Оказывается, несколько лет назад Попова из общего холодильника взяла не ту курицу. Ошибка обнаружилась, когда курица уже булькала в кастрюле. «Возьми мою», — уговаривала Алла. Но дело касалось каких-то глуболежащих принципов, и компромисса достичь не удалось. На сторонний взгляд — мелочь, несерьезно. Однако призрак курицы, съеденной три года назад, вполне серьезно витал над моральным обликом Аллы Поповой, когда райкомовцы разбирали ее персональное дело. Перепутанные два года назад подушки стали тяжеловесной уликой в выступлении Наташи Берстеновой. А Вера Чумак поставила Алле в вину дни и вечера, потраченные на дискотеку: «Прежде всего ей нравилось так проводить время...»

Решение райкома было достаточно суровым. За то, что «...в выступлении ведущего дискотеки М. Сокола были высказаны факты, не подлежащие оглашению, завсектором А. Попову освободить от занимаемой должности и объявить ей строгий выговор».

Но тем, кого конкретно критиковал Сокол, этого показалось мало. Они требовали решительно исключить Попову из рядов ВЛКСМ. Даже райкомовский шофер, вспомнив, как Алла два года назад не согласилась выписать магнитофон для машины, тоже стоял на исключении. Вступить за Аллу не отважился никто в райкоме. И только «посторонний» Михаил Сокол бросился ее защищать.

По его письму из обкома и приехала комиссия...

Надо отдать должное в этой ситуации комиссии обкома. Она решительно отmelda в сторону слухи, сплетни, версии и, желая докопаться до истины, пристрастному анализу подвергла... делопроизводство и финансовое хозяйство, которыми ведала Попова, такому же скрупулезному следствию — деятельность дискотеки. Все единодушно признали, что критика на конференции прозвучала справедливая, правдивая, и основательно занялись... критиками. Правда, в пылу проверок и перепроверок как-то незаметно само выступление Сокола отодвинулось на задний план, «случайно затерялась» та основная часть выступления, которая «перечеркивала всю работу райкома», в протокол же тезисы злополучного выступления вошли в такой облегченной форме, что прочтешь и не поймешь, из-за чего разгорелся сыр-бор... Но комиссия соглашалась верить на слово.

критика была справедливой. Мудрые обкомовцы качали головами на горячих райкомовцев: «Попова будет строго наказана не за выступление Сокола,— мягко поправляли они,— а за упущения в делопроизводстве». И никого не смущало, что за месяц до событий работу Поповой ставили в пример остальным райкомам области.

Как быть дальше с дискотекой? «...О дискотеке самые дурные отзывы,— объясняли мне в обкоме,— ее вовремя закрыли». А в протоколе той же конференции говорится о популярности, которой пользуется дискотека, и как важно ее всячески поддерживать и поощрять!

Что же за «дурные отзывы»? «У них там на экране показывают голых мужиков и баб в кустах» — речь, оказывается, о Давиде из программы о Микеланджело и о серии гравюр лауреата Государственной премии Стасиса Красаускаса «Вечно живые». «Они наживались на дискотеке...». Ребятам крупно повезло, у них был аккуратнейший казначей — Лариса Лысенко. Лариса принесла прошитые нитками пачки квитанций из мастерских по ремонту аппаратуры, счетов и чеков за пленку, проявители... С помощью простой арифметики можно было убедиться, что расходы куда больше доходов.

— По традиции у нас были взносы в общую кассу,— робко попыталась объяснить Лариса.— Ведь нужны были деньги на множество мелких расходов. Ну, хотя бы на автобус, если куда возем дискотеку. Это были личные деньги группы, и мы могли их расходовать как угодно. Но у нас все уходило на дискотеку, с самого первого дня, когда сложились и купили аппаратуру, усилители... Мы доверяли друг другу.

Наконец-то прозвучало то, что должно было возгнать райкомовцев в краску: дискотека, которой гордились, достижениями которой отчитывались в победных рапортах, существовала в основном на деньги членов дискотруппы. Но никто не покраснел: «Они же для самих себя старались, хотели, чтоб им самим тоже было весело».

— Доверяй, но проверяй,— назидательно сказали Ларисе.— Вы уверены, что Сокол вас не обманывал?

Робкая Лариса Лысенко «не изменила своих показаний» ни при второй, ни при третьей беседе. Но нашлись те, кто сказал комиссии для протокола нужные слова. Без всякого нажима, просто так, на всякий случай Петр Мелкоедов, по чьей путевке съездил за границу муж Корогодской, сказал, весело оглядывая членов комиссии: «Ну, раз говорят, что Сокол разгласил тайну, то, значит, наказать его следует». Другой парень, которого Сокол предлагал избрать вторым секретарем и которому «порекомендовали» дать самоотвод, при мне, пряча глаза, объяснял мотивы «самоотвода»: жена, дети... Виктор Давиденко, секретарь комсомольского комитета одного из колхозов, выразил свою позицию так: «У Сокола была неразумная критика». «А что значит неразумная?» — не выдержал я. Комсорг поморгал ресницами за толстыми стеклами очков и сформулировал: «Это когда никому не обидно».

Работа комиссии текла как по маслу.

Многие, слишком многие, кто мог не то что защитить, вступить, а просто сказать правду,— заняли выжидательную позицию. Что это? Цепящийся инстинкт самосохранения? Но чего бояться комбайнеру Петру Мелкоедову? Что его, как Попову, исключат из комсомола? Что не посадят на следующей конференции в президиум? Что не по его путевке кто-нибудь поедет в следующую загранпоездку?

Райкомовцы при каждом удобном случае лихо цитировали из Постановления Пленума ЦК ВЛКСМ: «...настойчиво развивать критику и самокритику — действенное средство воспитания комсомольцев, источник боеспособности и силы каждой организации. Ставить на обсуждение комсомольцев наиболее злободневные проблемы, решительно бороться со стремлением сглаживать, обходить острые вопросы, замалчивать имеющиеся в реальной жизни недостатки... Решительно бороться с фактами зажима критики, а также подмены ее необоснованными обвинениями...» Цитировали — и действовали прямо противоположно. Избрали нового секретаря, вручили прежнему почетную грамоту от имени обкома и проводили тов. Корогодскую под аплодисменты — заведовать отделением техникума, воспитывать подрастающее поколение. Впрочем, она, кажется, и сейчас и заведует, и воспитывает... Конференция прошла хорошо. Кого угодно спросите в районе. Да и обком так считает.

— Ты вышел бы снова на трибуну сейчас? — спросил я Михаила на прощанье.

— Да,— сказал он.

— И если бы знал, что все снова повторится?

— Да. Ведь я же прав.

Мне было жаль расставаться с этим человеком, прямым и упрямым, как ветер.

Таких мало.

Да, их мало. Но с каждым часом больше, потому что они наша опора в борьбе за чистоту наших идеалов.

Конечно, я мог рассказать, иллюстрируя эти слова, другую историю. Или придумать к этой истории другой конец, ведь дело случилось вовсе не год назад и в том райкоме работают уже другие люди. Так что мне ничего не стоило бы изменить имена, не назвать город и придумать воодушевляющий финал, в котором бы звучали фанфары и на авансцену выходил раскланиваться под аплодисменты Михаил Сокол — победитель.

Но давайте все же, как бывает при ярком свете, посмотрим друг другу в глаза открыто и вспомним всех поименно: и тех, кто юлил и лгал, прикрываясь обстоятельствами, и тех, кто выходил вот так как Сокол, неосторожно, напрямик, и говорил «нет».

Сокол потом уехал из этого города, как все мы когда-нибудь покидаем один город и обретаем другие. Он уехал и еще долго мы переписывались с ним. И однажды он написал, что не простил бы себе никогда, если б смолчал.

г. Бердянск,
Запорожская область.

ЕЛЕНА АНАНЬЕВА

ТО ВЫСОКОЕ, ПЛАМЕННОЕ, СИЛЬНОЕ...



олго почтенный Левицкий изображал улыбку свободного сердца, задумчивость темных глаз. Многих остановил он счастливою кистью цвет юности и гордость преходящих лет... Служить красоте и надеждою Славы есть двойное торжество художника.— Так писал о Левицком близко знавший его писатель М. Н. Муравьев.

Дмитрий Григорьевич Левицкий. Восемнадцатый век. Два столетия разделяют нас, живущих другими, но все теми же страстями, от вас, проезжающих в неторопливых каретах, мерно прохаживающихся по дворцовым залам в напудренных париках, от вас, кого мы, жители двадцатого века, знаем только по монографиям, портретам, книгам... И тем более странно, что уже в середине XIX века имена Левицкого, Боровиковского, Угрюмова, Лосенко были едва-едва известны или почти забыты. Тогда же, в 1846 году, Кукольник писал: «Произведения их, разбросанные по всей империи, истлели на местах, не дождавшись суда себе даже в потомстве; немногие сохранил случай; еще немного времени, и слава их, достоинства, заслуги показались бы потомству сказками, сложенными горделивым патриотизмом. Надо спешить спасти их от неминуемого забвения». К счастью, спасли...

«Вольноотпущенный портретист» Дмитрий Григорьевич Левицкий родился в 1735 году, а умер уже в другом столетии, в XIX, в 1822-м. Целую эпоху вмещает в себя его жизнь. Галерея портретов, необыкновенных по силе и проникновенности, свежести и воздушности, принадлежит его кисти. Достаточно лишь вспомнить серию «Смолянки», посвященную выпускницам Смольного института.

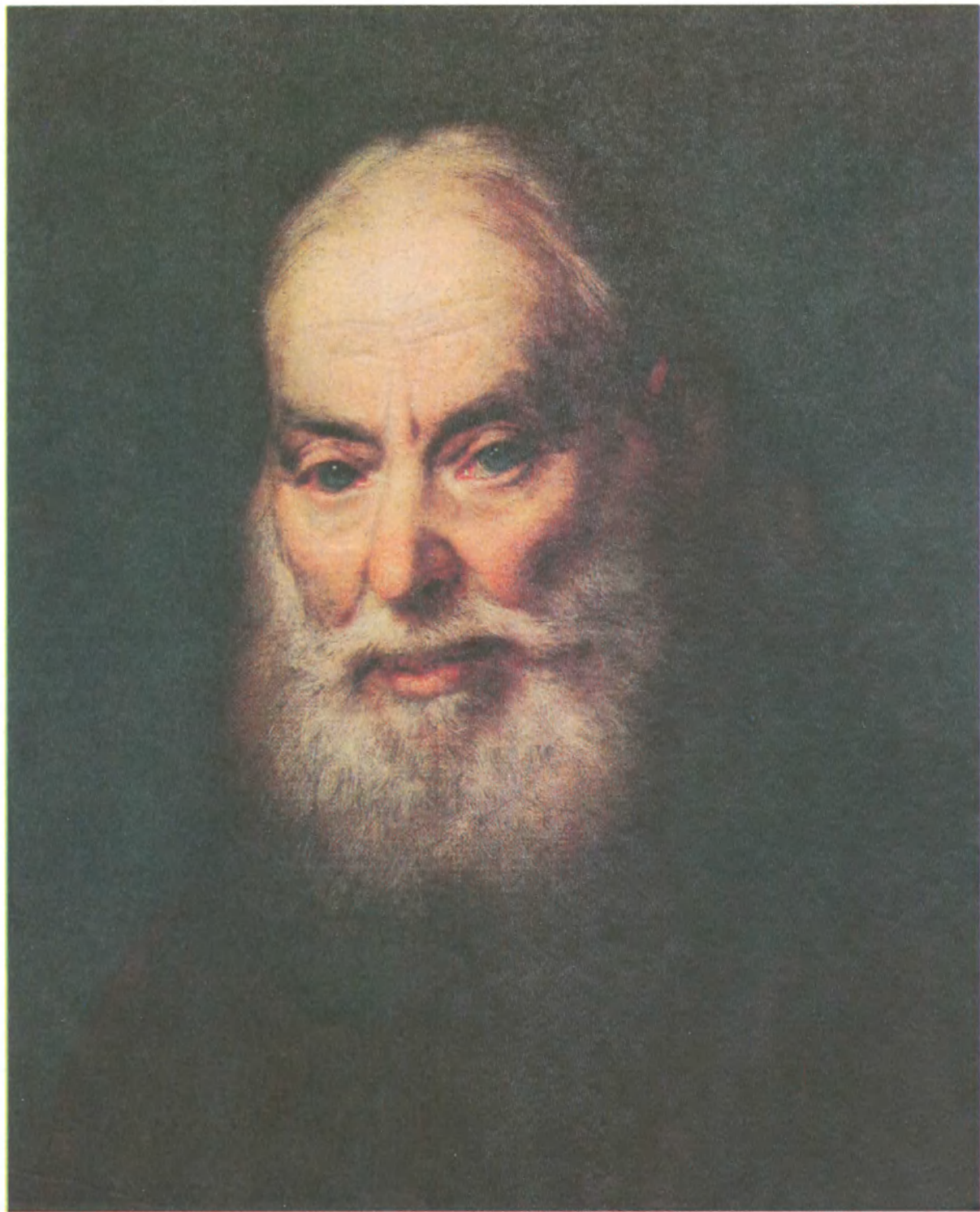
Императрица Екатерина II пожелала иметь ряд портретов лучших воспитанниц. Открытие же Смольного института произошло в первые годы ее царствования — в 1764 году. Екатериной всецело владела идея воспитания в России людей «новой породы», каковыми и должны были стать смолянки. Итак, заказ Левицкому был дан. А выбор моделей, вероятно, подсказан самой Екатериной. Имена «смолянок» — Ф. С. Ржевской и А. М. Давыдовой, Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой, Г. И. Алымовой и, наконец, Е. И. Нелидовой — встречаются так часто в печати XVIII века, что сам собою напрашивается вывод: все они почему-либо сумели завоевать особую симпатию императрицы.

Но вот она — одна из смолянок — знаменитая Нелидова. Да, тут надо заметить, что девицы Смольного славились своим умением превосходно танцевать, порой не хуже, чем профессиональные балерины. «Не нимфы ли богинь пред нами здесь пристали! Иль сами ангелы со небеси сошли Ко обитанию меж смертных на земли, Что взоры и сердца всех зрителей питали» — так несколько наивно и чудачковато звучат сейчас строки, написанные Сумароковым и посвященные смолянкам. Да, но Нелидова... Чистые глаза, нежная, немного задорная улыбка, легко и изящно отодвинутая вперед ножка в жемчужном башмачке — чем не Золушка, впервые очутившаяся на балу, вся в предвкушении чуда, и счастья! Кажется, еще мгновение — и появится прекрасный принц, зазвучит томный клавесин, и она, не прекращая улыбаться, начнет свой менуэт...



Портрет Е. И. Нелидовой. 1773 г.

Из произведений
Дмитрия Григорьевича ЛЕВИЦКОГО
1735—1822 гг.



Портрет священника. 1779 г.

Портрет Урсулы Мнишек. 1782 г.



Портрет
Г. И. Алымовой.
1776 г.



Портрет А. Ф. Кокоринова. 1770 г.

По дошедшим до нас характеристикам Нелидовой, данным ей современниками, Левицкий в своем портрете ни на шаг не отступил от подлинного облика девушки-подростка, не приукрасил ее. Екатерина II, когда девочкам было по двенадцать-тринадцать лет, писала: «Появление на горизонте девицы Нелидовой — феномен, который я приеду наблюдать вблизи, в момент, когда этого менее всего будет ожидать...» А вот писатель Н. М. Долгорукий говорил о ней так: «Девушка умная, но лицом отменно дурна, благородной осанки, но короткого роста, черна как жук...» В литературе вполне справедливо отмечалось родство между обликами смольянок и образом Наташи Ростовской. Это особенно справедливо и точно в отношении портрета Нелидовой. Даже «чернявость» ее, о которой так неслестно отзывался Долгорукий, вполне совпадает с тем, что пишет Толстой о цвете глаз и волос Наташи.

А вот портрет Г. И. Алымовой. Это уже не девочка-подросток, а выпускница Смольного, воспитанная светская дама, вполне готовая, вернее подготовленная, к блестящему существованию при дворе, которое было предназначено смольянкам по окончании института. Отсюда и манерность, и излишняя кокетливость, улыбка, предназначенная всем и никому...

«Этого художника я глубоко уважаю», — писал Крамской о Левицком в письме к Третьякову. А ведь в ту пору считалось, что русское изобразительное искусство есть «послушное эхо всех и каждого». Имелось прежде всего в виду влияние западного искусства на русских художников. Но существовало и другое мнение. Полярность оценок чрезвычайно интересна: с одной стороны — «эхо всех и каждого», а с другой — русские мастера овладели «иноземными средствами техники», благодаря чему сумели «передать мельчайшие оттенки новых на Руси чувств и мыслей, навечных западной образованностью». На какую же сторону переметнуться нам, не искушенным в терниях искусствоведения, созерцателям прекрасного! Какой позиции отдать предпочтение? Думаю, вряд ли необходимо спорить или вести дальнейший разговор на эту немаловажную, впрочем, тему. Гораздо интереснее и поучительнее самим взглянуть в живописные полотна той, такой далекой от нас, теперешних, эпохи, несколько абстрагируясь от искусствоведческих дискуссий. Просто пройти по залам, наслаждаясь красотой, мудростью и светом картин...

Общепризнанно, что наиболее плодотворными в жизни Дмитрия Левицкого были 70-е годы XVIII века [рука сама просится лишний раз подчеркнуть временную удаленность, но неожиданную современность картин Левицкого]. 1769—1770 годы. Левицкий пишет портрет архитектора А. Ф. Кокорина. Именно в этот период времени особенно важной для мастера была работа в Академии художеств. Во главе же Академии стоял Кокорин, человек весьма широких взглядов. Тем более что именно он, Кокорин, возглавлял оппозицию в Академии, оппозицию к верховному руководству одного заведения и к официальному направлению в искусстве. А лучшие педагоги Академии, такие, как Рокотов и Головачевский, Козлов и Левицкий, примыкали к этой оппозиционной группе художников. На протяжении века вести отчаянную, то глухую, то открытую борьбу со всем косным, серым и чахлым, но объединяющимся под сенью официозности и помпезности, — это ли не героизм, это ли не вершина человеческого духа!.. В 1799 году знаменитый архитектор В. И. Баженов так писал об Академии художеств: «...хотя появились прямые и великого духа российские художники, оказавшие свои дарования, но цену им немногие знали и сии розы от терний зависти, либо невежества

заглохли; при этом же признаться должно, что таковых художников было немного, а причина сему та, что мы взялись неосторожно за воспитание несходственное с нравами национальными».

Но портрет, портрет Кокорина! Любоვნю, тщательно и непринужденно молодой художник передает характер и манеры архитектора. Только один взгляд на полотно — и сразу же ясно: Левицкому, безусловно, очень симпатичен, просто бесконечно симпатичен Кокорин. Можно было бы и ничего не знать об этом архитекторе, но, увидев портрет, представить себе его: усталый, умный и немного рассеянный, удрученный бременем существованием, находящийся в некотором смятении человек глядит — глаза в глаза — с полотна. И роскошный, отороченный мехом камзол только подчеркивает эту внутреннюю скорбь. Золото и парча, мех и шелка — это как бы противовес взгляду, который с бесконечной мудростью созерцает нас, понимающих, что для него, Кокорина, значит жить. Но стоит чуть внимательнее взглянуть в картину, и взгляд как бы «припадает» (да и рука Кокорина плавно ведет за собой) к затененным чертам, которые хочется получше рассмотреть и понять. Над чем же работает ныне архитектор, план какого грандиозного сооружения начертан на старинном куске бумаги! Кажется, пристотрись внимательнее, и разберешься, и увидишь, что там, за светотенью, сокрыто от наших излишне любопытных глаз. Но, увы...

И вот в 1779 году Левицкий пишет портрет священника. В XVIII веке изображение стариков уже не обладало такой необычайной популярностью, как в XVII, но все же еще привлекало внимание художников. Но даже если и привлекало, то особое внимание фиксировалось на чисто внешних проявлениях старости — морщины, лысына, беззубый рот... Это в Европе. А вот в России в том, XVIII веке среди художников, напротив, наблюдалась вроде бы даже нарочитая склонность к изображению стариков. Вероятно, именно поэтому так часто — в прошлом веке — этот портрет прямо-таки усиленно сближали с портретами Рембрандта. Но все-таки, все-таки Левицкий попытался, вдохновленный, по всей вероятности, работами Рембрандта [тем более что в Петербурге имелись полотна великого голландца, например в Эрмитаже — «Портрет старика в красном»], нарушить традицию в русском искусстве портрета, то есть стереть некоторую ограниченность в психологической характеристике человеческой природы и привести момент глубокого проникновения в прожитую, уже прошедшую жизнь. Поэтому портрет священника Левицкого — это серьезные философские раздумья художника о судьбах человеческих, о прошлом и будущем. Едва заметная усмешка таится в углах его рта — мол, я прожил свою жизнь, как мог, вроде бы достойно, а вот, как вы, молодые, полные силы и еще не растраченной энергии, сможете ее прожить! Вечный вопрос, вечная загадка, которая решается из века в век, из поколения в поколение. А ответ...

«В превосходных лириках всякое слово есть мысль, всякая мысль картина, всякая картина чувство, всякое чувство выражение, то высокое, то пламенное, то сильное или особую окраску и приятность в себе имеющее...» — писал в конце жизни Державин. И это, думаю, в полной мере должно отнести к творчеству Дмитрия Григорьевича Левицкого.

БОРИС
МИРОНОВ



«И ВСЕ-ТАКИ Я ПРАВА...»

История, о которой я хочу рассказать, случилась в Красноярском крае минувшей зимой. Только ту девушку, героиню моего очерка, комсомольского секретаря совхоза «Заветы Ильича», зовут не Людочкой Барковой.

Фамилию ее я изменил, потому что в приключившейся с ней истории, как мне показалось, виновата вовсе не одна она. Подобный прямолинейный подход к комсомольской работе я замечал и ранее, в других местах и у иных людей.

Многих из них отличало особое щегольство в показушных мероприятиях, когда организаторов заботило только одно: единственное — лишь бы их усердие было замечено вышестоящими.

Так повседневная необходимая деятельность подменялась чередой «мероприятий». Сейчас, в канун XX комсомольского съезда, особенно важным кажется вынести на обсуждение вопросы деловитости и эффективности работы комсомола.



Людочка Баркова, секретарь комитета комсомола совхоза «Заветы Ильича», допоздна засиделась в правлении, где у нее был свой кабинет, просторная угловая комната на первом этаже. Красивым и уютным кабинет делали два больших бархатных переходящих Красных знамени — развернутые полотнища ковром покрывали стену, около которой стоял громоздкий двухтумбовый письменный стол. Людочка собирала сегодня всех членов совхозного комитета комсомола, чтобы утвердить план работы на предстоящий месяц и основные перспективные мероприятия на четвертый квартал. После заседания Людочка осталась в кабинете, чтобы оформить протокол, она любила делать это сразу, не откладывая на следующий день, и аккуратно перепечатала на машинке намеченный план мероприятий для отправки в райком. Машинистке в таких делах Людочка не доверяла, ей казалось, что машинистка делает это небрежно. Тщательность, с какой Людочка всегда оформляла документацию и которая не раз ставилась в пример другим секретарям на учебе в райкоме комсомола, требовала, конечно же, немало времени.

Когда Людочка вышла на улицу, она увидела у крыльца правления директорский «уазик» и посмотрела на второй этаж. Четыре угловых окна подкопаевского кабинета ярко горели в ночи. Хотела было вернуться, чтобы попросить у Подкопаева машину доехать до дома, да вовремя спохватилась, что всю уборочную директор сам за рулем, шофера он отослал работать на комбайне.

Идти Людочке было минут семь-восемь спокойным шагом. Коротким проулком от правления она вышла на свою улицу и сразу же разглядела около дома трактор. «Как рано сегодня», — обрадованно подумала о муже. Все дни, с самого начала уборочной страды, Василий возвращался домой так поздно, что она уже крепко спала, не слыша, ни как муж подъезжает к дому, ни как моется, ужинает.

Людочка подбежала к калитке, осторожно, успокаивая сбившееся во время бега дыхание, потянула веревочку с тяжелой щеколдой, а когда калитка открылась, она рукой придержала металлическую пластину с приваренным для веревочки ушком, чтобы та не громыхнула, как обычно, не выдала ее. На цыпочках Людочка пробежала по двору, поднялась на крыльцо, тихоонько приоткрыла дверь в сени, проскользнула в нее и, в темноте — свет в сенях не стала зажигать — нащупав дверь в дом, поскребла ногтями по обшивке двери. Ждала, когда Василий, услышав ее царапанье, грозно крикнет: «Кто скребется в дверь ко мне?!» Тогда она приоткроет дверь и пропищит в образовавшуюся щель: «Это я, мышка-норушка. А сам ты кто?» Василий зарычит: «Муж твой, Василий!» Тогда она распахнет настежь дверь и заверещит звонко: «Кто в доме хозяин?!» Василий падет перед ней на колени: «Смилуйся, государыня-рыбка!» Потом обхватит за ноги и поднимет ее к самому потолку. Давнишня радость утеха.

Но Василий почему-то не откликнулся. Может, не слышал? Людочка сильнее поскребла по мешковине и для верности быть услышанной еще и стукнула чуть по дверной ручке. Но в доме по-прежнему было тихо. Людочка сразу обиделась на Василия, ей

сделалось грустно до слез. Она открыла дверь. Василий стоял к ней спиной, жарил на плитке картошку и даже не оглянулся.

— Ты что, оглох? Я там царапаюсь, стучу...

— Не заперто, — Василий был сердит. Людочка сразу поняла, почему: не приготовлен ужин. Она быстро скинула плащ, повязалась фартуком, сполоснула руки под умывальником, открыла буфет:

— Сейчас мы быстренько чего-нибудь организуем. Есть частичка в томате, а может, тушенку откроем?

— У нас что, мяса нет будто, все время на консервах живем? — отозвался Василий.

— Да ну его, мясо, с ним сколько провозишься, давай тушенку, а завтра попрошу маму сготовить борщ.

Поежинали молча. Василий от чая отказался, выпил молока и пошел спать. Людмила сполоснула посуду, ее было немного: тарелки она не доставала, ели прямо со сковороды. Когда вошла в спальню, Василий лежал на кровати, отвернувшись лицом к стене.

— Мы факельное шествие организуем, как в райо- не было — красиво! — хоть и не хотела Людмила разговаривать с Василием, чего он дуется, подума- ешь, мяса ему захотелось, она тоже не на гулянке была, комитет комсомола проводила, все же не вы- терпела, похвасталась.

— Чего? — удивился Василий, поворотившись к жене.

— Чего-чего, — передразнила Людочка, к ней возвращалось хорошее настроение. — Факельное шествие будет. Сначала на площади устроим митинг, примем петицию мира, ну, воззвание такое, а потом пройдем по поселку с факелами.

— Только солару переводить, — хмыкнул Василий и снова отвернулся к стене. — Давай спать, мне в четьре уже выезжать.

— Тебе бы только спать, — обиделась Людочка. Идея с факелами была ее, и она, эта прекрасная идея, очень ей нравилась. Василий промолчал, и Людочка, вконец разобидевшись, добавила: — Су- рок!

Василий снова промолчал. Похоже было, он спал.

Утром Людочка забежала к матери провести дочку. Последний месяц она жила у родителей. Дочка еще спала. Попили чай на кухне. Людочка попросила мать сготовить им борщ и побегала в правление. Был четверг. Предстояло везти сводку о ходе уборочной в райком комсомола.

В плановом отделе — длинной и узкой комнате, тесно заставленной столами, — Людочке дали бумажные простыни сводок. Она стала аккуратно выписывать себе в блокнот фамилии механизаторов-комсомольцев и у кого какая выработка на уборке. Некоторые цифры в сводках были проставлены карандашом, другие — шариковой ручкой, встречались фамилии с двумя цифрами — и ручкой, и карандашом. Людочка тяжело вздохнула.

— Опять я запуталась, Нина Александровна, — пожаловалась она начальнику отдела Скоробогатовой. — Ничего не пойму в вашей бухгалтерии.

Нина Александровна поверх очков посмотрела на Людочку, перевела взгляд на плановика Тамару Кулакову, бывшую Людочкину одноклассницу.

— Тамара, помоги.

— Помоги, помоги, — заворчала Тамара, нехотя вылезая из-за своего маленького стола. — Мне что, больше делать нечего?

— Это для райкома, ты же знаешь, — строго оборвала ее нытье Людочка. — Значит так: вот сюда —

молодых механизаторов, сюда — каждого резуль- тат...

— Да знаю я, — отмахнулась Тамара. — Каждый раз одно и то же. Только не могу понять, зачем вся эта бюрократия. Мы же постоянно передаем сводки в сельхозуправление, пусть бы они и брали оттуда.

— Ну, знаешь, — возмутилась Людочка, — ты еще райком учить будешь. Что так мало? — показала она на строчку в сводке.

— У кого там мало, Тамара? — подняла голову от бумаг Скоробогатова.

— У Диденко, у кого ж еще, опять на ремонте. Издеваются над парнем, как хотят, бессловесный, вот и ездят на нем.

— Действительно, Люда, — согласилась с Кулаковой начальник отдела. — Ты бы как секретарь вме- шалась. Ведь хороший парень, мастеровой, но не ла- ется с ними, вот и подсовывают ему, что другие не берут. Не работа у него — сплошной ремонт...

— Ты его не пиши, — сказала Людочка. — Карти- ну портит.

— Как знаешь, — пожалала плечами Тамара. — А то, что парню жизнь портят, это никого не интересует.

Тамара не переставала ворчать, но дело свое она знала, и сводка скоро была готова. От благодар- ности Людочкиной Тамара отмахнулась:

— Да какой толк от ваших бумаг.

Выйди Людочка из планового отдела минутой поз- же, точно бы разминувшись с директором совхоза. Подкопаев куда-то спешил.

— Иван Алексеевич, — бросилась догонять его Лю- дочка, — мне надо сводку в райком везти.

— Да? — удивился директор. Он думал о чем-то своем.

— Ну да, — подтвердила Людочка. — Сегодня же четверг!

— Как же быть, — вздохнул Подкопаев. — Где ж ты раньше была, до селекторной? Сейчас все маши- ны уже в разгоне. Не знаю даже, на чем тебя от- править. Может, завтра, а? — с надеждой спросил он. — Завтра главный бухгалтер с утра поедет в банк и ты с ним, а?

— Ива-ан Алексеевич, — с укоризной протянула Людочка, — ведь четве-ерг, говорю же вам.

— Да понимаю, что не вторник. Но нет машин, ты тоже пойми.

— Что ж мне теперь прикажете в райком звонить, говорить, что в совхозе нет машин, поэтому не мо- гу приехать, — усмехнулась Людочка.

— Ладно, пойдем что-нибудь придумаем. — Подко- паев вернулся в кабинет, прошел к селектору.

— Слушаю, Иван Алексеевич, — отозвалась дис- петчерская.

— Петрович у тебя, Марья Николаевна?

— У меня. Он сейчас с Новиковой выезжает.

— Новикову давай ко мне. А Петровича отпра- вляй в район. С Барковой поедет. Сводку повезет.

— Все, давай езжай, — повернулся директор к Лю- дочке. — Только побыстрее, пожалуйста, машина нужна.

Людочка передернула плечиками.

— Я лично, Иван Алексеевич, могу вообще не ехать, что вы меня торопите. Я от себя не завишу, как райком распорядится, сами знаете...

Договорить Людочка не успела, дверь распахну- лась, на пороге стояла Зоя Новикова, маленькая, под- вижная, загорелая.

— Иван Алексеевич, — кинулась она к директо- ру. — Как же я без машины? Сами же торопите с паспортизацией полей. Мы ж такими темпами до морковкина заговенья не управимся. Работы-то сколько!

— Все, Зоя Михайловна, знаю и за паспортизацию строго спросу. Но ей вот в райком надо,— поморщился Подкопаев.

— Там ждать не будут,— вставила Людочка.

— Носитесь с бумажками туда-сюда,— рассердилась Зоя.

— Ладно вам. Надо, значит, надо. До второго отделения доберешься на попутках,— распорядился Подкопаев.— Там что-нибудь придумаем. Не теряй времени.

Зоя хлопнула дверью.

Заведующий отделом рабочей и сельской молодежи райкома комсомола Валерий Иванович Колесниченко, небольшого роста, худенький, как всегда, с аккуратно зачесанной длинной прядью белесых волос поперек широкой лысины, быстро просмотрев сводки, с удовольствием потер руки:

— Молодец, Баркова! Просто молодчина! Хорошо работаешь. Смотри, какие результаты, а! Такие и в область не стыдно передавать. Готовь характеристики, будем ваших механизаторов поощрять. Тебя тоже, но это уже наша работа. Ты давай теперь жми на безнарядные звенья. Вчера был в обкоме на совещании, о безнарядных звеньях первый говорил, просил уделить особое внимание. Ты это учти.

Бумаги Колесниченко вернул Людочке:

— Отдай в общий отдел, пусть подошьют. Значит, безнарядные звенья, понятно? — уточнил он.— Жми. Райком на тебя надеется.

В общем отделе никого не было. Людочка посидела на стуле, подождала. Потом заглянула в приемную, секретарши Елены Васильевны на месте тоже не было. Людочка вернулась в общий отдел и стала терпеливо дожидаться. Ждала она долго. Наконец, в коридоре послышались веселые голоса. Вошла Оля Митюшова:

— А, привет! Давно ждешь? — Не дожидаясь ответа, похвалилась: — Представляешь, финскую смесь выкинули — малина со сливками. Такую и в Москве не достанешь. Хорошо, нам из продторга девчонки звякнули, ну, мы и прискакали, думали первыми будем, да где там, райисполкомовские уж тут как тут, хватают целыми упаковками. Но главное досталось, верно? Ты на машине? Заскочи. Вдруг повезет. Хотя,— махнула она рукой,— где там, берут целыми упаковками. Еле дотащила.

Людочка в магазин заехала. Конечно, никакой малиной со сливками там уже и не пахло. Лучше бы она вовсе не заезжала в магазин — только расстроилась. Одно утешение, что в соседнем промтоварном магазине встретила Ингу Братушеву, с которой вместе заканчивала музыкальное училище. Инга теперь в райфо работает, она-то и шепнула Людочке, что на следующей неделе будут «Малютки». Маленькую стиральную машину Людочка давно хотела.

Три недели ушли на подготовку манифестации. Писали транспаранты, добывали прожекторы, красили облупившуюся трибуну, договаривались с пожарниками, без них, оказывается, нельзя проводить факельное шествие. Несколько раз пришлось ездить в район утверждать текст «Обращения молодых хлеборобов и животноводов совхоза «Заветы Ильича» ко всем юношам и девушкам». Людочке так хотелось, чтобы это было обращение ко всем юношам и девушкам планеты, но «планету» ей вычеркнули сразу, тогда она поставила «страны», и это вычеркнули, сказали, что в таком случае текст надо утверждать в области, а то и в самой Москве, и, конечно, репетировали, репетировали, особенно две последние недели перед манифестацией, репетировали с утра до вечера.

Все осложняла уборочная. В другое время не было бы столько проблем и трудностей с машинами, людьми. Уж на что директор всегда помогал, поддерживал Людочку, но и тот не выдержал, вспыхнул: «Вот уберемся, манифестуйте хоть всю зиму!»

Людочка пожаловалась в райком комсомола. Как там дальше дело было, она не знает, только секретарю парткома позвонили из райкома партии. Партком тут же принял решение о проведении манифестации. Подкопаев махнул рукой: «Делайте что хотите». Но на планерке распорядился, чтобы главные специалисты помогли Людочке в подготовке манифестации. Иначе она бы еще месяц провозилась.

Зато какая получилась манифестация! Особенно в конце, когда вспыхнула и загорела жарко нейтронная бомба — марья, окрашенная в черный цвет, натянутая на проволочный каркас и смоченная бензином, — а прожекторы высветили огромное солнце, нарисованное на заднике трибуны и до этой минуты скрытое белой марлей, и все хором скандировали: «Миру — мир! Миру — мир!» Не зря столько репетировали. Жалко, голубей не было видно в ночном небе. Зато факелы горели хорошо — всем очень понравилось. Сам Хмелевский, первый секретарь райкома комсомола, пожал Людочке руку и поднял в знак одобрения большой палец. А заведующая орготделом Людмила Ивановна Исаева даже расцеловала Людочку. Мы, говорит, теперь твой опыт для всех комсомольских организаций района разноможим.

Людочка домой как на крыльях летела. А тут и Василий вернулся. Последние дни они всем звеном жили прямо на отделении. Директор попросил их убрать большой клин зеленой массы, иначе он уходил под снег, всю бы зиму потом икалось. «Спасете», — сказал директор, — заплачу сполна, как за выращенное вами». Вот они и работали круглые сутки, зато управились.

Перескакивая с пятого на десятое, Людочка взахлеб рассказывала, как было здорово, как она читала Обращение, как ярко горела нейтронная бомба, как хорошо, эмоционально, так что многие прослезились, выступал Долгушин, был он при всех орденах, медалях, и ордена эти во время его выступления так хорошо, торжественно и музыкально позванивали, ну прямо как специально. Под конец восторженного путаного рассказа Людочка все же не удержалась, попрекнула Василия:

— Мог и пораньше сегодня приехать. Ничего бы не случилось. А такое, как сегодня, может, раз в десять лет, а то и больше бывает.

— Ага,— кивнул Василий,— а вы бы с Хмелевским за нас убрали, да?

— Ну, знаешь... — вспыхнула было Людочка, но так не хотелось ей ссориться в такой счастливый день, что она сдержалась высказать все, что думает об иронии Василия, и закончила вполне миролюбиво, — не хлебом единым жив человек, вот!

— Ага,— снова кивнул Василий,— не покорми вас раз-другой, посмотрю, как вы замитингуете.

— Васенька, но нельзя же быть таким скучным, надо уметь радоваться!

— Вам чего не радоваться. В ладушки поиграли и довольны.

— В ладушки?! — вспыхнула Людочка.— Да что ты понимаешь в этих ладушках, это же ответственнойшее политическое мероприятие. Из района машин пять приехало, не меньше.

— Ага, напугали Рейтана, аж трясется, бедный. — Да ты, ты жук названный после этого.— Людочка задыхнулась от возмущения и разревелась. Плакала по-девчоночьи, кулачками вытирая глаза. Василий растерялся, подошел к жене, обнял.

— Ну ладно, чего ты. Ну дурак я, ну пошутил

глупо. Со злости это я. Понимаешь, вкалываем вкалываем, а урожайность, вишь, не дотянули Они там меряют поля как им вздумается. Знали бы, с этим звеном не связывались.

— С каким звеном? — сквозь слезы спросила Людочка.

— Как с каким, с безнравным. Сулили золотые горы, а на деле... Ну их, что хотят, то и делают.

— Безнравные звенья — это сегодня очень важно, — вспомнила Людочка разговор в райкоме.

— А, — Василий распахнулся, — говорить вы все мастера, а как до дела дойдет, концов не сыщешь.

Устали люди. Подкопаев это видел и чувствовал, но, всматриваясь в лица собирающихся у него на планерку главных специалистов, управляющих отделениями, бригадиров, он радовался, что не видит скучных, раздраженных, недовольных лиц. Все приветливо здоровались друг с другом, шутили, никто ни от кого не отворачивался. А ведь Подкопаев еще хорошо помнил, как прежде каждое совещание, каждая планерка превращались в многочасовые шумные, обидчивые претензии друг к другу, когда каждый норовил указать на ошибки другого, в соседе видел причину бед. Теперь, когда благополучие каждого из них зависело от конечного итога работы всего хозяйства, взаимная помощь и поддержка объединяли этих людей. Еще не отстрадовали до конца, но они уже чувствовали свою победу. Как ни капризничала нынче погода, они оказались мастеровитее, чем прежде, добились того, чего хотели, — полумиллиона рублей прибыли.

— Включите там кто-нибудь свет, — попросил Подкопаев. — Чего сумерничать, вроде не стыдно в глаза друг друга смотреть. И давайте побыстрее, рассусоливать особо не о чем, каждый знает свой маневр. Коротко: что кому мешает, кому какая помощь нужна? Урожай достался очень трудно, сейчас задача его сберечь. Поленемся перепроверить лишний раз — можем махом свести на нет все труды. Давайте по порядку: как идет закладка кормов?..

Людочка Баркова сидела у широкого окна — традиционное место главных специалистов хозяйства, между главным инженером и главным зоотехником. Она не слушала, о чем говорят в кабинете, думала о своем выступлении, что и как она скажет. Ей хотелось сказать спокойно, уверенно — солидно. Ее обижало несерьезное, всякий раз с шуточками, улыбками отношение присутствующих на планерке к тому, что она говорит. И вот это обращение «Людочка», когда-то так нравившееся ей, стало ее задевать. Привыкли с девочек звать, успокаивала она себя прежде, теперь это утешение не помогало. Ведь вот та же Зойка Новикова — кто она? — просто агроном, не главный, а Зюнькой никто не зовет, все обращаются к ней уважительно — Зоя Михайловна. Хотя в школе, когда Людмила была секретарем комитета комсомола, про эту Зою Михайловну никто и знать не знал. Возилась она себе с пионерами на пришкольном участке и возилась. А Люда даже однажды в президиум в клубе избрали, сидела рядом с директором совхоза (тогда еще Погодаев был) и директором школы, и о ней, Людочке, говорили в докладе, что школьная комсомольская организация, которую она возглавляет, расчит в своих ученических полеводческих бригадах достойную смену хлеборобам. Правда, и Новикову тогда назвали как лучшего бригадира школьной ученической бригады в районе, чего-то они там много вырастили, точно Люда не помнит, она и тогда не шибко вникала, чего они там копаются, но если Людочку в докладе ди-

ректор совхоза называл несколько раз и полным именем и фамилией, то Новикову всего лишь один раз и только по фамилии. И подарок совхоза за высокий урожай, выращенный ученической бригадой, — большой магнитофон с двумя приставками — директор вручил Людмиле. Не сам магнитофон, конечно, его вынесли на сцену и поставили рабочие, а паспорт магнитофона, цветы и грамоту. Ей, не Зюньке.

Люда до сих пор жалеет, что не настояла на своем и позволила ввести в комитет Новикову, но это так, до первых перевыборов. Одного случая с манифестацией ей хватит, чтоб духу Новиковой в комитете не было. Это ж надо додуматься так сказать: «А зачем нам вообще манифестация?» Людочка зачитывала тогда план работы на месяц и даже растерялась, не сразу нашлась, что ответить: «Как за чем?» В комнате, где заседал комитет, сделалось тихо. «Ну, кого мы будем агитировать за мир, — как ни в чем не бывало продолжала Новикова. — У нас и так в поселке все за мир, еще никто не говорил, что он за войну». Это ж надо такое говорить человеку с высшим образованием! Да скажи кто подобное в музучилище, где Людмила тоже была комсомольским секретарем, в два счета бы вылетел из училища. «Это политическая близорукость, — отчеканила Людмила. В комнате стало еще тише. — Явное недомыслие момента. Мы должны показать перед Западом свое единство в борьбе за мир». «Да как же Запад увидит нас, к нам что, иностранные корреспонденты приедут? — засмеялась Зоя. — Что ж ты раньше не предупредила, а то я без прически». — И она весело помотала стриженной головой. Кто-то засмеялся, но Люда так взглянула — мигом восстановилась тишина. «Мне кажется, — сухо сказала она, — что подобные смешки и разговоры компрометируют важнейшую форму идеологического воспитания молодежи и неуместны для члена комитета комсомола, специалиста нашего хозяйства. Западных корреспондентов действительно не будет, а вот товарищи из райкома комсомола обещали приехать, может, даже первый секретарь райкома комсомола Виктор Георгиевич Хмелевский будет». Когда же Новикова отказалась готовить к манифестации венки из колосьев для почетных гостей из района, Людмила пошла к директору совхоза. После этого Зоя венки сделала и на манифестации была как миленькая, ни на какую там подготовку карты полей уже не ссылалась...

На планерке Людочка собиралась сказать о звене кукурузоводов, в котором работал Василий и которое по вине агронома, неправильно обмерившего поле, не достигло заданной урожайности. В результате комсомольско-молодежный коллектив механизаторов не справился со своими социалистическими обязательствами, что, конечно же, не украшает лицо всего совхоза, а бросает, может быть, даже тень на репутацию всей районной организации. Так будет ладно сказать, думала Людочка, в который раз проговаривая дома продуманный текст. Людочка знала, что обмер кукурузного поля делала Зоя Новикова, и ей хотелось, чтобы все поняли, кто тут главный виновник всего случившегося.

— Понимаю, что все устали, но давайте еще пару недель не дадим себе расслабиться. — Подкопаев заканчивал планерку, когда Людмила попросила слова.

— Что, опять митинговать? — засмеялся Подкопаев, но, увидев, как свела брови, сжала тонкие губы Людмила, сменил тон. — Да нет, Людочка, ты у нас молодец, прекрасную манифестацию организовала, мне тут из райкома партии звонили.

— Я не о манифестации, Иван Алексеевич. Все мы хорошо знаем, какое большое внимание

уделяется сейчас работе безнравственных звеньев, особенно молодежных. На районных активах не раз подчеркивалось, что для молодых механизаторов, полеводов, животноводов безнравственные звенья — это не только хорошая трудовая школа, но важный резерв коммунистического, сознательного отношения к труду...

— Ну, нас-то, Людочка, я думаю, не надо агитировать за безнравство, мы их, если я не ошибаюсь, одними из первых в районе ввели у себя, — перебил Людочку директор.

— Я и не агитирую, Иван Алексеевич, я просто хочу отметить, какая это важная сегодня форма работы, но как казенным равнодушием к безнравственным звеньям можно дискредитировать это важное начинание.

— А поконкретней нельзя? — крикнул Поволяев. Механик, конечно же, сидел рядом с Новиковой, что-то веселое рассказывал, та хихикала.

— Можно и поконкретней, — сухо ответила Людочка.

— Хорошо бы, — поддержал дружка сидящий по другую сторону от Зои Каргин.

«Спелись, голубчики», — подумала Людочка.

— Тише, товарищи, — попросил директор. — Продолжай, Людочка.

— Комсомольско-молодежное звено кукурузоводов обратилось в комитет комсомола с жалобой на неправильно проведенный обмер поля, — Людочка хорошо видела, как покраснелась разом Зоя Новикова, не до смеха стало, — что в конечном результате привело к неправильному расчету средней урожайности. Подобная практика работы бьет по рукам молодых механизаторов, порождает апатию, сеет в них равнодушие, отбивает желание трудиться с огоньком.

— Надо будет перемерить поле, Зоя Михайловна, — поднял голову Иван Алексеевич.

— Да неправда это! — вскопчила Зоя. — Нет там никакой ошибки. Мы это поле дважды перемеряли, при заключении договора с бригадой, и вот недавно, при паспортизации.

— Коля есть сигнал, надо проверить, — повторил Подкопаев.

— Да какой там сигнал! — вступился за Зою Поволяев. «Точно, спелись», — утвердилась Людочка. — Ну, ты у меня походишь за характеристикой, ишь в Болгарии ему захотелось!» — Васька небось ей сказал. Он же в этом звене работает.

— Не важно, кто сказал, есть сигнал, надо проверить, зачем лишние разговоры, — осадил Поволяева директор. — Если вопросов больше нет, заканчиваем. Я завтра весь день в хозяйстве. Связь, как обычно, через диспетчерскую. Немножко еще не поспим, зимой отдышимся.

На крыльце Сережа Поволяев шутиливо приобнял Людочку:

— Ну, Людочка, ты у нас неутомима. С поджигателями войны покончила, теперь за совхозных специалистов взялась.

Людочка с силой его оттолкнула.

— Я, к вашему сведению, такой же специалист, как вы.

— Не-е, — протянул Сергей, — ты у нас главный.

— Оклад у нее главный, — бросила Зоя.

— Не я его себе назначала, — отпаривала Людочка. — За красивые глазки у нас еще никому не платят.

— За язык хорошо платят. — Зоя сбегала с крыльца. Поволяев бросился ее догонять.

Чуть не сбив Людочку с ног, выскочил из дверей Каргин, его задержал директор. И этот туда же, за Новиковой, и чего они в ней нашли, с неприязнью

подумала Людочка, ведь никакой женственности, духами не пахнет, никогда не покрасится, ресницы давно выгорели, не замечает, одно только, что джинсы напялила.

Утро выдалось по-настоящему зимним, повсюду лежал снег. Ветер пробирал до костей. Людочка продрогла, пока бежала до правления. Хоть и надела зимние сапоги, теплое зимнее пальто, но так замерзлась за какие-то считанные минуты, что первым делом включила у себя в комнате обогреватель, хотя широкие трубы центрального отопления, протянувшиеся вдоль стены кабинета, были горячими — не притронешься.

Людочка вскипятила чай, и скоро в тепле и ярком свете почувствовала такой уют, что расхотелось выходить на улицу и бежать через площадь в школу — проверять ведомости уплаты комсомольских взносов. Она позвонила в школу и договорилась, что все ведомости ей принесут вместе с остальными документами в правление.

Людочка уже заканчивала их просматривать, когда заглянула секретарь директора Нина Андреева и сказала, что вызывает Иван Алексеевич.

Директор был не один. Засунув руки под мышки, опершись на горячую батарею, стояла Зоя Новикова и рассказывала Ивану Алексеевичу:

— Крыша, ну насквозь худая, из нее так и свищет прямо. Ягняшки сбились в кучу, бедные, с места не стронешь, ну и пришлось таскать их на руках. — Увидев входящую Людочку, Зоя смолкла на полуслове.

— Я тебя что позвал, Люда, — обратился к Барковой Подкопаев, — Зоя Михайловна вот только что с поля вернулась, так что можешь передать своим подзащитным: ничего в расчетах не напутано, поле у них меряно нормально, ошибки нет.

Сухой, как показалось Людочке, тон директора задел ее.

— У меня нет никаких подзащитных, Иван Алексеевич, если ко мне обращаются комсомольцы, то я как секретарь комитета комсомола имею право..

— Ну, все, все, Людочка, — прервал ее директор, — будем считать вопрос исчерпанным. За «подзащитных» не обижайся. Мужики, ведь они могли бы и прямо ко мне зайти, выяснить, а не искать посредников.

— Я еще раз хочу сказать, Иван Алексеевич, — начала было Людочка, но директор снова прервал:

— Все, хватит об этом.

— А я не уверена, что все, — последнее слово Людочка выделила особо. Директор и Зоя Новикова с удивлением посмотрели на нее.

— Не понял, что ты имеешь в виду? — спросил Подкопаев.

— Я не уверена, что при перемерке поля кто-то не захотел признать собственной ошибки, — четко произнесла Людочка.

— Ну, знаешь! — вскрикнула Зоя.

— Подождите, Зоя Михайловна, — остановил ее директор.

— Что подождите, что подождите, Иван Алексеевич, — Зоя всхлинула, — мы там намерзлись, а эта сидит здесь и выдумывает. Надо было с нами ехать, а нечего на нас собак вешать, — красной ладошкой Зоя вытирала слезы. — Потакаете ей во всем, вот она и взяла волю.

— Каждый выполняет свою работу, только надо выполнять ее честно. И если ваши специалисты в совхозе не считают нужным прислушиваться к мнению других, то надо еще разобрататься, на своих ли они местах, — отбарабанила Людочка.

— Ты, Баркова, действительно палку-то не шибко перегибай, судить о специалистах оставь мне. У тебя есть свои дела, ими и занимайся. Все Иди.

— Это тоже мое дело.— Людмила вышла не прощаясь.

Василий был дома. Сидел у печки, строгал лучины.

— Новикова перемеривала поле, говорит, все правильно,— прямо с порога, не раздеваясь, высказала Людочка мужу.

— Да знаю,— протянул Василий.— Федор ездил с ними.

— Ну, и что скажешь?

— А чего, правильно так правильно, почему я знаю? Они что захотят, то и сделают.

— А вы что, барашки, что ли, нельзя же такими бессловесными быть. Федор был, он звеньевой, он же должен был проследить, как меряют, правильно ли, нет.

— Да ну их,— Василий распрямился, закинул руки за голову, потянулся,— все равно ничего не докажешь, что захотят, то и сделают, наше дело телячье,— поел и в стойло. Давай обедать. Теща тут щец наварила— слюной истек.

— Ну нельзя же так,— вконец рассердилась Люда.— Надо хоть чуточку уважения к себе иметь, не давать, чтоб тобой как хотели, так и помыкали. Если уверен в собственной правоте — борись, доказывай.

— Борис, доказывай! — передразнил жену Василий.— Много ты над доказываешь. Вот смотри. Мы ведь под кукурузу не пахали, не сеяли ее, не обрабатывали, только убрали. А рассчитали нам за нее сполна, как будто мы ее целиком выращивали. Выходит, когда их поджало, зима на пятки жмет, они быстро денежки нашли. Значит, в принципе нельзя, но когда очень хочется, то можно. Короче, что хочешь, то и ворочу. И не лезь ты в это дело, сам черт не разберется в ихних бумажках. Мы, когда договор заключали, в ужас пришли, сколько там этих всяких цифр и бумажек. Так что не порть себе нервную систему, есть у тебя дело, им и занимайся.

— Вы что как сговорились,— Люда недобро сощурилась,— то Подкопаев, теперь ты носом в мое место тычете?

— Да я что, я просто сказал,— пошел на попятную Василий. Но Люде было уже не остановиться.

— А вы знаете мое место, где оно? Вечера отдыха проводить, да? Конкурсы песен устраивать? И все, что ли? Ошибаетесь! Пока митинги, вечера, собрания, слеты проводила — Людочка, Людочка — все миленькие, хорошенькие, добренькие, а как Люда за дело взялась, так ей сразу на шесток указывают — знай свое место. Не на ту напали, ошибаетесь!

Выплеснулась обида, накопившаяся у нее еще в кабинете директора. Василий, не знавший, откуда что взялось, удивленно смотрел на жену.

— Во завелась, ты чего без огня кипишь. Давай лучше обедать, я ведь тебя дожидался...

— Приятного аппетита! — крикнула Людочка, схватила с вешалки пальто, шапку и — в двери. На улице отдышалась, хотела вернуться домой, да одолела себя: «Тоже мне мужик: наше дело телячье!» Пошла к матери, все равно после обеда к ней собиралась заглянуть.

На следующий день ранним утром первым рейсовым автобусом Людмила уехала в Краснополье, в райком комсомола.

— Что думаешь делать дальше? — спросил ее Колесниченко.

Людмила растерялась. Что хотела — поехать и рассказать обо всем в райкоме,— она уже сделала.

— Может, в сельхозуправление обратиться? — предложила неуверенно.

— Правильно,— живо согласился Колесниченко.— Подкопаев как хозяйственник, конечно, грамотный специалист, но надо не дать ему зарваться. Обращайся в сельхозуправление. Нечего, чтоб тобой в совхозе помыкали, ты номенклатура райкома, а не совхоза. Или вот что, иди-ка прямо в народный контроль. Павел Степанович сам недавно с комсомола, он тебя прекрасно поймет.

...Через неделю в совхоз «Заветы Ильича» приехал инспектор районного комитета народного контроля, за ним пожаловала ревизор из управления сельского хозяйства, и комиссии зачастили...

Бояться проверяющих Подкопаеву было нечего. Просто он смертельно устал от них. По-хорошему, самое время было в кормоцех заехать, поговорить с наладчиками транспортера, может, в оставшиеся дни командировки они возьмутся перерегулировать автопоилки на ферме, а тут вот непривязанный сиди — очередная комиссия приехала,— и, в который раз чертыхнувшись на Людочку Баркову, Иван Алексеевич Подкопаев, крупнотельный, с белесым ежиком на голове, повернул машину с большака к двухэтажному дому правления. Вытащив ключ зажигания, он еще с минуту сидел в «уазике», соображая, как можно спасти день, но ничего лучшего не нашел, как поговорить по рации с теми, у кого хотел сегодня побывать.

Однако тревога о пропавшем дне на этот раз не подтвердилась. Приехавший по очередному письму заместитель начальника контрольно-ревизионного управления при облисполкоме Михаил Федорович Дианов, невысокого роста, коренастый хакас, глаза у него маленькие, внимательные и добрые, после короткого знакомства неожиданно подарил Подкопаеву весь световой день, который Иван Алексеевич считал уже потерянным. «У вас без меня забот хватает», — сказал Дианов. — Так что занимайтесь своими делами, нужно будет — найду через секретаря. А вот вечером давайте встретимся, поговорим».

Обосновался Дианов в кабинете главного бухгалтера, запросил все расчеты, связанные со звеном кукурузоводов, чабанами — мужем и женой Гамаюновыми, о которых писала в управление комсомольский секретарь, просмотрел и документы всех предыдущих ревизий. Их набралось порядочно, записки были подробны, чувствовалось, что все проверяющие отличались дотошностью и достаточной квалификацией. Впрочем, особой квалификации, как скоро понял Дианов, здесь и не требовалось, дело не стоило выеденного яйца.

Баркову Михаил Федорович слушал с неподдельным интересом, искренне хотел понять ее. Люде было приятно такое внимание, это успокаивало, давало возможность рассказывать не торопясь, обдуманно. Ей даже самой нравилось, как она убедительно говорила, какие весомые, точные находила слова.

Первый раз Дианов ее перебил, когда она рассказывала о кукурузном звене: как за убранную зеленую массу им пообещали заплатить сполна — будто за выращенную ими и даже начислили эти деньги, но так и не выплатили.

— Вас возмущает, что деньги не выплатили? — уточнил Михаил Федорович.

— Ну конечно,— с жаром подтвердила Людмила.

— Странно,— Дианов по-прежнему с большим вниманием смотрел на Баркову,— но ведь это по вашему сигналу приехали ревизоры и запретили бух-

галлерии выплатить деньги. Вы писали, что дирекция что хочет, то и воритит, и в качестве примера привели именно этот случай — незаконное завышение оплаты труда. Чем же вы сейчас возмущаетесь?

— А тем, что нельзя так с людьми обращаться: посулили большие деньги и не заплатили.

— Ну, что ж, вот мы и подошли к главному в нашем разговоре,—начиная этот разговор, Дианов и предполагать не мог, какой неожиданностью он обернется.— Чем в вашем совхозе отличается безнарядное звено от любого другого звена? — спросил он.

Вопрос застал Баркову врасплох. Она задумалась, потом, чуть смутившись, призналась, что не знает.

— Но как же это,—растерялся Дианов,— вы пишете о неверных расчетах, а сами представления не имеете, что это такое?

Людочка пожала плечами.

— Или вот сигнализируете, что обижены уважаемые люди, старейшие чабаны. А вы пробовали узнать, почему шерсть подешевела? Какое стадо было у них в прошлом году и в этом? Чем отличается в оплате стадо полуярок от ярок?

Людочка вспомнила, как приехал к ней на лошади домой старый чабан Василий Петрович Гамаюнов. Привязал лошадь к штaketнику паисадника, пил чай на кухне, просил: «Помоги, Александровна, мы со старухой мало что понимаем, однако шерсти смотри сколько настригли, с прошлым годом не сравнить, а получили совсем ненамного больше. Разве правильно? Ты человек грамотный, в районе тебя слушают, помоги». Так и сказал старик — уважительно, по отчеству: «Александровна».

— Ко мне обратились, я и написала, и не мое это дело разбираться с ярками и полуярками,— твердо ответила Людмила.

— Но заниматься молодежными безнарядными звеньями — ваша прямая обязанность.— Голос Дианова стал суше, жестче.— Я до приезда в совхоз уже был наслышан о вашей принципиальности, думал, что вы, молодой прогрессивный вождь, воюете с ретроградом-директором за создание безнарядных молодежных звеньев. Простите меня, но вы же не имеете о них ни малейшего представления.

— Мне сказали обратить внимание на безнарядные звенья, я сразу обратила. А чтоб там экономические вопросы изучать—никто не говорил. Для этого в совхозе специалисты есть. Дело секретаря следить за общей линией. Ну и, конечно, своевременно реагировать на жалобы. Никто не отнимет у меня права защищать интересы рабочих совхоза!

— Йошкар ман,—удрученно качал головой Дианов, рассказывая потом директору, с какой уверенностью говорила Баркова о просчетах в совхозе.— Какой апломб! А ведь сами воспитывали: ни дела, ни работы, так, одна суета, а в районе, даже в области у нее авторитет хорошего секретаря, в совхозе высокая зарплата, положение главного специалиста со всеми полагающимися льготами, в том числе пятью годовыми окладами по справным итогам года.

Они встретились уже поздним вечером и засиделись далеко за полночь.

— Да пусть Баркова пишет, куда хочет, сил и нервов у меня еще чуть осталось на комиссии. Но ведь она сеет раздор в коллективе — вот что самое страшное. К ней сейчас потянулись все обиженные. Пяницу ссадил с машины, он сразу к ней: самоуправство директора. Наказал скотницу за то, что сгноила комбикорма, она опять же к Барковой: обижают мать троих детей... А Барковой нравится: как же, раньше она была для всех Людочка, теперь уже все к ней с поклоном — Людмила Александровна. Я ее вроде как бояться стал,—невесело рассме-

ялся Подкопаев.— Ну, если и не бояться, то работать с оглядкой это уж точно. Сейчас вот срежем расценки в кормоцехе, мы там полную механизацию всех работ наладили, многие ведь бросятся к Барковой защиту искать. Ой, что будет! — покрутил головой Подкопаев.

— А что будет? — пожал плечами Дианов.— Рас толкуйте людям, что к чему, поймут.

— А! — махнул широченной ладонью Подкопаев.— Вон тем же кукурузоводам, кто только не объяснял, соглашались, а потом Баркову наслушаются и опять по новой.

— Мне специалисты жаловались, что больно уж вы ей потакали.

— Сначала, как хозяйство принял, вроде не до нее было — столько дыр! Пытался как-то слово попере к сказать — придумала в уборочную манифестацию, так меня из райкома партии так огрели, что думал все, крышка, арестуют за непонимание текущего момента.

Рассмеялись.

— А что ж секретарь парткома? — спросил Дианов.

— Тяжело ему с Барковой, ведь гремит наш секретарь по всему району: даже плакат о ней выпустили — лучший организатор идейно-политического воспитания молодежи. Теперь вот на хозяйственные вопросы перешла... А! — поморщился Подкопаев.— Вы мне, Михаил Федорович, только одно скажите, убедили ее, или дальше писать будет?

— Пытался убедить, а вот убедил ли?

Оказывается, не убедил.

Вскоре позвонили из обкома партии, куда Людмила Александровна Баркова прислала письмо на шести плотно исписанных листах школьной тетради в клетку и где речь шла уже о комиссиях, которые «приезжали в совхоз и которые верят лишь бумажкам, но не хотят прислушиваться к голосу людей...». Обком просил письмо Барковой обсудить в коллективе, а им прислать протокол обсуждения.

Решили провести для начала заседание парткома, пригласить всех, о ком писала Баркова: кукурузоводов, чабанов, специалистов, пусть они дадут информацию по каждому пункту обвинений.

Народу собралось много. Но длилось заседание недолго. Едва представили слово Новиковой — письмо Барковой опять начиналось с обмера поля,—Людочка неожиданно встала. На пунцовом лице — две тонкие белые нитки губ.

— Это не партком, а сборище какое-то! — срывающимся голосом заявила она.— Судилище решили устроить? Не выйдет. Я писала письмо в обком партии, пусть обком и разбирается!

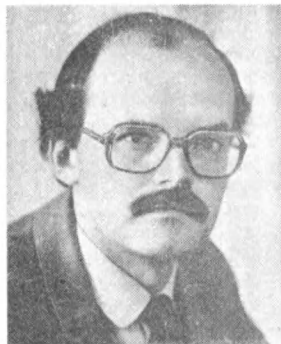
Хлопнула дверь.

— Да что же такое, а?! — цепляясь протезом за ножки стульев, к столу двинулся Долгушин.— Она что себе позволяет, соплячка! Это мы для нее сборище? Я сорок лет здесь, только на войну уходил, и такого не помню. Это ж кого мы вырастили и на свою шею в начальство выводим?

И людей прорвало.

Выступали многие. За игнорирование партийного комитета, недостойное поведение на парткоме Людмиле Александровне Барковой объявили строгий выговор.

Партийное собрание согласилось с парткомом. Но Людочка на собрание не пришла. Она взяла в райкоме комсомола двухнедельный отпуск и уехала, говорят, в Москву...



АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

«МЫ ХОТИМ ВСЕГО— И НЕМЕДЛЕННО!»

С Орнеллой Бадоккьи я познакомился на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Мы оказались рядом на митинге в антифашистском центре. Приковывая к себе сотни внимательных глаз, волнуясь, рубил ладонью воздух на трибуне член Итальянской федерации коммунистической молодежи Луиджи Мадзарини.

Его взволнованный рассказ переносил в Италию, которую за последние пятнадцать лет несмолкающие взрывы неофашистских бомб и автоматные очереди левацких ультра превратили в излюбленную мишень политического экстремизма.

После митинга, подхваченные горячей шумной толпой, мы обменялись десятком фраз.

А потом, узнав, что я занимаюсь проблемами итальянской молодежи, Орнелла обещала встретиться со мной на следующий день в Клубе советской делегации, чтобы поговорить пообстоятельнее.

Так я узнал историю Марио Боскозо.



начала была боль — острая, слепящая, как от удара по глазам. Потом, когда к Орнелле вернулась способность рассуждать, она собрала все силы, чтобы доказать себе, что это ошибка. И фотография в газете не имеет к Марио ровно никакого отношения. Но чем больше вглядывалась в четкий снимок, напечатанный в тот день почти во всех газетах страны, тем яснее понимала, что обмануть себя невозможно. Бывают удивительно похожие, внешне почти идентичные люди, но именно такой родинки на подбородке, каштановой челки и усталой усмешки не могло быть ни у кого другого, кроме ее Марио. Под фотографией стояло незнакомое имя — Паоло Сарди, но Орнелла уже знала наверняка, что среди трех неизвестных мужчин, превративших вчера в Турине в решето известного банкира Каструччо и его телохранителя, был Марио Боскозо. Человек, которого она любила и который, Орнелла знала это точно, до сих пор любил ее. Чем дольше вглядывалась Орнелла в снимок, тем яснее понимала, на какой шаткой почве «нашел» себя ее бывший «жених»: совершившие кровавое преступление в Турине члены «группы огня» «красных бригад» разыскивались по всей стране полицией.

У «красных бригад», крупнейшей на Апеннингах левацкой террористической организации, есть такой закон: вступивший в ряды БР (от итальянского «бригаде россе» — «красные бригады») должен оставить отца, мать, жену или любимую, братьев, сестер, работу, учебу и целиком посвятить свою жизнь тому, что «стратегическое руководство» (тщательно законспирированный высший командный центр БР) напыщенно именovalo «революционной борьбой» за «освобождение угнетенного пролетариата».

В середине 70-х годов, когда древние улицы и площади итальянских городов еще не привыкли к автоматным очередям «красных бригад» и десятков подобных им террористических групп, вцепившихся с разных сторон в итальянскую демократию, многие мальчишки и девчонки в свои семнадцать впервые после в общем-то обеспеченной жизни в родительских семьях стукнулись лбами о стену хронически неблагоприятной экономической конъюнктуры и оказались не только без работы, но главное — даже без шансов ее найти хотя бы и через год. У многих в кармане лежали дипломы о высшем образовании, полученные в таких цитаделях знания, как Римский, Миланский или Флорентийский университеты.

То, что социологи и экономисты называли «очередной фазой циклического кризиса капитализма», на практике грубо вторглось в жизнь миллионов молодых итальянцев, перечеркнуло их планы и надежды, лишило уверенности в себе, озлобило, заставило бояться завтрашнего дня.

...Старый каштан рос почти в середине квартала, неподалеку от ее дома. Кто и когда посадил это толстенное, теперь почти в два обхвата дерево, не знал никто. Дядюшка Луиджи, владелец ближайшей траттории, утверждал, что каштан этот больше ста лет назад посадили друзья его дедушки, уходящие в освободительную армию Джузеппе Гарибальди, — ремесленники и подмастерья Милана. Одной стороной своей истерзанной временем кроны дерево нависало над вымощенной каменными плитами площадью — уже два с половиной века из пасти каменного льва

бил там ледяной фонтан. Прежде к нему приходили с кувшинами по воду, а лет тридцать назад площадь открыли туристы. Так что с тех пор каменный и чем-то похожий на удивленного пуделя лев бесчисленное количество раз снялся в обществе приезжающих в Италию за «экзотикой» американцев.

В последние годы, правда, площадь у любимого фонтана Орнеллы превратилась и в своеобразный клуб молодых безработных. С каждым годом их становилось все больше, торопиться им было особенно некуда, а пить в trattoria дядюшки Луиджи золотистое вино с его собственных виноградников — непозволительная роскошь и для большинства из тех, у кого есть работа.

Несколько тяжелых ветвей изумрудным изобилием врывались в ее окна. Орнелла знала свой каштан с детства, привыкла засыпать под шум его листья и, когда уезжала из родительского дома, подолгу не могла уснуть, не видя привычной тени, отбрасываемой на пол комнаты от нескольких изогнутых ветвей. В детстве у нее была такая игра — пытаться представить себе всех, кто за два с половиной века мог стучать каблуками по граненым плитам старой площади.

Чередой проходили герои Шекспира и Тассо, мелькали тени благородных карбонариев с кинжалами, завернутых в черные плащи, в сопровождении строгих дуэний торопились из ближайшей церкви Делла Пьета прекрасные девушки...

В последние годы Орнелла все чаще думала о нынешних обитателях площади — восемнадцатилетних, но уже никому не нужных юношах и девушках, лениво слонявшихся по ее площади и время от времени припадавших к струе из львиной пасти. Известный социолог Сабино Аквавива, специалист по проблемам молодежной безработицы, как-то назвал этих ребят «второй Италией», отделенной от первой, официальной, туристически-глянцевой, тонкими, но крепчайшими перегородками.

Как бы из-за аквариумного стекла смотрели на Орнеллу на площади вышвырнутые из общества люди. Многие так и не успели как следует вступить в него. И это была не единственная в Италии площадь... Лишь в одном Милане насчитывалось таких десятков.

Уходя в армию, старший брат запер в подвал свой старый, но еще надежный «Гудди» и, на прощание целуя сестру, сказал: «Узнаю, что катаешься — голову откручу!» Через пару дней Орнелла решила приступить в дело заранее и тайком подобранный ключ.

А потом все пошло как по маслу: когда брат на субботу или воскресенье возвращался в лоно семьи, мотоцикл как ни в чем не бывало стоял на месте. Но стоило топоту тяжелых солдатских ботинок смолкнуть в конце улицы, как ее тишину разбивал яростный рев мотоцикла — это Орнелла уезжала в госпиталь, где работала тогда санитаркой. Ее отец — врач, подрабатывавший частной практикой, был счастлив, что его дочь не только учится на одном из самых трудных и дорогих факультетов университета — медицинском, но и имеет постоянную работу. Сам он ездил на вполне еще новом «Фиате», и вопрос с мотоциклом его совершенно не интересовал.

Пролетая вечером по дороге с работы мимо секции партии «Итальянское социальное движение», но без оснований считающейся про- или, вернее, неонацистской, она заметила метавшихся у разбитой стеклянной двери людей, а проехав чуть дальше, перегнала молодого человека с копной каштановых волос, который проворно убегал от трех здоровенных детей, мчавшихся за ним, вероятно, от самого места происшествия. Орнелла сбросила газ и, подняв мотоцикл на дыбы около беглеца, приказала: «Садись!» Парень прыгнул на сиденье, крепко обнял плечи Ор-

неллы, и рев рванувшегося с места мотоцикла заглушил проклятия оставшейся позади троицы.

Спасенный представился сразу: «Марио Боскозо. Бакалавр социологии. Постоянной работы нет, перебиваюсь случайными заработками. Сама, наверное, знаешь, что такое случайный заработок. Живу в комнате вместе с приятелями. Стоит она девяносто тысяч лир в месяц, а так каждому приходится платить по тридцать тысяч. Деньги для меня не главное — я к их отсутствию привык. Главное — политика! Я — член «Рабочей автономии». Видела, как я разбил дверь у наци?»

Член «Рабочей автономии» — своеобразная визитная карточка. Стоящая на левацких позициях «Рабочая автономия» объединяла (и объединяет сейчас) десятки разношерстных легальных и полулегальных групп и группировок несопоставимого характера, начиная с объединения неаполитанских контрабандистов и кончая группой студентов-интеллектуалов с факультета социологии университета города Тренто. В последние годы судебные власти не раз указывали, что «Рабочая автономия» тесно связана с «красными бригадами» и является для них своеобразной «кузницей кадров».

Позднее Орнелла не могла простить себе, что в первые их встречи не задумалась, сколь опасным может стать для ее друга участие в подобной организации, куда заведет его увлечение идеями Михаила Бакунина и итальянского анархиста начала века Энрико Малатесты.

...Встречались они часто. Когда находилось несколько тысяч лир, отправлялись полакомиться равиоли — ароматными острыми итальянскими пельменями — со стаканом «Савини» или довольствовались бутылкой кока-колы и отправлялись в кино, что отнюдь не было дешевым удовольствием. Вместе с любимым Орнелла открывала новый Милан. Если на старинной площади Сан-Бабило уверенно обосновались неонацисты — ревущие мотоциклы, черные кожаные куртки, нередко повязки со свастикой, кресты канувших в Лету эсэсовских дивизий, их нарочито громкие рассказы об избитиях коммунистов, студентов, профсоюзных деятелей, стали даже как бы частью городской экзотики, привлекающей приезжих гостей из-за океана, то парк Ламбро был отдан на откуп наркоманам. Те, кто не мог ничего найти или кому уже было нечего терять, приходили сюда днем и ночью, лежали на скамейках, под деревьями, на зеленой траве лужаек. Тут же можно было купить любое «зелье»: «Вам какой героин, синьор? Есть турецкий, но он низкого качества, могу предложить «товар» из Таиланда, первый сорт!»

Время от времени парк прочесывали мобильные отряды полиции «челере», но кризис, поразивший итальянское общество, производил наркоманов и торговцев наркотиками гораздо в большем количестве, чем их могли принять городские тюрьмы и специальные центры «дезинтоксикации», созданные для борьбы с наркоманией среди молодежи.

Сквозь кленовую листву по-прежнему поднимался к небу дым от сигарет, «заряженных» марихуаной, и грудой старого тряпья валялись тела совсем юных людей, уставших жить и бороться, предпочитавших на короткое время отправить свои души в гарантируемый героинизмом Эдем.

...В Италии, где значительное большинство населения — католики, выработанные веками нравственные традиции взаимоотношений двоих, особенно когда речь идет о серьезных намерениях, соблюдаются достаточно твердо. Какой бы высокой ни была волна «сексуальной революции», поднятой в конце 60-х годов итальянскими леваками, превратиться в цунами, как это произошло, скажем, в США, ей было не суждено.

Орнелла познакомилась с семьей Марио в солнечном и жарком апреле. На деревьях вовсю шумела листва. Уже два месяца Марио жил с отцом, матерью и двумя сестрами, так как платить даже тридцать тысяч лир в месяц за комнату оказалось ему не по карману. Отец (который, по едкому замечанию сына, «больше всего любил деньги, потому что их у него никогда не было») Орнелле понравился. Мелкий служащий банка, он не мог рассчитывать на настоящую карьеру — не хватало образования, а образование он не мог получить, потому что была семья. С рождения первенца — Марио Пьетро Луиджи всерьез надеялся, что сыну удастся то, что не удалось ему, — выйти в люди.

За годы службы в банке у Пьетро было время решить, кто это такие: «настоящие люди» приезжали на черных «Ситроенах» с шоферами или степенно выходили из белоснежных спортивных с откидным верхом «Альфа-Ромео», чтобы снять или перевести на банковский счет очередную партию кредиток с изображением Джузеппе Гарибальди.

Пьетро Луиджи сделал все, чтобы Марио получил самое лучшее образование. Конечно, позволить сыну роскошь учиться в частном колледже он не мог, но кормил и одевал его все четыре года учебы в городском университете, со скандалами запрещающая подрабатывать на стороне. Диплом о высшем образовании Пьетро, подобно большинству людей его поколения, считал своеобразным пропуском в рай, свободных и счастливых обитателей которого он видел изо дня в день в течение почти тридцати лет своей безупречной службы.

Сын блестяще оправдывал его надежды. Орнелла знала, что курс университета Марио прошел на год раньше, чем его сверстники, и, кроме степени бакалавра «шиенце политике» («политических наук»), мог похвастаться отменным знанием испанского и немецкого языков, влеченных практически самостоятельно, безграничной эрудицией в вопросах древних культур Средиземноморья. И сотнями прочитанных по ночам социологических и исторических трудов.

И тем не менее судьба нанесла стареющему Пьетро Луиджи самый сильный за послевоенные десятилетия удар именно рукою Марио (впрочем, без какой бы то ни было вины с его стороны): блестяще окончив курс, старший сын влился в почти трехмиллионную армию лишних людей в Италии.

Впрочем, официально безработным его никто пока не называл. Не любящие лишних затруднений статистики изобрели даже специальный термин для обозначения молодых, но уже лишних людей, не проработавших в своей жизни ни дня: «находящиеся в поисках первой занятости». На этом же основании никому из них не выдавали пособия — пусть небольшого, но все же помогающего безработному как-то сводить концы с концами.

Но Пьетро Луиджи, будучи профессионалом только в приумножении огромных, но, увы, не своих денег, двухлетнюю безработицу сына воспринимал как трагедию глубоко индивидуальную.

Порою из его уст после бутылки «Кьянти» исходила такая «крамола», от которой пришли бы в ужас не только респектабельные вкладчики их банка, но, может быть, и некоторые члены «красных бригад», официально объявивших капитализм своим врагом «номер один».

Призывая громы и молнии на головы тех, кто не дает Марио возможности реализовать свои блестящие способности, Пьетро Луиджи обращался с сыном подчеркнуто мягко и бережно.

Именно это и выводило Марио из себя больше всего.

Родителям Марио Орнелла понравилась. К сожалению,

на ее родственников жених произвел прямо противоположное впечатление. Объяснить матери, живущей в спокойном и благополучном домашнем мирке, что сегодня в Милане нельзя найти вообще никакой работы, оказалось невозможным.

— Я, конечно, никого не имею в виду конкретно, — сказала мать после первого знакомства, поджав губы, — но диплом, видно, отличное средство для лентяев. Они на него ссылаются и отказываются от работы попроще и попыльней. А я вот начинала с самых низов и работы не боялась никогда!

Орнелла встала и молча принесла из своей комнаты две газетные вырезки: короткую информацию из «Коррьере делла сера» о том, что в Неаполе на двенадцать вакансий на городском почтамте оказалось три тысячи претендентов с высшим образованием, и заметку из «Унити» о том, что на третьем году безработицы в западногерманском городе Дюссельдорфе покончил с собой молодой историк Клаус Вольф. За 36 трагических месяцев он получил сто восемьдесят один отказ в приеме на работу от всевозможных фирм и компаний. В последний раз, говорилось в статье, фирма по производству инструментов «Блэк энд Деккер» любезно сообщила Клаусу, что на ее предприятиях места учеников заняты по крайней мере на год вперед...

Мать, совершенно не разбиравшаяся в парадоксах итальянской экономики 70-х годов, сделала абсолютно неожиданный вывод:

— А зачем же он, с образованием, стал обращаться в такое место? Естественно, ему отказали!

Объяснять было бесполезно.

— Помню, меня тогда затрясло, — призналась Орнелла, — я ушла и больше с отцом и матерью о безработице и о нашей жизни не заговаривала никогда. Тогда поняла, что при известных обстоятельствах могла бы стать чужой в родном доме.

Они продолжали встречаться. Часами бродили по улицам, где их никто не знал, где никого не интересовали «бедные влюбленные» и их дальнейшая судьба.

«Урбанистическая индифферентность» — называют это явление как всегда спокойные западные социологи. Да и как уследить за крохотной человеческой песчинкой в миллионной толпе...

Выброшенное из жизни поколение недаром получило в социологической литературе название «маргиналов» — «стоящие за чертой» или «на грани черты». Но, кроме базразличия, многократно усиленного инъекциями героина, у «маргиналов», лишившихся всяких иллюзий, было и жестокое желание отомстить любой ценой обществу «всеобщего благоденствия», выкинувшему их за борт.

Неудивительно, что к концу семидесятых годов именно «маргиналы» — «стоящие за чертой» — стали у руля левозэкстремистских террористических организаций. «Второе поколение» «красных бригад», «первой линии», «вооруженных пролетарских ячеек» развязало вакханалию политического насилия. Если основатели БР предпочитали стрелять в ноги своим жертвам, то их последователи поднимали прицелы своих автоматов на уровень груди...

Своих врагов или тех, кого они называли врагами, убирали методично и не колеблясь, сверяясь с «черными списками». Сначала туда заносили государственных деятелей и политиков, полицейских и судей, журналистов; потом в перекрестья прицелов левацких ультра стали все чаще попадать коммунисты, профсоюзные лидеры и рабочие.

Более тринадцати тысяч террористических актов за пятнадцать лет, свыше четырехсот убитых. «Годами свинца» называется печать эти кровавые полтора десятилетия...

...Орнелла ясно помнила тот вечер. Она после занятия задержалась в университете. Была годовщина расстрела протестовавших против войны во Вьетнаме студентов Кентского университета в США. Кто-то из «вечных» студентов вспомнил, как в годы «грязной войны» их Миланский университет сотрясали от митингов и манифестаций.

Марио встретил ее на бульваре. В руках у него была книга «Че Гевара». Орнелла давно не видала его таким возбужденным. Он взволнованно начал доказывать, что в Италии как можно скорее надо создать «второй Вьетнам» и, подражая во всем таким выдающимся революционерам, как Че, борьбу надо начинать уже сейчас: против засилья транснациональных монополий, коррупции продажных политиков, за права молодежи, за то, чтобы каждый, кто только еще готовится войти в жизнь, мог твердо рассчитывать в ней на свое место.

— Ты что, мой друг, с Луны свалился? Борьба эта идет уже не одно десятилетие, вот и сейчас, — Орнелла открыла «Униту», которую купила по дороге из университета, — коммунисты в парламенте предлагают проект нового закона против молодежной безработицы.

Марио резко засмеялся. В это мгновение на закатном вечернем солнце бульваре в своем длинном черном плаще он был похож на загадочного средневекового монаха. Губы его смеялись, а глаза были колючими. Почему, когда жизнь готова сделать крутой поворот, так пронзительно запоминаются именно мелочи...

— Пойми же, у нас в Италии есть сотни тысяч людей, которые не хотят ждать десятилетия! Мы хотим всего — и немедленно! И пока не получим всего, будем бороться! Знаешь, чего не хватает нашей прекрасной стране? Порядка! Пора нам наконец навести в ней порядок!

— Марио, дорогой, но ведь того же самого требуют и неонацисты. Это их лозунг — «Порядок прежде всего». Значит, вы нашли общий язык?

— Я всегда подозревал, что женщина может быть глупа, но никогда не думал, что настолько! — поблуднев, бросил он ей в лицо и зашагал прочь. Орнелла не успела сказать, что в этот вечер ее родители уезжали на две недели из города.

Марио был прав в одном. «Вторая Италия», насчитывающая сотни тысяч обездоленных молодых людей, действительно не хотела больше ждать. Крылатая фраза «мы хотим всего — и немедленно» принадлежала выпускнику социологического факультета в Тренто Ренато Курчо, создателю «красных бригад».

Судьба Ренато может стать сюжетом для политического детектива: влюбившись в юную красавицу Маргериту Кагол, он увел ее из благонаправной и строгой католической семьи в «красные бригады», превратил из благочестивой верующей в опасную террористку. Десять лет назад прекрасная Мара получила первое боевое крещение, штурмом взяв тюрьму городка Казале Монферрато, дабы освободить заключенного там молодого супруга; не раз рисковала она ради него собой, и наконец пожертвовала жизнью, прикрывая с автоматом в руках убегающую от полиции группу террористов во главе с мужем. Властям все же удалось выследить и вновь арестовать Курчо, отправив его в спецтюрьму на неприступном острове Азинара отбывать пожизненное заключение. Но лозунги Курчо не были забыты. «Мы хотим всего — и немедленно», — повторяли сотни тысяч озлобленных «маргиналов».

Это были не только отбросы общества, платные провокаторы и начинающие уголовники. За велосипедные цепи, ножи и пистолеты взиались дети из respectable семей, ни в чем не нуждающихся семей. Вне-

запный «уход» молодежи в терроризм превратился в национальную трагедию. Марио стал одним из тысяч...

Незадолго до похищения и убийства «красными бригадами» в 1978 году Альдо Моро полиция определила число действующих террористов — три тысячи, их активных сторонников и помощников — десять тысяч, потенциальных террористов, кому взять в руки оружие пока мешали обстоятельства, — сто тысяч...

По численности это было лишь в пять раз меньше итальянской армии.

Сраженный четыре года назад автоматной очередью генерал карабинеров Карло Альберто Далла Кьеза, нанеший ряд мощных ударов по «красным бригадам», но не уничтоживший их до конца, как-то решил выяснить строго научно, кто они — эти 1300 политических гангстеров, отправленных за решетку его людьми. Сорок семь из каждой сотни оказались студентами... Не остались в стороне и преподаватели, в том числе и университетские. «Уходя в терроризм» с профессорской кафедры, многие из них «облагодетельствовали» своих студентов теоретическими «трудами» со сложными социологическими названиями. Главные идеи сводились к следующему: в современном капиталистическом обществе рабочий класс утратил свою революционность, гегемония в революционном процессе перешла к студентам и «маргиналам».

Испокон веку мальчишки играют в войну, бездумно, самозабвенно. Левацкие идеологи предложили войну с государством целому поколению: молодым, неопытным, не прошедшим суровой школы антифашизма в рядах Сопротивления, озлобленным личными неудачами. Результат оказался поистине ужасным...

Типична судьба Марко Барбоне. В ней как в капле воды отразились судьбы тысяч двадцатилетних итальянцев. Сын состоятельных, а главное — весьма либерально настроенных родителей, талантливый миланский студент Марко Барбоне был завербован «красными бригадами» и вступил в городскую «колонну» БР. Пойдя на поводу у идеологов политического террора, вскоре он потерял собственное «я», подчинился чужой воле. По приказу «стратегического руководства» Марко вынужден был убить друга своего отца, прогрессивного журналиста Вальтера Тобаджи, который написал правдивую разоблачительную книгу о деятельности «бригадистов».

В результате — не только суровый приговор (убийцу Тобаджи удалось арестовать сравнительно быстро), но и мучительный внутренний кризис, который вот уже восемь лет переживает Марко, находясь в заключении...

Теперь и Марио предстояло стать зеркальным отражением Марко Барбоне, пройти его путь, повторить те же ошибки.

...Из жизни Орнеллы он ушел так же внезапно, как и появился. Не позвонил, не встретил ни разу после занятий. Через месяц Орнелла решила и пошла к его родным. Синьор Пьетро Луиджи сиял.

— Посмотрите, — протянул он открытку с изображением Боббо Натале, итальянского Деда Мороза. — Марио получил работу в Турине, по специальности. Справедливость восторжествовала! Я всегда знал, что мой сын пробьется! Право же, синьорина, Марио достоин лучшего, чем другие. Он никогда не опускал руки и вот — выиграл!

Оставив Пьетро в счастливом заблуждении, она добрела до их любимой скамейки в парке и, присев на нее, всерьез задумалась: выиграл ли он? Слишком многое в этой внезапно найденной «работе» казалось подозрительным и напоминало переход на нелегальное положение, обязательный для каждого вступающего в «красные бригады».

Первым нелегалом в итальянском левом экстремизме стал в конце 60-х годов владелец крупнейшего в стране книгоиздательства миллиардер Джанджакомо Фельтринелли, который и «вооружил» молодых левых Италии теорией «партизанской войны в джунглях больших городов».

Яд делал свое дело. Вслед за Фельтринелли из официального общества «первой Италии» стали уходить в «красные бригады» сотни молодых людей, правда, в отличие от нелегала Италии «номер один» не имевших на личном счету миллиардов лир в банках Швейцарии.

Собравшие такую обильную жатву с молодого поколения Апеннин террористические группы «первая линия», «вооруженные пролетарские ячейки» и неонацистская «третья позиция» требовали от «красных бригад» максимального вживания в официальное общество и маскировки. Найти их было действительно трудно. Да и могло ли возникнуть подозрение, что на счету у благонамеренного корректора, сына лидера правящей христианско-демократической партии — Марко Доннат-Каттена — пять убийств, или что скромная «пай-девочка» Мария Пиа Виеннале, регулярно проводящая каникулы с родителями у моря, — отчаянная налетчица из «вооруженных пролетарских ячеек».

И все-таки неуязвимость террористов была весьма относительна. Уже в начале 82-го года полиция взяла у «красных бригад» реванш за поражение в «деле Моро», похищенного и безжалостно убитого лидера христианских демократов, бывшего премьер-министра Италии. Восемь одетых в пуленепробиваемые жилеты карабинеров из подразделения по борьбе с терроризмом штурмом взяли квартиру в доходном доме на виа Пиндемонте в Падуе, где «бригатисты» держали заложником похищенного натовского генерала Джеймса Ли Доузера, и освободили его.

Схватка на виа Пиндемонте была всего лишь одной из удачных акций полиции, начавшей под руководством генерала Далла Кьезы успешное наступление на политический терроризм. В логове БР были найдены документы, позволившие арестовать в разных городах Италии еще два десятка «бригатистов», их признания привели к еще более массовым арестам и поставили «красные бригады» на грань катастрофы.

А всего через несколько дней после успешного «блица» в Падуе под удар карабинеров попала «первая линия». Преследуемые по пятам полицией после неудачного налета на банк в североитальянском городе Сиене, террористы попытались скрыться в окрестностях города. Два дня сотни конных и пеших карабинеров с помощью собак и вертолетов прочесывали окрестные леса и поля, чтобы в конце концов захватить двух раненых террористов «первой линии», у которых нашли адрес одной из конспиративных квартир, оказавшейся «архивом» «первой линии». И пока под крики возмущенных сиенцев «долгой терроризм!» незадачливых «городских партизан» везли в местную тюрьму, генерал Карло Альберто Далла Кьеза, командовавший операцией (в сентябре того же года ему предстояло погнать от пуль мафии), отдал приказ захлопнуть ловушку: за последующие дни по всей стране прошли аресты членов «первой линии». С тех пор о ней в газетах писали только в прошедшем времени.

Более трехсот арестованных «бригатистов» дали свои показания судьям и следователям.

Большинство из них не только надеялись облегчить свою участь, но искренне хотели искупить вину перед соотечественниками чистосердечным признанием. Потому что навсегда порвать с прошлым можно было только так. Кошмарная «игра в терроризм» годами держала людей в своей власти. Даже тех, кто

во время разгрома «первой линии» и «красных бригад» спокойно «лег на дно», а потом вернулся к нормальной жизни с искренним желанием навсегда забыть о «годах свинца». Прошлое, как дремавший в крови смертельный вирус, брало за горло — опустошенностью, ночными кошмарами, муками совести.

...Орнелле оставалось только гадать, оказался ли Марио в числе оставшихся на свободе «смелчаков», жаждающих получить все сразу и любой ценой, среди обманутых юных безумцев, разыскиваемых ста десятками тысячами итальянских карабинеров по всей стране. Или сходство опубликованного в газете снимка с Марио было просто оптическим обманом?

Для других это был еще один абстрактно потерянный среди миллионов ему подобных. Для нее же, Орнеллы, это был необходимый и желанный человек. Так еще одна маленькая трагедия влилась в общий океан горя.

Брат вернулся из армии, вывел во двор свой мотоцикл, придирчиво осматривая со всех сторон. Орнелла вздрогнула: уж не перестаралась ли она?

— Поразительно! Столько времени и ни одной пылинки! Ладно, сестренка, можешь ездить, дарю!

Через несколько дней он уезжал в Турин. Друзья нашли для него работу на одном из заводов концерна FIAT. Домой Джорджо писал часто и на удивление подробно. Рассказывал об условиях труда, о новых приятелях по цеху, о том, что мечтает вступить в профсоюз металлистов, только это совсем не просто, нужны стаж и рекомендации. Вскоре предложил сестре переехать к нему: вдвоем жить и веселее и дешевле, объяснял брат. Но Орнелле показалось, что Джорджо понял, как худо у нее на сердце. Колебалась она недолго. Ведь именно там, в Турине, «цитадели» «красных бригад», у нее был реальный шанс встретить Марио. Конечно, заканчивать институт и работать по ночам санитаркой не просто, но Орнелла была рада и этому.

По Турину она ходила, жадно всматриваясь в каждого прохожего. Но, видимо, судьбе надоело делать подарки. Они так и не встретились. Подчиняясь жестокому и милосердному закону жизни — забывать, Орнелла уже отстраненно, как бы со стороны, наблюдала, как нестерпимая боль сменяется в ней тоской, тоска — грустью, грусть — сожалением...

Лечило не только время, но и дела, которых было предостаточно, люди, которые были рядом. Впервые оказавшись по воле брата в рабочей среде, она была счастлива, ощутив себя отнюдь не посторонней.

...С момента нашей встречи с Орнеллой Бадокки прошло уже больше года. Но часто мысленно возвращаясь к тому летнему вечеру, слышу взволнованный голос этой юной светлоглазой и черноволосой итальянки, так нелепо потерявшей свою первую любовь. Увы, история Орнеллы и Марио типична для сегодняшней Италии. Судьбы тысяч молодых итальянцев разбивает безработица, наркомания, уход в организованную преступность и терроризм. Сегодня социальное зло многолико, и порою у молодых просто не хватает сил бороться против глобального безразличия общества.

Потерянное поколение сменилось ныне поколением потерявших надежду. Оно не верит ни радужным прогнозам буржуазных экономистов, постоянно обещающих в «самом ближайшем будущем» итальянцам райские кущи, ни политическим деятелям, призывающим трудящихся еще совсем «ненадолго затянуть пояса», ни политическим террористам, зовущим огнем и мечом отвоевывать у общества жизненные блага.

НАДЕЖДА ВОЛЬПИН

СВИДАНИЕ С ДРУГОМ



Надежде Давыдовне Вольпин —
восемьдесят шесть. В это трудно поверить.
Энергичная, живо интересующаяся всем,
что касается литературы,
она и сегодня работает страстно, увлеченно.
В далекие двадцатые годы
Надежда Давыдовна дебютировала
в литературе со стихами...
Ее имя можно было увидеть на афишах,
возвещающих о поэтических вечерах,
диспутах. На одной из таких афиш имя Надежды
Вольпин стоит рядом с Мариной Цветаевой.
Этот «Вечер поэтов»
состоялся 11 декабря 1920 года
в легендарно-знаменитом
Политехническом музее в Москве.
Вступительное слово произнес Валерий Брюсов.
Нет, поэтом Н. Д. Вольпин не стала,
хотя стихи ее звучали с эстрады,
печатались в сборниках СОПО
(так назывался тогда Союз поэтов,
членом которого она стала в 1919 году).
Но увлеченность поэзией («Стихи полюбила
с пеленок, очень сердилась,
когда в песнях путали слова», —
признается Надежда Давыдовна)
предопределила всю
ее творческую жизнь.
Высокая поэтическая культура,
широкая эрудиция,
знание языков позволили Н. Д. Вольпин
стать в ряд с лучшими переводчиками
нашей страны.
По ее переводам советские читатели
знакомились и знакомятся
с лучшими образцами мировой поэзии:
Овидия, Горация, Гёте, Гюго, Байрона.
Она участник уникального издания,
осуществленного в нашей стране, —
Библиотеки Всемирной литературы
в двухстах томах.
В 1954 году издательство
«Художественная литература»
выпустило в свет «Избранные произведения»
английского романиста и драматурга
Генри Филдинга в двух томах.
Два его романа «История жизни покойного
Джонатана Уайльда Великого»
и «История приключений Джозефа Эндруса
и его друга Абраама Адамса»
переведены Н. Д. Вольпин.
Фенимор Купер, Вальтер Скотт,
Дж. Голсуорси, Проспер Мериж, Генрих Манн —
вот далеко не полный перечень
ее прозаических переводов.
Ей принадлежат также переводы
классиков туркменской литературы Шабенде,
Сеиди и мастеров современной
туркменской литературы.
В мемуарном жанре Н. Д. Вольпин выступает
впервые. Обширная мемуарная литература
о Сергее Есенине пополнилась
воспоминаниями еще одного современника,
которых (увы, время неумолимо!)
становится все меньше и меньше...

Виталий ВДОВИН

Первое знакомство



Союзе поэтов (в те годы — Тверская, 18, бывшее кафе «Домино») отмечается вторая годовщина Октября. Идут выступления. Имена почти неизвестные. Кто-то из распорядителей подходит к столику в зале, за которым сидит Есенин.

— Сергей, выступишь?
— Да нет неохота...
— Нехорошо. Ты же на афише.
— А меня не спрашивали... Так и Пушкина можно поставить в программу.

Я набралась храбрости и подошла к незнакомому мне до того светловолосому навсегда «Домино» (как в шутку называла я Кафе поэтов). Говорю, записываясь:

— От себя прошу... и от моих друзей. Мы вас ни разу не слышали. А ведь читаем, знаем наизусть...

Поэт встал, учтиво поклонился.

— Для вас — с удовольствием! — И поднялся на эстраду.

Тут уместно пояснить. Недели за две до того я, недавно принятая в Союз поэтов (СОПО), с этой же эстрады читала свои стихи, и после мне рассказали, что меня слушали среди прочих Есенин с Мариенгофом и горячо хвалили. Есенин в 1919 году был широко известен, но еще не знаменит.

Прочитал он тогда из «Иорданской голубицы» — «Мать моя — родина, Я — большевик!»; потом «Песнь о собаке».

Но в «Домино» я заглядывала не часто. Здесь самое интересное начиналось чуть не за полночь. А я жила в комнате, сданной мне на особых условиях: мне не доверили ключа от квартиры, — «звоните, стучитесь, Агаша откроет». Только днем, когда мне случалось обедать в СОПО я здесь же, в «Зале поэтов», видела каждый раз и Есенина. Но я не была уверена, что он меня запомнил. Не то что подойти — поклониться не решалась! Он, чудилось мне, глубоко ушел в себя, в свои думы и переживания... А между тем сам он, бывало, уставится в меня издали, словно с осуждением... За что — за то ли, что не кланяюсь первая? Так и оказалось.

...Сию я вдвоем с другом детства Саней К., обещаем, а с дальнего столика на нас поглядывает Есенин. Саня ушел раньше меня. И тогда Есенин подсел к моему столику.

— Не узнаете? А мы вроде знакомы.—И спросил, кто «этот красивый молодой человек, что сидел тут с вами».

— Молодой поэт. Мой молочный брат.

— Молочный? Обычно девицы на непрощеное любопытство отвечают «двоюродный». А у вас вон молочный!

Завязался разговор.

— Почему, когда входите, не здороваетесь первая?

— Но ведь и сами вы ни разу мне не поклонились...

— Мне и не положено. Разве ваша бабушка вас не учила, что первой должна поклониться женщина, а мужчине нельзя: чтобы не смутить даму, если ей неудобно признать на людях знакомство.

Я засмеялась:

— Хорошему тону меня учили не бабушка, не мама, а старший брат. Тут на первом месте было: не трусь! Не ябедничай!

С этого дня я частенько при встречах беседую с Есениным.

...Весна 1920. В СОПО переборы. Погода мучительно жаркая. Закрытое голосование. Я прошла с моим листком в третью, совсем маленькую комнату правления. Туда же за мной и Есенин.

— Восемь, три? — спрашивает.

— Нет, всех десять: семеро в члены Правления и...

Ох, и весело же он рассмеялся!

— Я не о выборах. Всеволожский переулочек — а номера?

Ого, напрашивается в гости! Я до сих пор, когда случалось Есенину меня провожать, прощалась, не доходя до места, — не хотела, чтобы он знал, каких трудов мне стоит докричаться Агаше. Что он думал при этом?

Тонкая штучка

Теплый апрельский день. Стою перед книжным лотком в СОПО. Отобрала несколько книг. За мной вырастает Есенин, заглядывает через мое плечо.

— Что вы тратите ваши денежки на всякий хлам?

Мне сразу становится весело.

— У меня их так мало! На что-то другое и не хватило бы.—Цены на книгу и впрямь очень низки.

Все-таки замечание Есенина врезалось в мое сознание. Это он что же, учит меня бережливости? Черта больше крестьянская, чем городская.

— И не все хлам. Смотрите — я тут раскопала клюевский «Сосен перезвон».

Пошел разговор о поэтах:

— Клюев... вы, небось, думаете: мужичок из деревенской глуши. А он тонкая штучка. Так просто его не ухватишь. Хотите знать что он такое? Он — Оскар Уайльд в лаптях.

Уайльд в лаптях! По тону не ясно, сказано это в похвалу или в осуждение. Скорей второе. Но еще и с вызовом самозащиты: вы, может, и обо мне судите как о каком-то лапотнике...

Позже, осенью двадцать первого года, Есенин стал мне рассказывать наставительным тоном о древней русской литературе — великой литературе, которую «ваши университетские и не ведают — только с краешку копнули». Она перевесит всю прочую мировую словесность. Ее по монастырским подвалам надо выискивать, по раскольниковым скитам. И есть у нее свои ученые знатоки, свои следопыты. Ее за всю жизнь не узнаешь! — поэт говорил уже взалхлеб, все больше разгораясь. И в заключение добавил:

— Вот в этом знании Клюев — академик!

Поэт и критик

Среди прочих «измов» бывал тогда в поэзии так называемый экспрессионизм. А его глашатаями именовали себя молодые поэты: Николай Земенков и Ипполит Соколов (да еще, помнится, Гурий Сидоров). В августе 1919 года, впервые пере-

ступил порог СОПО, я с книжного лотка у входа приобрела белую книжечку в шестнадцать страниц, озаглавленную: «Ипполит Соколов. Полное собрание сочинений». Чем только не засоряла я тогда свою молодую, еще очень емкую память, но из обоих экспрессионистов мне запомнилось — на двоих! — полостроки «...гондола губ». И запомнилось то лишь по ударению на первом слове «гондолы» — как меня заверили, истинно итальянскому.

Странный был юноша этот Соколов. До смерти боясь подцепить в голодной Москве сыпняк, он в общественных местах не позволял себе присесть на стул. Однажды у меня на глазах он прослушал в университете всю лекцию профессора Сакулина стоя, ничего не записывая. Но к весне 1920 года Ипполит начал перестраиваться из поэта в критика. Свой артиллерийский огонь он направил в первую голову на Сергея Есенина.

Стоило Есенину что-либо прочесть с эстрады, вслед за ним вырастал перед публикой юный Ипполит. Был он с виду совсем не юношей. Рослый, чуть сутулый, с тяжелым мучнистым лицом, выглядел лет на десять старше своих восемнадцати лет. Выходит вот так на эстраду, вынет заготовленную пачку листов и под скрежет ножей о тарелки заводит лекцию. У Есенина, он утверждает, нет ничего своего. Вся система его образов, все эти богородицы с телами, полностью позаимствована у... немецкого поэта Райнера Марии Рильке. Да, у великого Рильке!

И он читает вслух сперва немецкие строки, затем их дословный русский перевод и, наконец, якобы очень с ними схожие строки Есенина. Какие-нибудь «Облаки лают. Орет златозубая высь». Публика слушает, скучая: сюда приходят поест «не по нормам», поглазеть на живых поэтов, кстати, и послушать. Пусть Есенин и не выступал, а тот все одно выходит на эстраду со своими «разоблачениями». Кто-нибудь крикнет: «Брось ты, Ипполит, Есенин же не знает немецкого языка!» Соколов упорствует: «Тем хуже. Значит, влияние не прямое, а через слабые и уже опошленные подражания». Есенин слушал сперва с усмешкой. Ипполит, повторяясь от раза к разу, договорился, наконец, до слова «плагиат». Сергей сам и не слышал, но когда ему услужливо об этом доложили, попросил предупредить Соколова, что если тот еще раз повторит подобное, то он, Есенин, «набьет ему морду».

Дня через два Сергей привел меня в СОПО поужинать. Мы устроились в «Зале поэтов» поодаль от зеркальной арки — эстрада от нас не видна. Едва взялись за вилки, к Есенину подскочил худой и длинный Захаров-Мэнский и со сладострастным предвкушением скандала вкрадчиво говорит:

— Ипполит уже завелся, читает цитаты.

Есенин просит меня не вставать — а сам уже под аркой. Не усидела и я.

Ипполит произносит — очень отчетливо, подчеркнуто: «...прямой плагиат...»

Заругать свою тираду он не успел. Есенин, точно циркач, взлетел на подмостки. Широкий взмах руки. Пощечина... нет, не звонкая. На рыхлом лице критика багровый отпечаток ладони.

Шум, смятение. Мы кое-как доели свой ужин. Уже известно: будет общественный суд.

Выходим втроем: Есенин с поэтом-имажинистом Грузиновым провожают меня Тверским бульваром домой. Сергей разволнован. Он явно недоволен собой. Но словно готовясь уже сейчас к суду, оправдывает свой поступок. Это недовольство собой еще углубилось, когда он услышал от меня, что Ипполит «только выглядит солидным дядей, а на деле ему от силы восемнадцать». И тут Грузинов, добрая душа, одернул меня и тихо отругал:

— Где ваша женская чуткость? Не видите, что ли? Он и так расстроен.

А Сергей храбрился и все доказывал — скорее себе, чем нам двоим, — что поступил по справедливости.

— Не оставлять же безнаказанной наглость завравшегося буквоеда! Нет, не стану я перед ним публично извиняться...—И вдруг сам себя перебивает:—А этот его Райнер Мария, видно, и впрямь большой поэт!

Долго ждать суда не пришлось. Происходил он днем в первом («обзорном») зале Союза поэтов. Столики удалены. Зал набит. Я слушала стоя: у стенки, не доходя «зеркальной арки». Чуть ближе к ней Маяковский. До нас долетают слова Есенина:

— Каждый на моем месте поступил бы так же.

И Маяковский, взвесив, тихо, но очень внятно: «Я? Ни-ког-да б!»

Приговор был мягок: Есенину запретили на месяц показываться в СОПО.

Папираса

Лето двадцатого.

Я признаюсь Грузинову:

— Мне всегда страшно за Есенина. Такое чувство, точно он идет с закрытыми глазами по канату. Окликнешь — сорвется.

— Не у вас одной, — коротко и веско ответил Грузинов.

После какого-то литературного вечера мы с Есениным долго гуляли вдвоем — по Тверскому бульвару, по Тверской... Посидели «в гостях у Пушкина».

— Я что-то проголодался. Зайдем, что ли, в СОПО поужинать?

Входим. Программа давно закончилась. Народу совсем мало. Во втором зале, где питаются члены Союза поэтов, и вовсе почти никого. Только в среднем ряду одиноко сидит, пуская дым, Маяковский.

Официантка виновато объясняет, что мясного ничего не осталось, и вообще нет ничего — только жареная картошка, да и та на подсолнечном масле.

— А я люблю картошку на подсолнечном масле! — смиренно говорит Сергей.

Продолжаем беседу. Маяковский осуждающе поглядывает на нас. Возможно, вспомнил, как два года назад в Кафе поэтов в Настасьинском он увидел через мое плечо, что я в его книжке («Человек») на чистых спусках страниц записываю стихи, попросил показать — а я испуганно отказалась. Было и такое: одеваясь в гардеробе, мой спутник Владимир Масс нарочито громко, чтобы услышал и Маяковский, спросил меня: «Неужели вы в самом деле знаете наизусть все поэмы Маяковского?» И я буркнула в ответ: «Знаю. У меня хорошая память».

Пока нам жарили картошку, Сергей спохватился, что у него кончились папирасы. А поздно! Уже мальчишки-разносчики, выкрикивающие названия сигарет — «Ира, Ира! Ява рассыпная!» — закончили свой день. Растерянно оглядывается. Кивнул на Маяковского. «Одолжусь у него». — Встает, подходит.

Веско, даже величественно, Маяковский не говорит, а произносит: — Пожалуйста! — и раскрывает портсигар. — А впрочем, — добавляет он, точно дразнясь, и косит на меня бычьим глазом: — Не дам я вам папиросу!

На лице Есенина недоумение и детская обида. (Да, именно детская! Я напомнила самой себе: «А ну, женщина, найди дитя в мужчине!» Кто, мудрый, это сказал?). Он говорит мне, прежде чем снова сесть на уже отодвинутый стул.

— Этого я ему никогда не забуду!

Он знает, что я свято храню верность знамени Маяковского, что я усердно всегда учила других чтению его своеобразного, «свободного», но такого ритмически проработанного стиха! Что в нем молодежь читит первого поэта наших дней. А здесь, в СОПО, все кругом, и особенно имажинисты (кроме самого Есенина), спешат его развенчать: «Да какой он поэт! — шумит Иван Грузинов, — он горлопан!» А я постоянно возражаю, что они-де все раздавлены мощью его стиха и только жалко попискивают из-под его подошвы.

Ужин подан и съеден. Пьем чай. Как он нужен в эту теплую ночь после очень жаркого дня! Стрельнув глазом на соседний столик (Маяковский грузно поднимается), Сергей отчеканил:

— Увидите, года не пройдет, и я его переkreю!

В те годы для многих и многих поэтов самовосхваление было как бы литературным приемом. «Я гений Игорь Северянин!» — прокричал один. «Славыте меня! Я великим не чета», — требует Маяковский. Самохвальная надпись Мариенгофа на дари-мой книге: «Надежде Вольпин от умного, красивого, талантливого Мариенгофа» — все это не похвальба, а скорее мода. Есенин ей не следует впрямую. Он бережно несет в себе давно народившегося, но еще не вставшего во весь рост большого поэта. И, конечно, уже сегодня — до «Сорокоуста», до «Исповеди хулигана», до «Пугачева» — знает себе цену. И точно назначает срок: через год!

Тоска

Тяжелая для меня пора. Больна сестра. Хозяйственные трудности, чуть не голод. Ведрами таскаю воду с первого этажа к нам на четвертый. Плюю и колю дрова для «буржуйки»: октябрь, а уже морозы! Да бегай по урокам, да посещай Литературную студию! Кажется, быт совсем задавит меня, и уж не знаю, как пробивается сквозь него родничок стиха.

..Лавка заперта, но дрова в печурке не прогорели. Мы сидим вдвоем у огня. Есенин вдруг заговорил — в первый раз при мне — о неодолимой, безысходной тоске.

— А у вас так бывает? Пусто внутри? И вроде жить наскучило?

Говорю в ответ, что тоска у меня иная: как жажда нового; или как горе, но от него только полней душа. А пустота внутри? Нет, это мне не знакомо. Уверяю Сергея, что и у него это не то: он слишком выложился в стихах — ведь написал так много, с такою полной отдачей! Тут не может не остаться ощущения (нарочно говорю «ощущения», а не «чувства») опустошенности. Говорю, а сама не верю. Я даже знаю, что чувство пустоты прочно утеснилось в нем — и давно!

— Полюбить бы по-настоящему! Или тифом, что ли, заболеть.

«Полюбить бы» — это мне в укор (люблю, но не сдаюсь). А про тиф... Тогда считалось, будто сыпной тиф несет обновление не только тканям тела, но и строю души.

Угольки, однако, давно прогорели, нам пора. Выходим вместе. Идем переулками. Тверская, Дмитровка. Здесь нам расставаться, Сергею налево, мне прямо. Бросив «до свидания!», иду наперерез мостовой. Вижу и не вижу: бешено мчащийся кабриолет; стоящий в рост возница.

Над головой занесено копыто. Блеск подковы в глаза. Жар конского дыхания на щеке. В плечо крепко впились пальцы друга. Рывок. Мы снова рядом на тротуаре.

Видение — конь, кабриолет, возница в рост — пронеслось мимо.

Как он грустно и участливо смотрит мне в лицо!

— Что с тобой! Ведь видела — и не уклонилась. И на днях, когда в лавке обрушились над голову трубы, угли на тебя посыпались горячие, — ты и бровью не повела.

Да, было и это. И тогда он вот с такой же быстрой хваткой выхватил меня из-под рухнувших накаленных труб.

— Зачем же неправду сказала? Знаешь и ты эту тоску и пустоту. Будто все равно, жить или не жить.

Все это так и говорилось — на «ты». Точно вырвалось из сердца.

— Да нет, нет! Это только... только рассеянность. Не могу же я втолковать ему правду. Во мне не моя, а его тоска. Постаралась вернее понять ее, чтобы, поняв, преодолеть и ему же потом помочь.

Острое чувство радости. И не тому я рада, что Есенин — дважды за эти дни — спас меня в беде: мне ясно, одоление опасности словно разбудило и в нем радость жизни, подняло новый вал душевной силы.

Словарь Даля

Среди поэтической молодежи Союза поэтов завелся «академик». Смотрит строго, придирается к ударениям, к формам слов... Ух, и досталось бы от него по части ударений Николаю Алексеевичу Некрасову! Зовут «академика» Теодор Левит, а лет ему шестнадцать. Есть в нашем кругу еще один знаток языка — музыкант и поэт Георгий Николаевич Оболдуев — друг мой Егорушка. Как-то в споре с одним из них понадобилось мне проверить какое-то слово. Заглянуть бы в словарь!

Встретившись через день с Есениным, я вспомнила, как недавно он горячо хвалил друзьям «гениальное творение Даля». Вот и спросила:

— Есть у вас Даль?

— Нет.

— А в лавке у вас на продажу не выставлен?

— И в лавку давно не приносили. Почему спрашиваете?

— Да поспорила, надо проверить... Вы разве никогда себя ни в чем не проверяете?

— Проверять? Зачем? — и гордо добавил: — Язык — это я.

Поэт и поэтесса

«**С**тойло Пегаса». Двадцать первый год. Лето в разгаре. То жаркое грозное лето, завершившееся великим голодом в Поволжье.

— Вот вы куда запрятались! — слышу я голос Есенина.

Он нашел меня в этой большой комнате за кухней. Сажу и проверяю, хорошо ли помню свои стихи, которые сегодня собираюсь прочесть с эстрады.

Есенин покосился на высокую кровать под лоскутным одеялом, бросает с сердцем:

— Сколько раз просил, чтобы выбросили эту мерзость! Как горох об стену... — И сразу, подбрав, снова повернулся ко мне. Со смехом: — Оказывается, наши виолончелист и таперша — муж и жена! Смешно, правда? Музыкант женат на музыкантше! — И словно прикинув что-то в уме, добавляет: — ...Поэт женат на поэтессе. Смешно!

— Разве? Роберт Браунинг был женат на поэтессе Элизабет Баррет. Она в ту пору была знаменита, а он только еще тянулся к клави. Впрочем, Гумилев раздражало, что его Аннушка «тоже пишет стихи». Отчасти потому они с Ахматовой и разошлись.

Это было в полосу очередного нашего «разрыва»: неожиданный шаг к примирению.

А через несколько дней здесь же, за кухней, Сергей вдруг сказал мне — без видимой связи с темой разговора:

— Вам нужно, чтобы я вас через всю жизнь пронес, как Лауру!

Бог ты мой, как Лауру! Я, кажется, согласилась бы на самое короткое, но полное счастье — без вечного нарочитого мучительства. Так оно шло у нас всегда: повод к ссоре выискиваю я, первый шаг к миру делает Сергей (ему проще, знает: сколько бы я ни еренилась, а люблю неизменно...).

Оба эти разговора — о двух музыкантах и про Лауру — мне вспомнятся при другой нашей беседе: месяца через два, с глазу на глаз, в его комнате в Богословском переулке.

— Никогда мне не лжешь? Нет, лжешь! — укоряет Сергей. — Говоришь, что я тебе дороже всего на свете, что любишь меня больше жизни. Нет, больше всего на свете ты любишь свои стихи! Ведь ты для меня не откажешься от поэзии?

Мне стало смешно. Когда это я говорила, что «люблю больше жизни»? И говорила ли? Это он сам себе говорит — знает сам, без моих уверений. Я взвешивала в уме и ответила:

— Люблю тебя больше всего на свете, больше жизни и больше своих стихов. Но стихи люблю больше, чем счастье с тобой. Вот так!

— Что ж, это, пожалуй, правда...

А у меня гвоздило в мозгу: но почему, почему ему нужна эта жертва? Чтобы я бросила стихи! Точно они не часть меня самой! Ведь не потребует, чтоб руку себе отрубила?

Не уберегли

В тот вечер, едва вступив в зал, я в самом воздухе ощутила душную тяжесть. В углу, в ложе имажинистов, одинокий, словно брошенный, сидит Есенин. Одна рука забыта на спинке дивана, другая безжизненно повисла. Подхожу ближе. Мерно катятся слезы, он их не удерживает и не отирает. Но грудь и горло неподвижны. Плачут только глаза. Поднимает взгляд на меня.

— Вам уже сказали? Умер Блок!

Шум голосов подступает ближе:

— Лучший поэт наших дней. Не уберегли... Стыд для всех... для всех нас!

И чье-то равнодушно-философское:

— Сорок лет! Для русского поэта не так уж мало. Пушкину было тридцать семь.

— Только ли для русского?

Посыпалось:

— Байрону — тридцать шесть...

— А Кольцову — тридцать три...

— Шелли — тридцать...

Китсу двадцать пять. Моложе Лермонтова!

— Годы поэта... Их разве цифрами мерить?

Это в нас бросил Есенин.

Еще о Маяковском

А вгуст двадцать первого. «Стойло Пегаса». Ложа имажинистов. Кто-то указывает:

— Смотрите, какая вошла красивая пара!

Есенин:

— А я не знаю, что это значит «красивый человек», «некрасивый». Лица для меня бывают «умные», «острые», «тупые», «добрые», «выразительные»... Маяковский прекрасен!

По большому счету

Год двадцать первый. Осень. Сажу с Мандельштамом во втором зале СОПО. В зеркало вижу, входит Есенин. Легкий кивок, брови сдвинуты. И садится за соседний столик. Один. Я к нему спиной. Мандельштам увлеченно продолжает очередную тираду: о Петрарке или о Данте? Я жадно слушаю. Есенин вдруг вскакивает, обходит мой стул и, картинно став перед моим собеседником, смотрит сощуренным глазом ему в лицо. Затем, сделав дальше полшага, бросает уже через плечо, как бы мимоходом, но веско:

— А вы, Осип Эмильевич, пишете пла-а-хические стихи!

Мандельштам вспетушился, рванулся вскочить. Но устоял, усмехнулся... Есенин прошел дальше — в комнату правления.

— С чего это он? — И, пожав плечами, Осип Эмильевич возвращается к своему кофе и к теме. Однако наш разговор уже не вяжется. Я расстроена и плохо слушаю.

Но, возможно, этот случай запомнился мне так отчетливо только в связи с дальнейшим. Через неделю, с глазу на глаз со мной, в домашней обстановке, Есенин сказал убежденно:

— Если судить по большому счету — чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама.

(Отмечу попутно: в живой речи у Есенина часто звучал этот эпитет: «прекрасный»...)

— Зачем же тогда...

И я с укором напоминаю Есенину его давешнюю выходку.

— Ну, то... То было как бы в сшибке поэтических школ.

Сшибка школ! При чем она тут? Пустой ресторан не страдал. Просто ревность — не мужская, нет: ревность к вниманию младшего поколения поэтов.

Мне вспомнилось, как полугодом раньше Мандельштам говорил:

— Имажинисты! Образ!.. Да им лишь бы почуднее накрутить. «Корень квадратный из четырех», где можно просто «два».

На мой вопрос, относит ли он это и к Есенину, сказал:

— К нему особенно — о прочих и судить-то не стоит... А Есенин... Ему ведь нечего сказать: стоит перед зеркалом, любитесь. «Смотрите: я — поэт!»

Справедливость требует отметить: Есенин сумел, преодолев личную неприязнь, высоко оценить далекую ему поэзию Осипа Мандельштама. А тот... Да, верно: у Есенина не раз прозвучало это тематическое «смотрите, я — поэт!». Но не в этом же суть его творчества. То, что делало Сергея Есенина поэтом всенародным, Мандельштаму осталось чуждым, не вошло в его сознание!

Перевертни

Поздняя осень двадцать первого. Есенин в тот вечер ждал меня к себе. Заранее было договорено. ...Пристраиваемся рядом у «буржуйки». В топке сложены короткие, не слишком сухие полена. Сергей торопится их разжечь — не горят. Я считаю себя классным истопником. Пытаюсь взять дело на свои руки. Он не пускает: «Замажете ваше красивое платье!» Платье не мое, мамино. Я невольно покраснела. Отмечаю в уме: я, женщина, не всегда-то примечу на другом обнову. А вот Есенин!..

Печка все еще упрямится. Сергей наконец уступил, выгреб все из топки, дал мне уложить по-своему — и дровешка и растопку. Подношу спичку — и

все дружно занялось. Полилось тепло, потекла беседа.

— Вот посмотрите, — сам себя перебил Есенин. — В письмо получил, от Хлебникова.

Стихи. От руки, но очень четко. Велемир Хлебников. О Стеньке Разине. Читаю.

— Ничего не замечаете?

— ?

— А вы попробуйте прочесть строку справа налево. Каждую.

— Ого! То же самое получается!

— Печатать не стану. Деньги pošлю — он там с голоду подыхает, а печатать не стану. Это уж не поэзия, а фокус.

Я завелась в яром споре. В поэзии все фокус. И рифма фокус. И размер фокус. Доводы мои так и сыплются. А сонет, а баллада или рондо, онегинская строфа? Или, думаете, не было фокусом для римлян, когда Гораций преподнес им на латыни алкееву строфу? Захотел поэт писать «перевертнями» — это его право, а наше дело читать и дать людям прочесть.

Я не знала в те дни главного: «перевертня» не Хлебниковым измышлены, это старый прием, есть у них и свое греческое наименование: палиндромон (то есть «бегущий вспять»). Из древности идет. Но доводы Есенина и вовсе просты.

— Велемир вправе ловчить как хочет, а я вправе поместить в сборник или выкинуть.

— А вот и не вправе, — гну я свое. — Поэт, большой поэт честь вам оказал, предложил напечатать свои стихи! Да разве хуже стали стихи, что можно их и наизусть прочесть?

— Я ему не мешаю, может выкручивать, играть словами... По мне это не поэзия. Ей тут тесно. Нечем дышать... Не обязан я печатать!

— А вот обязаны!

— Да почему?

— Потому что за свои стихи он отвечает сам.

Меня понесло. Я как с цепи сорвалась.

— Деньги голодному пошлете. В подачку! Как собаке кость. А стихи не принимаем!.. Так, так его оскорбить!

Я уже не говорю, в крик кричу.

Мы оба давно стоим. Друг против друга. Есенин иссераблен. А я с яростью ему в лицо:

— Хозяин издательства, хозяин лавки книжной, хозяин кафе, вообразил себя хозяином л-л-литературы!

— Однако хорошенького вы обо мне мнения.

Это с крутым спокойствием бешенства.

Я уже в пальто. Чувство вины в душе. Хочется броситься на шею, покаяться. Мешают вздорное самолюбие и упрямая задиристость. Уже остывая, сознательно бросаю через плечо последнюю рассчитанную к добру фразу (пусть простятся мне за нее все прежние злые слова):

— Знаю, и с деньгами не поторопитесь!

Расчет оправдался. Через два дня в «Стоиле» я сидела одиноко поодаль от «лужи имажинистов», когда Есенин — через официантку — предъявил мне бумажонку: квитанция на высланные деньги.

А «перевертня» Хлебникова так и не были напечатаны в очередном сборнике имажинистов.

С Коненковым

Ноябрь двадцать первого. Я сижу с друзьями в «Стоиле Пегаса». Входит рослый, плотный человек с густой длинной черной бородой — ни дать ни взять Стенька Разин. Я сразу узнала его: скульптор Коненков. Я видела его не раз на его же выставках, в студии на Пресне.

Кто-то подходит ко мне:

— Надя, вы вроде бы знаете по-английски?

— Знаю, да не слишком.

— Ну, хоть как-нибудь. Тут иностранные корреспонденты хотят о чем-то расспросить Коненкова.

Пересаживаюсь за их стол. Коненков явно меня не признал. С английским справилась лучше, чем ожидала. Коненков не хочет меня отпускать, даже предлагает поехать с ним в Америку в роли его переводчицы. Я отклоняю — где мне! Да и чем дело кончится?... За борт, в набежавшую волну? Общий смех.

— А хотите, познакомлю вас с Сергеем Есениным? Мы вот с приятелем едем к нему сейчас (имени приятеля он мне не назвал).

Я ухватила за предложение — забавный получится розыгрыш!

...Итак, едем на извозчике в Богословский переулок.

Коненков начинает меня представлять поэту, мол, замечательная девушка, а по-английски так и чешет!..

Но Есенин сразу заграбастал меня:

— Ну, молодец, не сердись больше? — У нас была перед тем нешуточная ссора.

На этом, однако, розыгрыш не остановился. Что было далее, я вспоминаю сейчас со стыдом. Уж я ль не чтала замечательного скульптора! И все же позволила себе вновь и вновь подшучивать над ним.

Располагаемся в большой длинной комнате (спальне Мариенгофа). Меня Сергей властно усадил с собой рядом на узком диванчике. Продолговатый стол. Напротив нас — Коненков с другом. Коненков узнает, что его «переводчица» занимается не только языками, но еще и поэтесса. И поучает: женщинам стихи писать ни к чему! «Вот он (тычет пальцем в Есенина) — он и за себя и за вас все выразит! А женщины писать не должны!»

Вот оно как! Женские стихи заранее осуждены! Нет Анны Ахматовой, не было великой Сапфо!

— Вы все-таки прочтите ему свои стихи, — вступает за меня Есенин. — А ты послушай: она хорошо пишет. И не по-женски!

Ох, эта сомнительная похвала! Начинаю:

— Посвящается Рюрику Ивневу.

Не плевайся бранной славой,
О красавец молодой,
Не бросайся в бой кровавый...

И так далее.

Отзыв Коненкова снисходителен. Да, очень мило, но все же... не надо вам писать: Сергей и свое и ваше выразит лучше.

Я, конечно, понимаю, что прибегла к запретному приему: одно и то же для разного времени звучит по-разному... Но слишком велик был соблазн немножко отомстить за отказ женщинам в праве на творчество. Однако заготовленную концовку Есенин мне скомкал.

— Ты, Сергей Тимофеевич, Пушкина признаешь? — спросил он.

— Пушкин! Пушкин это был, Пу-ушкин!

Есенин: — А ведь она тебе Пушкина прочитала...

Божественный напиток

На улице зима. В моем чулане тоже. Я вмиг растопила печку — кирпичную самоделку, накрытую чугунной плитой. Стало сразу тепло. Чайник вот-вот закипит. Но от чая Сергей отказывается, просит воды. Новая задача: в кувшине в углу чулана не вода, а лед. Через минуту, отогрев,

наливаю стакан. Сергей жадно глотает эту едва оттаявшую воду. И рассказывает мне восточную притчу: о богаче, избалованном всеми благами мира.

— ...И однажды поддели ему утолить жажду что-то новое.

«В жизни не пивал ничего прекраснее,— сказал он, великий знаток всех вин на свете.— Божественный напиток! Как он называется?»

И ему ответили: «Вода».

Ленинградские имажинисты

Год двадцать четвертый, апрель... Стук в дверь. Входит Владимир Ричиотти (в прошлом матрос, революционер, сегодня «воинствующий имажинист»). Начал застенчиво:

— Пройдемте в столовую. Мы будем сейчас все читать стихи... Обсуждать... Есенин велел мне привести и вас.

Все на месте. Идет чтение, потом разбор. Критикуют робко, поверхностно. Боятся, что ли, задеть друг друга? Где же их воинственность? Истинно живым и веским словом легло замечание Есенина:

— Поэзия не терпит лжи. За ложь всегда отмстит.

Что еще запало мне в память из той беседы? Эрлих завел речь о «Письме матери», мною еще не слышанном. Есенин успел прочесть его своим ленинградским приверженцам раньше, без меня. Тем внимательнее вслушивалась я в дальнейшее. Есенин заговорил о бабушке, которая его растила с двух лет, заменив малышу родную мать, Татьяну Федоровну Есенину. О ней, о бабушке, поэт рассказывал с глубоким чувством. Запомним же это имя: Наталья Евтеевна Титова, женщина, согрешившая материнской лаской сиротливое детство маленького Сережи. Мне вспомнились тогда слова, сказанные дедом Титовым зятю: «Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил». Однако же за все годы дружбы и близости моей с Есениным я не слышала от него ни слова осуждения отца. Напротив, он даже уверял меня, что как раз отцу обязан своим поэтическим даром: тот любил стихи и сам сочинял частушки. Однажды Есенин прочел мне две-три из них. Как я потом жалела, что не постаралась их запомнить!

Ну, а мать, по его словам, любила народные песни, знала их множество, распевала. И знала наговоры от всех бед, какие только могут выпасть человеку.

В Доме Лассаля

Четырнадцатое апреля двадцать четвертого... Сиджу за столом, гоню заказ Сметанича (Валентина Стенича): перевод Честертона «Жив человек». Выйдет под его именем, гонорар пополам. Да, таковы были тогда литературно-издательские нравы!

Мою работу прерывает Есенин. Входит, приглашает поехать «со всеми» (то есть с группой ленинградских «воинствующих имажинистов») на его вечер в Доме Лассаля. Мне и самой хочется. А уж это его «непременно, непременно!» прозвучало для меня приказом.

На эстраде Есенин один, его свиту усадили в ложу. Он не сразу приступает к чтению стихов. Сперва разговор с аудиторией. Сказать по правде, довольно бессвязный. Говорит он примерно следующее: страна на новом пути, вершится большое и небывалое, а вот он, Сергей Есенин, на распутье, не знает, чего требует от него поэтический долг, чего

ждет родина от своего поэта. «Понимаете, я растерян, вот именно, растерян». Слова о растерянности прозвучат не раз и не два. Оратор топчется на месте. То встанет, то снова подсядет на эстраде к столу, боком к слушателям. Те в нетерпении. «Да уж ладно,— кричат из зала,— все понятно, почитайте лучшие стихи».

Это было то, что М. Ройзман назвал в своей последней книге «неудачной первой половиной вечера». Но, возможно, неудачное начало определило тем больший успех выступления: стихи Есенина прослушаны были с жадным вниманием, с восторгом. Туман рассеялся, поэт читал с подъемом и при огромном ответном жаре аудитории. Не помню, что именно было прочтено — для меня все уже знакомое, верно, потому и не запомнилось. Я хотела в тот час понять, почему он так настойчиво звал меня. Просто ли заговорила все та же «неизжитая нежность»? Или так уж дорого казалось присутствие каждого благосклонного слушателя? Он опасался холодного приема — ленинградцы слымут в Москве поборниками классицизма... Но «недоброжелатели», если они ему чудились, предпочли сидеть дома. Так или иначе это была большая победа поэта. Он сошел с эстрады с сознанием, что город — Петербург его юности — покорен.

Возвращались всей дружной поэтической семьей. Подрядили двух «центавров» (то есть извозчиков), собирались рассеяться, когда к Сергею пробилась женщина с просьбой об автографе — невысокая, лет сорока, невзрачная... Назвалась по фамилии: Брокгауз:

— А... словарь? — начал Есенин.

— Это мой дядя!

— Едем с нами! — Вольф Эрлих спрашивает Есенина, зачем ему это понадобилось.

Ответ несколько неожиданный:

— Знаешь, все-таки... племянница словаря!

Забавная шутка? Да, все и впрямь рассмеялись. Смеялась и я. Смеялась и думала: а не отразила ли шутка живущую в Есенине отчаянную жажду славы? Жажду, без которой он не стал бы тем, кем он стал.

В тот час я взвешивала мысленно, в какой мере эстрадному успеху Есенина способствовало обаяние его личности. В большой, очень большой. Но несомненно и обратное: обаяние личности росло и крепло под воздействием поэзии Есенина, близкой каждому, ясной... и тревожащей. Как беззакатный свет северного лета.

ЗАВТРАШНИЕ ПРОБЛЕМЫ?

*Беседа с членом-корреспондентом
Академии педагогических наук СССР
В. Г. БОЛТЯНСКИМ*

Фото Л. Шимановича



П

оржественно прощаясь, покидая ее навсегда в 15 или 17 лет, мы ведь не задумываемся, что обязательно придем к ней опять. Мамами-папами, бабушками-дедушками... Мы возвращаемся. Мы вновь проходим шаг за шагом ее ступени дважды, трижды, четырежды в жизни. И пусть всякий раз заново переосмысливаем ее проблемы, да и проблемы эти меняются — они так или иначе всегда с нами. Мы можем в какой-то момент рассердиться на одного учителя или на всю школу целиком, но отвернуться от нее мы не можем.

...А знаете, ведь возвращаться сюда лучше всего учителями. И чем скорее мы это поймем, тем раньше увидим ее, нашу школу, такой, какой хотим видеть.

Однако есть и сегодня люди нешкольных профессий, озаботившиеся школьными проблемами профессионально. Это специалисты из различных областей науки, вовлеченные в процесс компьютеризации обучения: электронщики, программисты, психологи, социологи...

1 сентября 1985 года вся советская школа шагнула на первую ступень реализации программы всеобщей компьютерной грамотности: в старших классах началось изучение информатики. А в сентябре 1987-го «первый эшелон» выпускников средней школы, прошедших курс новой науки, придет на заводы, фабрики, в аудитории вузов. Будет ли отличаться выпускник-87 от выпускника-85 чем-то более существенным, нежели просто расширение кругозора еще на один школьный предмет? С этим и другими вопросами я обратилась к члену-корреспонденту Академии педагогических наук СССР, энтузиасту компьютеризации школы Владимиру Григорьевичу Болтянскому.

В. Б. Введение в школе основ информатики в какой-то степени повлияет на стиль мышления человека. То есть молодой человек станет немножко иначе мыслить, прежде всего благодаря тому, что научится формально описывать последовательность своих действий в любой ситуации, даже в быту. Скажем, при переходе улицы уже проступает схема «если — то, иначе — это», положенная в основу любого алгоритмического языка. Компьютер, доступный школьнику, способен с огромной скоростью выполнить десятки миллионов операций для достижения цели, поставленной в задаче. Но вести его к этой цели может только программа, написанная самим школьником в виде 30, 40, 100 инструкций (команд) и построенная алгоритмически однозначно на каждом этапе. Вот этому прежде всего и учит информатика в школе.

А когда школьник овладеет этим новым стилем мышления, то, придя на производство даже учеником, сможет более четко анализировать и принимать решения по поводу, скажем, сбойных ситуаций на своем участке. А уж став руководителем, сможет, наверно, успешнее управлять целым технологическим процессом. Значит, первое, что мы отмечаем для абитуриента-87, — это повышение, так сказать, культуры мышления. Поверьте, это немало, очень немало.

Корр. Я с интересом листала учебник информатики и радовалась уже самому факту его появления как символу прихода информатики в школу, а вот дочери моей и ее сверстникам-десятиклассникам этот учебник не нравится.

В. Б. Насчет учебника и у специалистов существуют разные мнения, большинком этим учебником недовольны. Основной его недостаток, на мой взгляд, в том, что он построен на основе языка, специально придуманного для экспериментального обучения. Конечно, очень увлекательно придумывать язык, но обучать этому языку 4 миллиона школьников, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Языки программирования в мире существуют разные. Наиболее распространенные из них — ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, ПЛ, БЭЙСИК и другие, выдержавшие, так сказать, конкуренцию. Обещают нам сегодня новый перспективный язык — ПРОЛОГ... А что произойдет с выпускником школы, пришедшим на любой вычислительный центр? Обнаружится, что того языка, который он изучал в течение двух лет, ни одна ЭВМ «не понимает». То есть извольте учиться заново, если хотите работать.

Между тем все зарубежные страны, в том числе и социалистические, используют на первом этапе обучения язык ЛОГО, который признан наиболее удобным и позволяет быстро переходить на другие языки. Я думаю, нам не следует пренебрегать этим опытом.

Корр. Теперь, Владимир Григорьевич, хотелось бы поговорить об учителе, преподающем основы информатики: новый это человек или мы его уже знаем, специалист он или наскоро «переобученный» дилетант? И может ли он сегодня если не дополнить учебник, то хотя бы донести его до ученика?

В. Б. Конечно, здесь серьезные проблемы. Ну, давайте считать: 4 миллиона девятиклассников по нашей стране — это примерно 100 тысяч классов. Если даже преподаватель ведет 2—3 класса, нужно 30, примерно, тысяч преподавателей. Откуда они вдруг к первому сентября возникли? Были повсеместно организованы краткосрочные курсы, в основном для учителей математики и физики. Фактически окончившие их учителя сегодня находятся на положении старших товарищей, которые вместе с учащимися овладевают этой новой наукой.

Корр. А кто обучал учителей?

В. Б. Специалисты из институтов, вычислительных центров — профессионалы. Но, видите ли, для того, чтобы обучавшиеся на курсах действительно овладели этой специальностью, во-первых, было слишком мало времени, а во-вторых, мало практически доступной техники. То есть их учили часто «на словах», и они теперь учат «на словах». Пока. И если я буду в этой беседе в дальнейшем ссылаться на успехи экспериментального обучения, которое мы проводим в 104-й и 693-й школах Москвы, то, конечно, надо учитывать, что условия там значительно превосходят средние. К примеру, у меня есть не просто доступ к ЭВМ, но и свое пространство на диске, где я могу хранить специальные задачи для обучения школьников, написанные в виде программ и отлаженные нашими сотрудниками. Какие это задачи? Ну, скажем: должожитель, го есть человек, проживший более 100 лет, заметил, что если к сумме квадратов цифр, составляющих его возраст, прибавить еще число дня его рождения — получится его возраст. Вопрос: сколько лет должожителю? На первый взгляд это просто занимательная задача, и решать ее можно без компьютера. Только нужно перебрать до-

вольно много цифр в соответствии с некоторыми логическими условиями; в результате решение займет несколько десятков минут даже у хорошего ученика. Что делает здесь компьютер? Он берет подряд все числа от 100 до 999 и для каждого из них проверяет условие целиком, пока не найдено нужное число — возраст долгожителя. Для компьютера все решение составляет секунды, и выгода его применения здесь очевидна. А главное — составить для него программу на это решение по силам даже среднему ученику. То есть с помощью компьютера мыслительная активность учащегося усиливается и увеличиваются его интеллектуальные возможности.

Корр. Но если это получается за счет сложения их с интеллектуальными возможностями компьютера, то такая позиция, по-моему, просто опасна. Потому что ученик всегда будет на этот «костыль» рассчитывать и мало тренировать свой мозг.

В. Б. Нет, наоборот. И у нас есть тому доказательства. Вот уже в течение восьми лет мы проводим в одной из школ Еревана эксперимент. Даем детям в младших классах не компьютеры, конечно, — непрограммируемые калькуляторы на четыре арифметических действия. И даем их с первого класса, когда дети не знают еще ни таблицы умножения, ни других простых вещей. Первой реакцией было «восстание» родителей, многие хотели забрать своих детей из этой школы: как же, их здесь изуродуют, они даже считать не будут уметь! А знаете, что получилось в конце, так сказать, «на выходе»? Получилось, что эти «экспериментальные» дети лучше считают устно, лучше логически мыслят и быстрее решают задачи по сравнению с детьми «нормальными».

Корр. Отчего же, по-вашему, это происходит?

В. Б. По-моему, все зависит от методики. Можно дать ребенку калькулятор, научить им пользоваться — и дальше пусть делает с ним, что хочет. Вы ему: «Сколько будет 5×5 ?» А он: «Сейчас посмотрю». И получается тот самый «костыль», о котором вы говорите. А можно по-другому. Например: один считает устно, другой проверяет его на калькуляторе, при решении следующего примера они меняются. Когда учитель диктует классу условие задачи, ребята ничего не пишут, только нажимают клавиши, а он, пройдя по рядам, проверяет ответ, который они получили на калькуляторе. Если ответ правильный, значит, и решение было верно, потому что последовательность действий с калькулятором отражает логику решения. Можно потом с классом эту логику обсудить, но само решение заняло минимум времени! Дети ведь пишут медленно, считают медленно, а здесь им ничего этого не нужно — только логика, только мыслительные возможности.

Корр. А все-таки, наверно, страдает тренированность детей в устном счете. Пусть по сравнению с компьютером это черепаха, но на ней, как до сих пор считалось, стоят все киты математических навыков...

В. Б. Нисколько не страдает. Достаточно сказать, что в таком классе решают за 20 минут два десятка задач. Обычно же, если учитель в начальной школе решил с классом за урок три задачи с полной записью, он вправе считать, что урок прошел с пользой. Итак, 20 минут дети пользуются калькулятором, а остальное время работают традиционно. Но за время урока через их сознание проходит объем информации, вдвое больший, чем обычно, и в этом процессе постепенно нужное откладывается в «ячейки» таблицы сложения, таблицы умножения и т. д. Одновременно при использовании калькулятором у ребенка складываются начатки программистского мышления,

поскольку прежде чем нажимать клавиши, приходится быстро выстраивать в голове план решения. В общем, мы считаем, что начальная школа — это подготовка к информатике.

Корр. А если ввести компьютеры сразу, с первого класса?

В. Б. Ну, вот вы как разохотились! Между тем пока и калькуляторы с первого класса — только эксперимент. По общей программе предполагается начать их лишь с четвертого. Понимаете, у процесса компьютеризации школы есть ведь масса проблем, которые прежде всего затрагивают преподавателя: он должен на ходу доусваивать материал, должен перестраиваться, должен...

Корр. Так, может быть, мы рано начали этот процесс?

В. Б. Да что вы! Его надо было начать, как говорится, позавчера. Потому мы идем где-то на компромиссы, на перестройку на ходу и т. п. Да, мы начали широко изучать информатику почти без технической базы. Как будет дальше? Конечно, не просто отдельные люди, а большие авторитетные учреждения озабочены и занимаются этим вопросом. Есть, например, такое мнение, что следует ориентироваться на учебно-производственные комбинаты (УПК), где создавать кабинеты электронно-вычислительной техники и в дальнейшем, на их базе, — методические центры по информатике. Это в городах. Но ведь много школ в нашей стране располагается в сельской местности, и для них проблему нужно решать иначе. Здесь мне кажется разумным использовать опыт Англии, где принято остроумное и, по-моему, подходящее для нас решение — компьютерный автобус, то есть тот же дисплейный класс с ЭВМ небольшой мощности на колесах. Этот передвижной класс может по очереди (по учебному плану) обслуживать отдаленные районы.

Корр. Вещь хорошая, бесспорно, но, видимо, недешевая. К тому же возникает проблема проходимости дорог для автобуса с такой хрупкой и сложной начинкой. А уж представить себе, как врываюся в этот автобус заждавшиеся ученики!..

В. Б. Вот тут уж, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Есть у нас такие «бережливые» преподаватели, которые и лабораторные по химии или физике предпочитали бы проводить только «вприглядку», чтобы дети чего-нибудь не разлили или не сломали. А мы вот в своем дисплейном классе исповедуем другой принцип. У нас работают группы по 12 человек — полкласса, по разу в неделю. Конечно, первое, с чего они начали, — это испортили все терминалы, потому что стали нажимать не то, что нужно. Ну, что ж, мы все починили. Мы относимся к этому как к неизбежным «издержкам образования».

Корр. Не должна ли вообще перестроиться психология учителя, рядом с которым появился компьютер — учитель беспристрастный, вводящий игру в обучение, имеющий иную оценочную систему?.. Не настроит ли он, грубо говоря, учеников против живого учителя, не вызовет ли у того ревность к себе и досаду на то, что придется «подтянуться»?

В. Б. Проблема «учитель — ученик — компьютер» волнует психологов и педагогов во всем мире. И, наверно, еще никто толком не знает, как ее решать. В век информатики изменяется само понятие обучения: усвоение знаний уступает место умению пользоваться информацией. Компьютеры развивают новый тип мышления — интеллектуальный, логический, алгоритмический. При этом

они все же остаются средством, хотя и весьма совершенным: решающая роль по-прежнему принадлежит учителю, его интеллектуальной деятельности в процессе обучения детей.

Корр. Но, может быть, действительно обучающие программы, которые будут заложены в компьютеры, не следует распространять на все без исключения школьные предметы? Нужно ли вводить компьютер в преподавание, скажем, литературы?

В. Б. Обязательно. Приведу пример. Изучается творчество Блока. Число вопросов, возникающих у учащихся, будет ограниченным, согласны? Конечным будет и число ответов преподавателя. Вот вам «рецепт», как составить обучающую программу: посадите трех учеников, преподавателя и рядом с ними программиста, который будет отмечать вопросы, ответы, повторы и т. п. и на основании этого живого и творческого разговора строить программу для компьютера. В следующий раз, если появятся новые вопросы, программа будет расширена. Но педагогическое творчество учителя, согласитесь, в ней овеществлено.

Корр. Но ведь эти программы не будут в каждой школе составляться «от конкретного учителя» (что просто бессмысленно — вот же он и сам рядом), а, очевидно, будут составляться однажды и централизованно распространяться. Представляете, какой риск распространить чью-то сухость или бесскрипность! Дорогое удовольствие — учебник, который хочется на уроке отложить в сторону, но еще более дорогое — компьютер, который мы откажемся включать.

В. Б. Что ж, очевидно, для составления программ придется привлечь не одного преподавателя, а многих. И, кроме того, никто не отменяет беседы педагога, личности творческой, с классом в дополнение к учебной программе. Но зато на типичные вопросы и ошибки есть типичные ответы и замечания.

Корр. И все-таки, по-моему, у уроков литературы совершенно противоположная задача — развить у человека неординарность мышления, неоднозначность ответа на вопрос, незаданность какую-то... Вот, насколько я знаю, психологи очень возражают против утверждения, что человек выигрывает с приходом роботов, облегчающих наш труд, механически подающих пищу и полностью заменяющих другого человека. Нет, говорят они, — проигрывает, потому что подтверждение своего бытия, своей личности он может получить только от другого человека, в общении с ним... А может быть, наоборот, тогда и повысится интерес к литературе в школе (который несколько угас в последнее время), если этот предмет как бы поменяется с информатикой своим исключительным положением: сейчас только на уроке информатики есть компьютеры, а потом только на уроке литературы их не будет, а 45 минут будет живое общение. Чем не идея?

В. Б. Да дел с тем, что, по-моему, мы сегодня литературу изучаем неправильно, разбирая образы героев и г. п. Мне кажется, нужно, чтобы все ученики прочитали (это, конечно, проконтролировать), а потом — диспут. И здесь как раз компьютер может взять руководство на себя. Ученики высказывают какие-то свои позиции по поводу литературного произведения, какие-то идеи, пожелания даже...

Корр. Чтобы Онегин не убил Ленского?

В. Б. Ну, например. А компьютер им отвечает.

Корр. Что?

В. Б. То, что ответил бы учитель.

Корр. Но это исключает «горизонтальное» общение учеников друг с другом — только «по вертикали», через преподавателя.

В. Б. Почему? Пусть они совещаются, вырабатывают общую позицию.

Корр. А если они как раз возражают друг другу? Как здесь вмешается компьютер, ведущий диспут?

В. Б. Так ведь в классе есть и живой учитель. И ему, кстати, тоже интересно, что ответит компьютер, потому что заложенная обширная программа объединяет мнения нескольких известных литературоведов, критиков, писателей. Всю эту программу и не «просмотришь» сразу. А на какой-то оригинальный вопрос учеников она может дать ответ, до которого учитель, не в обиду ему будь сказано, и не додумался бы «с ходу».

Корр. Значит, там есть своя база данных, свой банк литературных мнений? Что ж, это уже «теплее».

В. Б. О, здесь открываются такие возможности, которыми, уверяю вас, не следует пренебрегать. И не беда, что компьютер покажется «грамотнее» преподавателя: мы же не обижаемся на таблицы Брадиса, что они «образованнее» математика, или на поезды, что он бежит быстрее пассажира. И потом преподаватель не обязательно должен сам быть энциклопедически образован, как и тренер не должен сам брать рекордную высоту — он должен уметь научить этому ученика.

Корр. То есть уметь стимулировать творчество, так? Но сегодня это умеет лишь идеальный Учитель, тот, кого потом всю жизнь помнят ученики. А тот, что и сегодня «не очень», не сложит ли он охотно с себя полномочия при компьютере, не станет ли просто лишним рядом с ним? Сумеет ли компьютер стимулировать творчество учителя? — вот в чем вопрос.

В. Б. Что ж, возможно, учителю так или иначе придется расстаться с ролью непререкаемого научного авторитета, первоисточника всех истин, но ведь очень серьезна и важна его новая роль организатора учебного процесса. Зато у того Учителя, о котором вы говорите, компьютер, безусловно, будет помощником и место его не займет никогда.

Вот когда по телевидению известный искусствовед А. Аникст рассказывает старшеклассникам о Шекспире, мне думается, от этого не только ученики становятся образованнее, но повышается и уровень культуры преподавателя обязательно! Почему же вы не доверяете компьютеру, он ведь «гибче» телевизора и может компоновать целую дискуссию из авторитетных мнений. Кстати сказать, в этом смысле дети гораздо менее консервативны, чем взрослые. Они охотно вступают в контакт с компьютером, не сдерживают себя никакими ограничениями и поэтому часто бывают более бойкими и быстрыми программами, чем взрослые.

Корр. Конечно, для них это естественное состояние: у них ведь все детство — путь проб и ошибок.

В. Б. А иногда их спрашивают: «Как лучше заниматься — в классе или с компьютером?» — и кое-кто отвечает: «С компьютером лучше: он никогда на меня не кричит».

Корр. А вот мы вернулись к вопросу, по которому недоговорили: не «отобьет» ли компьютер ученика у учителя?

В. Б. Мне кажется, я уже «закрыл» этот вопрос ответом, что учитель должен больше брать на себя функции организатора учебного процесса, а не научного авторитета.

Корр. Но школа еще должна воспитывать детей, формировать личность в ребенке.

В. Б. Обязательно. Знаете, были когда-то прожекты по поводу индивидуального обучения с помощью компьютера, подключенного к центральной ЭВМ через телефонный канал. Но эксперименты, проведенные со взрослыми сотрудниками НИИ, которым была предоставлена такая возможность, показали, что, несмотря на все очевидные преимущества этого режима работы, сотрудники все же испытывали психологический дискомфорт от длительного пребывания вне коллектива. Пришлось искать компромиссное решение в виде «кустовых» терминальных центров, где сотрудники собираются по несколько человек. И у них сохраняется ощущение работы в коллективе. Для ребенка же изолированность от коллектива значительно опаснее. И безусловно, дети должны с компьютером работать в классе.

Корр. Да, но я спрашивала о другом: сможет ли учитель, освободившись от «рутинной» стороны преподавания — проверки тетрадей, диктовки условий и многого другого, — посвятить больше времени и сил воспитанию ребят? Мне кажется несомненным, что с приходом компьютера школьная дидактика сильно пострадает: назидание должно будет уступить наконец место более разумным формам общения. Наверняка уйдет безвозвратно окрик в классе: учительский императив очень проигрывает в сравнении с терпимостью и доброжелательностью компьютера.

В. Б. И еще. Значительно повышается у учителя возможность индивидуализировать обучение. Например, видя на экране дисплея, что ученик делает одну и ту же ошибку — путает глаголы совершенного и несовершенного вида, — учитель, а то и сам компьютер именно этому ученику предложит обучающую программу по данной теме. И весь класс может таким образом работать в индивидуальном режиме, так сказать, по способностям. Слабые не будут тормозить продвижение вперед, они станут догонять индивидуально, но не за счет времени учителя, а «один на один» с компьютером, который к тому же помнит всю предысторию их незнания. И пусть хоть на всех терминалах одновременно сидят все двоечники с 1-го по 10-й класс — компьютеру это безразлично: такая «массовая индивидуальная работа» заложена в самом смысле его существования.

Корр. Владимир Григорьевич, вот эта увлекательная картина преобразованного, совершенно нового учебного процесса, которую вы нарисовали, — как далека она от нас во времени?

В. Б. Я уверен, что это будущее отдалено от нас не десятилетиями, а буквально пятью-шестью годами.

Корр. Но ведь на решение в сжатые сроки такой глобальной для страны задачи должна быть специально ориентирована промышленность?

В. Б. Да, и сейчас есть ряд проектов для наиболее оптимального решения этой проблемы. А школа со своей стороны в короткий срок должна будет, как я уже говорил, буквально на ходу перестраивать методику. Ведь уже за очень короткий период сотни тысяч преподавателей прошли курсы учителей информатики...

Корр. К сожалению, этот количественный показатель не связан напрямую с качеством. Возможно, слишком в спешке все делалось. Во всяком случае, известны курьезные ситуации, когда на эти курсы посылали, например, воспитателей группы продленного дня, других «неспециалистов»... А как вообще, на ваш взгляд, идет реформа школы?

В. Б. Конечно, не без проблем. Одна из сторон реформы — приблизить учащихся к трудовому процессу, другая — обновить содержание предметов, с тем чтобы приблизить их к современному состоянию науки. Лучше, интереснее, содержательнее стала, например, программа по математике.

Корр. А как школа откликается на реформу?

В. Б. Вы знаете, по-моему, школа уже привыкла к тому (я опять о математике), что нас постоянно лихорадит. Был учебник Колмогорова, сейчас учебник Погорелова. И тот, и другой оказались во многом неудачными. Готовится новый. Учителя знают сегодня, что все равно придется переучиваться. Но благодаря учебнику Колмогорова значительно расширился их математический кругозор, повысился культурный уровень, они теперь сами в состоянии оценить достоинства и недостатки учебника, а не следить пассивно за дискуссиями в «верхах просвещения». И это хорошо, потому что нерешенных проблем еще много. Возьмем старшие классы и опять ту же математику. Ведь на самом деле мы должны были сделать как? Пойти на производство, посмотреть, какая математика там сегодня применяется, какая математика нужна современному обществу, провести такую экспертизу с привлечением наиболее компетентных специалистов и в итоге создать новую программу исходя из этих соображений: что-то устарело, а что-то срочно надо ввести.

Корр. Вы говорите о прикладной математике?

В. Б. Не только о прикладной. Например, о понятии вероятности. К сожалению, в новой программе опять его нет. Хотя пора, давно пора: ведь в селекции, в генетике и в современных технических науках понятие вероятности давно применяется. За счет чего его ввести? За счет многого, что мы уже упразднили. Вот раньше было очень большое число сложных уравнений, тождественных преобразований, для решения которых особых знаний не требуется, в основном внимательность и навык. На эти громоздкие преобразования почему-то делался большой упор при поступлении в вуз, и в школе по ним, так сказать, натаскивали. Сейчас их в программе нет. Исчезли и сложные геометрические построения. Взамен этого введено что-то новое. То есть программа постепенно обновляется, это естественно: ведь царивший долгие годы учебник Киселева — я еще по нему учился — был построен, по существу, на базе математики 17-го века.

Корр. Вы задели сейчас еще одну серьезную, на мой взгляд, проблему. С годами нарастает странный разрыв между требованиями вузов к абитуриенту и тем, что (или, может быть, к а к) дает ему школа за годы обучения. Этот разрыв существует, не заметить его нельзя. Я окончила школу 20 лет назад. В наше время с репетиторами в 10-м классе занимались только «безнадежные», сегодня — отличники и хорошисты. Как же так: программа улучшается, а ситуация ухудшается!

В. Б. Могу изложить лишь свою точку зрения на этот счет. После окончания 8-го класса почти половина учащихся уходит в ПТУ для завершения среднего образования и приобретения специальности. Часть идет в физ-матшколы, музыкальные, художественные училища и т. д. Остальные заканчивают свое обучение в общеобразовательной школе, где литературу, физику, математику, химию и прочее изучают в огромном объеме.

Корр. И в наше время так было.

В. Б. Да, было. Но я считаю, что общеобразователь-

ная школа последней ступени в том виде, в каком она существует, себя изжила. Гораздо лучше, если это будут специализированные школы типа подготовительных отделений вузов. Нечто среднее между школой и ПТУ. Чтобы одни готовили, например, в технические вузы, другие — в медицинские, биологические, третьи — в сельскохозяйственные, какие-то — на гуманитарные факультеты...

Корр. Но для этого ведь нужно перестроить всю организационную структуру школы. И еще меня интересует вопрос, будет ли конкурс в эту подготовительную к вузу ступень?

В. Б. Я считаю, что конкурса быть не должно, как его нет сейчас в девятые классы. Но, возможно, дипломы олимпиад, рекомендации педсоветов, кружковую работу следует принимать во внимание.

Важным мне кажется то, что Госкомитету по науке и технике и Госплану легче будет планировать и варьировать число школ определенного профиля в соответствии с потребностями народного хозяйства в специалистах на какой-то период. И есть еще одно преимущество. Если сейчас, скажем, преподаватели физики, выпускаемые пединститутами, независимо от успешности окончания вуза, равномерно распределяются во все общеобразовательные школы, то при такой системе лучшие выпускники пединститутов будут направлены в физ-матшколы, где этот предмет основной, причем зарплата у них там будет выше, чем в школах другого профиля, где физику смогут в меньшем объеме и не столь творчески преподавать менее одаренные учителя. То же и в отношении литературы, истории, биологии, других предметов...

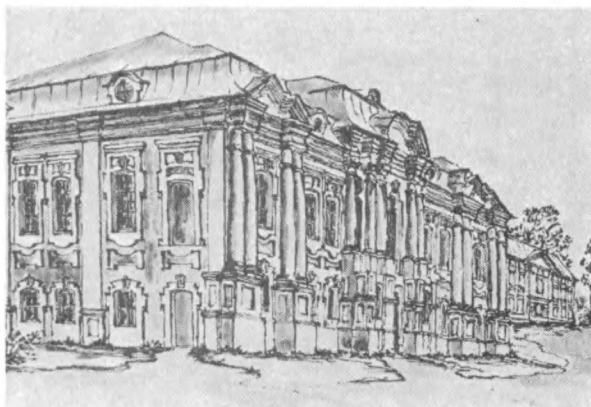
Корр. То есть способных будут учить способные? В этом плане идея, конечно, очень увлекательная. Она уже обсуждается?

В. Б. Это идея моя личная. Но я пытаюсь ее предложить...

Нашу беседу прервал телефонный звонок. А еще через пять минут у Владимира Григорьевича начался урок в экспериментальном девятом классе. Я вышла на улицу из здания Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований, где под руководством В. Г. Болтянского создается лаборатория компьютеризации обучения.

В сквере две малышки важно катили по аллее игрушечные коляски, и одна из них, поправляя куклино одеяльце, озабоченно вздохнула: «А моя уже завтра пойдет в школу...»

Беседу вела
Инга АГЛИЦКАЯ



САВЕЛИЙ ЯМЩИКОВ ПЕРВЫЕ ГРИБОЕДОВСКИЕ...



ти чтения — первые Грибоедовские — состоялись в нынешнем году в древней Вязьме и в селе Хмелита, где прошли детские годы автора «гениальной русской драмы».

От Вязьмы до Хмелиты немногим больше тридцати километров. Дорога, хорошо поддерживаемая, ровная, и «к Грибоедову» можно добраться очень быстро. Но память о прошлом, о судьбах и подвигах людей, родившихся или погибших под этим небом, не позволяет торопиться. Здесь выросла адмирал Нахимов, здесь юный Грибоедов заслушивался вольнодумными речами и проектами жившего по соседству декабриста Якушкина, здесь советские солдаты насмерть стояли в схватках с фашистами. Память о прошлом разлита, кажется, в здешнем воздухе, и особенно остро ощущаешь ее дыхание, когда оказываешься в усадьбе Грибоедовых.

Первое письменное упоминание о селе Хмелита встречается в «Челобитной Сеньки Федорова сына Грибоедова», где он просит разрешения на постройку храма. Челобитная датирована 1783-м годом, но мы знаем, что семья Грибоедовых владела здешними землями с XVI века. Федор Алексеевич Грибоедов, дед поэта по материнской линии, начинает широкое строительство усадьбы в середине XVII века. «Дом господский каменный о двух этажах, с четырьмя флигелями» возводится по проекту талантливого зодчего, чье имя нам, к сожалению, неизвестно. Дворец вызывает в памяти лучшие сооружения Москвы и Петербурга, в том числе творения великого Растрелли. Проводя в Хмелите летние месяцы, юный студент Московского университета Александр Грибоедов часами мог работать в богатейшей библиотеке, восторгаться сокровищами картинной галереи, участвовать в спектаклях домашнего театра. Романтические пейзажи открывались перед его взглядом, когда он гулял по «глухим и открытым

аллеям», сидел на берегу прудов «с саженой рыбкою», а через «хорошие цветники с каменными статуями» попадал в английский парк с мостиками, гротами, ротондами, запутанными тропинками и уютными лужайками.

Всей этой красоты и в помине не было в Хмелите в 1967 году, когда туда приехал крупнейший реставратор архитектуры Петр Дмитриевич Барановский вместе со своим учеником, Виктором Кулаковым. У многих опустились бы руки при виде разрушенной снарядами Казанской церкви и почти наполовину утраченного дворца. У многих, но не у Барановского. Сколько таких руин было восстановлено и возвращено современникам благодаря его умению.

Вот уже почти двадцать лет восстанавливает Кулаков грибоедовскую обитель. Не устает хвалить местных жителей, составляющих костяк его бригады, сравнивая их со старыми мастерами, строившими хмелитскую усадьбу. С благодарностью отзывается о Смоленских реставрационных мастерских, помогающих в трудном деле восстановления шедевров барочной архитектуры. «Миллион рублей потрачено уже на грибоедовскую Хмелиту. На эти деньги несколько коровников можно было заложить. От них отдача налицо — молоко. Но когда усадьбу закончим, отдача тоже видна будет. Сколько людей приедет сюда, чтобы припасть к свежему роднику великой русской культуры».

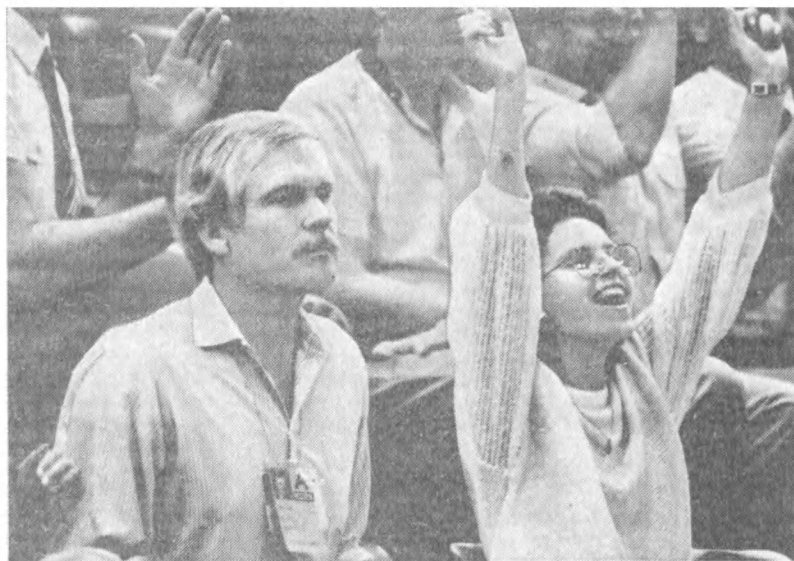
Громкий голос Кулакова звучит уверенно в холодных залах грибоедовского дома. Когда реставратор бережно смахивает иней с ярких изразцов только что восстановленной печи XVIII века, веришь, что скоро зажгутся люстры в комнатах и залах усадьбы, оживут кабинеты и библиотеки, зазвучит музыка в гостиных, и все следующие Грибоедовские чтения пройдут здесь.

«Биография и творчество Грибоедова могут быть разносторонне исследованы только в результате коллективных усилий ученых разных специальностей. Необходим научный центр такого рода исследований, — говорил главный инициатор первых Грибоедовских чтений доктор филологических наук С. А. Фомичев. — Хочется надеяться, что таким центром станет музей-усадьба А. С. Грибоедова «Хмелита».

На снимках: Дворец в Хмелите; П. Д. Барановский и Виктор Кулаков.

НИКОЛАЙ
ДОЛГОПолов

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?..



М

евого августа 1985 года никто толком не знал, как их называть. Переводчики, журналисты, да и сами организаторы путались и запинались, переводя название с английского на русский и обратно: Игры доброй воли? Старты доброй воли? Соревнования на призы Доброй воли? Однако, невзирая на мелкие лингвистические трудности, три постоянных спутника связи в час назначенный спокойно навели телемост: «Останкинская студия — нью-йоркский отель «Астория». Соглашение между американской «Тернер бродкастинг систем» и Гостелерадио Спорткомитетом было подписано.

Через одиннадцать месяцев и даже раньше — 5 июля 1986 года в 21.30 по московскому времени полтора миллиарда людей уселись у телевизоров, а еще 103 тысячи человек — на трибунах Лужников. Почти каждый третий житель нашей планеты бросил или отложил дела, чтобы собственными глазами посмотреть открытие невиданного в спорте состязания — Игр доброй воли.

Итак, надвигалось событие, в период которого спортсменам надлежало соревноваться, организаторам — организовывать, болельщикам — болеть. А нам, журналистам, — получать указания, составлять планы, пробовать аккредитации для себя, билеты для знакомых и еще писать ежедневные газетные статьи с грозной для типографии пометкой: «Молния! В номер!»

Мы, в «Комсомолке», решили все что бы то ни стало начать с Теда Тернера — владельца Ти-Би-Эс и главного вдохновителя Игр с той, американской, стороны. Впрочем, тут и позволю себе сделать абсолютно необходимое отступление. Не быть бы никаким Играм, если бы у нас в стране идею об их проведении не подхватили и не осуществили со всей заботой и умением, на которую мы только способны. Вдумайтесь: организовать состязания по восемнадцати видам с участием звезд первой величины из восьмидесяти государств за какие-то одиннадцать

месяцев! Задача практически невозможная! Ведь в современном спорте, с его на годы вперед распланным календарем, сложно найти отдушину-лазейку даже для крошечного турнирчика. А тут...

Строгие международные спортивные федерации, дрожащие над тщательно спланированными и утвержденными списками своих состязаний, официальный МОК, вначале было усмотревший в Играх доброй воли соперника другим Играм — Олимпийским, — были успешно обращены в нашу и тернеровскую веру. Из всего намечавшегося и запланированного не удалось заполучить в Москву лишь мужчине-баскетболистов: чемпионат мира день в день совпал с Играми, и его было не перенести. Однако и мировое баскетбольное испанское первенство проходило — и совершенно официально — под эгидой московских Игр доброй воли.

Завершая тему, напишу, что в кратчайший для нас временной отрезок были отремонтированы и отреставрированы спортзалы и стадионы, выпущена рекламная продукция, подготовлены такие кадры для обслуживания гостей и участников Игр, что даже погрелись: вот было бы здорово, если бы когда-нибудь они примутся обслуживать и нас с вами...

А теперь — к Теду Тернеру. Его телефон в президентской гостинице «Космоса» — в отличие от моего — безмолвствовал. Подозреваю, что телефон трезвонил, да никто не поднимал трубку. Добытые через десятки руки семь заветных цифр оказались абсолютно бесполезными. Были наверняка у господина Тернера заботы и поважнее, чем телефонные интервью со страждущими журналистами. А в Москву их приехало из шестидесяти стран больше тысячи — по одному на каждого трех участников Игр. И уже это радовало: мир далеко не безразличен к Играм.

Тернер удалось «поймать» на генеральной репетиции торжественного открытия. Он уютно устроился

На снимке: Игры смотрит Тед Тернер.

Фото Т. Георг.

в маленьком загончике, специально отгороженном для него телекомпанией в огромной лужниковской пресс-ложе Тернеру явно нравилось представление, и он не собирался скрывать этого. Вскрикивал с места. Аплодировал. Крепко, с шумом хлопал по плечам своего вице-президента и первого помощника Роберта Вусслера. Весело подбадривал операторов. И одновременно каким-то непонятным манером успевал отдавать команды — четкие, лаконичные, выполнившиеся со скоростью непостижимой. Получивший указание не брал под козырек, зато претворял указание так, словно от этого зависела если не его судьба, то по крайней мере дальнейшая работа у Тернера. А может, я и не ошибаюсь?

Жаль, что надо было отвлечь президента от столь приятного времяпрепровождения. Пробравшись с незначительными приключениями в загончик, я спросил у Тернера об интервью. Он согласился сразу, не ломаясь и не корча из себя сверхзанятого. Попросил, правда, величать его не «мистером Тернером», а Тедом. Условие приемлемое, тоже повлиявшее на мои сугубо личные впечатления о миллионере из города Атланты в штате Джорджия.

В нами же придуманные каноны и представления об американском богаче Тернер никак не вписывался. Выше среднего роста, седоволосый, необычайно подвижный, он отвечал на вопросы мгновенно. Его блестящей реакции позавидовали бы и игроки в настольный теннис. Подвижность, спортивную статью, молодость, работоспособность сохранил 47-летнему королю телебизнеса парусный спорт. Мои заметки — не ода Тернеру. Яхтсмен он действительно великодушный. Выигрывал Кубок США, мировые регаты. Четырежды признавался в Штатах лучшим гонщиком года. А спортивные победы, как и здоровье, ни за какие деньги не купишь.

Манерой говорить он напоминает среднего американца. Никаких высоких слов, дипломатических выкрутасов. Типичная речь простолюдина, склонного к шутке. Однако Тернер, конечно же, не «человек с улицы». Как утверждают в Америке, он «стоит 300 миллионов долларов и даже больше». Забавно, но чисто житейские денежные вопросы в Москве Тернеру решать было сложно. В Соединенных Штатах люди редко расплачиваются наличными. Томясь в очереди в буфете бассейна «Олимпийский», Тернер не без интереса крутил в руках мятые рубли и трешки, шутя жаловался переводчику:

— Не привыкну к живым деньгам. У нас все чеки и чеки. Хватит ли имеющейся в наличии валюты для расплаты? Хочу купить детям мороженого, а себе полдюжины бутербродов: откуда у вас такой вкусный сыр?

Заметил, что Тернер не привык сковывать себя излишними условностями. Ковбойка, курточка, легкие брюки ему, видно, привычнее строгого костюма, не говоря о фраке. Единственный раз Тернер вышел на торжественную церемонию награждения в красном роскошном блейзере и широченно-вычурном малиновом галстуке. Одарив на лужниковской дорожке чемпионов-легкоатлетов, вернулся в свой загончик на трибуне и тут же разоблачился. Блейзер отправился к настоящему хозяину — исполнительному директору Американского атлетического союза Аллану Касселу, галстук — к кому-то из американских телевизионщиков.

Тернер легкий в общении и, допустим, внешне демократичен. Но что заставило одного из богатейших предпринимателей Америки рискнуть не только несколькими десятками миллионов, но и, бесспорно, для него более важным — общественным мнением? Пару лет назад олимпийский чемпион в тройном прыжке Вилли Бэнкс назвал соотечественника-магна-

та «телевизионным ковбоем». Когда Тернер заговорил об Играх доброй воли и объявил, что собирается предоставить восемнадцати национальным федерациям — предполагаемым участникам состязаний в Москве — свыше 5 миллионов долларов, американские газеты посчитали, что «телековбой упал с лошади и сильно ударился головой о землю». Кое-кто пошел еще дальше, окрестив его «тайным красным» — обвинение для сегодняшней рейгановской Америки серьезнейшее. Бросали в адрес владельца Ти-Би-Эс и менее суровые но не менее обидные слова: Тернер хочет погреть руки на любви американцев к спорту. За 129 часов телетрансляций из Москвы его компания прокрутит кучу рекламных роликов и еще больше обогатится.

Мы говорили обо всем этом с Тернером, и он тихонько посмеивался. Набравшись решимости, замечаю:

— Читал, что вы сказали, будто администрация Рейгана войдет в историю как наихудшее правительство США...

Тернеровская улыбка сразу гаснет.

— Я сказал это в сердцах, — Тернер не хочет вести беседу в тонах категоричных. — Тогда я был страшно разочарован отсутствием всякого прогресса на переговорах по разоружению и в вопросах защиты окружающей среды. Президент Рейган, на мой взгляд, обаятельный человек. У меня есть все фильмы с Рейганом в главной роли. Но я и вправду не связываю с его администрацией никаких надежд на какой-либо прогресс. Целое десятилетие русские и американские спортсмены не встречались друг с другом в больших соревнованиях. Когда это было в последний раз: в 1976-м, в Монреале?

Впервые за всю беседу Тернер задумывается. И говорит медленно, взвешивая каждое слово:

— Мы вместе устроили эти состязания и назвали их Играми доброй воли, чтобы все люди поняли: мир возможен. Мирные соревнования в спорте, мирные дела в жизни. Пусть полтора миллиарда посмотрят Игры, увидят праздник открытия и поймут, что мы правы.

Не ищу символов, но, честное слово, не случайно, что рекордный темп задал и мажорный тон придать Играм лучший пловец и один из сильнейших спортсменов десятилетия, Владимир Сальников. Для многих его рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем был эдаким приветом из небытия. Ведь и люди, считавшие себя верными Володиными друзьями, заявляли: Сальников уже сделал в спорте все, что мог. И даже знаменитый, выступавший Владимира тренер Игорь Михайлович Кошкин отправился из Москвы в Ленинград искать нового Сальникова.

Однако и «старый» Сальников не думал сдаваться. Он лечился, вылечивался, получал травмы и плыл, плыл... Во всем мире остался лишь один самый близкий Володе человек, который ни минуты не сомневался в нем, успевая одаривать любовью и силой. А в сентябре 1985-го неожиданно для многих взялся его тренировать. То была жена Володи — Марина. И начались Игры доброй воли с купания: после установления мирового рекорда рекордсмена и его тренера по традиции бросают в воду. На этот раз купание было семейным.

И второй мировой рекорд Игр доброй воли стал тоже в некотором роде семейным достижением. 7,148 очков набрала в легкоатлетическом семиборье Джени Джойнер из Лонг-Бича, улучшив прежний рекорд сразу на 281 очко. И если имя Сальникова сверкало на спортивном небосклоне бриллиантом первой величины, то Джени Джойнер — пожалуй, главное открытие Игр.

Она родилась спортсменкой и в спорте умела делать абсолютно все. Плавание? Пожалуйста. Теннис? А почему бы и нет? Баскет? И здесь «малышка» Джойнер со 178 сантиметрами роста входила в сборную Калифорнийского университета. А в американском любительском баскетболе этот студенческий клуб — что «Динамо» Киева в нашем футболе.

Случалось, что на студенческих чемпионатах негритянская спортсменка закрывала бреши в шести-

семи легкоатлетических дисциплинах. Частенько приносила домой по подвешенке медалей. Только вот золотые среди них почти не попадались. Джекки хотелось обнять необъятное.

Джойнер потихоньку начала задумываться о будущем. Что лучше — детский тренер или спортивный комментатор? Она любит возиться с детьми, но и вести телерепортажи тоже заманчиво. И тут Джекки очутилась между двух огней. И неизвестно, не горел бы в этом огне неуправляемых, неугомонных и честолюбивых страстей спортивный талант Джекки, если бы не Боб. Известный легкоатлет Боб Кейси славился тем, что всегда мчался к победе самым прямым путем. И если приходилось на повороте пробиваться к бровке, то Боб не жалел лонтей. Вот так же твердо Боб Кейси взялся за воспитание новой ученицы, вскоре ставшей его женой. Никаких бесспорных матчей за университет, теннис и плавание — только для расслабляющей тренировки, а заниматься Джекки будет не всем сразу — лишь семиборьем. Но и здесь Боб железной рукой вел жену по легкоатлетической арене. Меньше прыжков в высоту и длину, которые и так неплохо. Больше толкания ядра и изнурительного бега на 800 метров.

Джекки изнывала от диктата. А вечерами Боб тренировал ее на кухне — учил готовить. Еще несколько месяцев этой жизни, и она бросит, нет, не мужа, тренировки. Но прошло полгода, и Джойнер почувствовала, что стала сильнее, увереннее.

В Москву они ехали уже с мыслью о мировом рекорде. Беспокоило лишь, как там встретят, какие болельщики, что за стадион. Они много читали о Москве в газетах. Прочитанное настораживало...

А вот какими были московские впечатления Джекки:

— Я сразу почувствовала себя хорошо. Уютная гостиница, доброжелательные люди, отличная арена. Не ожидала, что публика настолько тепла и будет так меня поддерживать. Она помогала мне, причём с каждым видом, который давался все труднее, эта помощь в виде аплодисментов и поддерживающих возгласов слышалась мне явственнее, осязаемее. Не уверена, как для других, а для меня огромную роль играет обстановка соревнований. И особенно — их настрой. В Москве он был на все сто процентов олимпийским. После финиша в беге на 800 метров я бросилась обнимать вашу Натали Шубенкову. Она задала такой страшный темп, тянула меня вперед, как на канате. Я бы все равно побила рекорд. Но если бы не Натали, не быть бы ему таким высоким. А ведь Натали старалась только ради меня. Выше третьего места ей было трудно подняться. Игры доброй воли обязательно должны стать традиционными. Впрочем, сомнений в их целесообразности и необходимости и для спорта, и для мира не осталось ни у кого.

Ах, эта милая и наивная Джекки! Было бы все в этом мире так чисто, честно и просто, может, и не было бы тогда десяти лет перерыва во встречах. И не затрачивалось бы всеми, кому дорого спокойное существование, таких грандиозных усилий, чтобы хоть как-то нагнать, наверстать упущенное. Увы, и противников у Доброй воли хватало. И вопреки очевидному, явному они сражались с этой Доброй волей со всей умелой, годами отработанной холодной подлостью, на которую только способны зло, извортливый ум и нагло-живое бойкое перо.

Двести семьдесят пять американских журналистов приехали в Москву. Это ли не доказательство: Игры было никак не замолчать. Надеемся, что все 275 собираются писать о Доброй воле правду, правду и только правду не приходилось. Но то, что делал в Москве специальный корреспондент газеты «Вашингтон пост» Джон Файнштейн, описанию поддается с трудом. Он сразу и резко выделялся среди многоголовой толпы соплеменников. Говорят, все люди рождаются хорошими. Был ли хорошим в детстве маленький Файнштейн? Очень сомнительно. Откуда же в сравнительно молодом, неповоротливом на вид паренке столько ненависти к Играм доброй воли, ко всему советскому? Ну чего он только не придумывал! Или все это воспитанная холодной войной патология? Русские зрители — шовинисты. Соревнования организованы плохо. Судьи подкуплены и подсуживают русским, мешая американцам. Игры доброй воли Файнштейн переименовал в Игры злой во-

ли. На пресс-конференциях он изводил и наших и даже своих бессмысленно-провокационными вопросами. На что спокоен и выдержан был уже упоминавшийся здесь Вилли Бэнкс, но и 29-летний член коллегии калифорнийских юристов вздрогнул, услышав один из вопросов Файнштейна:

— Слушайте, откуда вы все это выдумываете? Я слышал ваш вопрос и чуть не упал со стула. Кто вам такое говорит? Господь бог или на вас нисходит какое иное озарение?

Если озарения и нисходили, то недобрые. Я лично не выдержал, когда Файнштейн обвинил в применении допинга Сергея Бубку, установившего на Играх очередной рекорд мира. Разыскал лгуна и попытался поговорить с ним начистоту. Беседа была настолько же неприятна, насколько и бесполезна.

— Неужели вы считаете себя профессиональным спортивным репортером? — спросил я напоследок.

И тут господин Файнштейн разразился такой tiradой, что я понял: передо мной профессионал, но только в области употребления выражений, называемых у нас нецензурными.

Уверен, подобных «файнштейнов» нам не перевоспитать и не убедить никак. Но были, были другие американские ребята, которые уезжали домой в Штаты с просветленными представлениями о нашей стране и наших людях. В первый день знакомства Брюс Шонфилд из «Цинциннати пост» от интервью наотрез отказался:

— Я не большой сторонник этих Игр. Хотя принимают тут хорошо и речь Генерального секретаря Горбачева звучала на открытии очень обнадеживающе. Дайте немного осмотреться. Вот вишневым сок у вас отличный — это не кока-кола. Еще один стаканчик, пожалуйста. Значит, через недельку?

А через недельку Брюс рассуждал так:

— Мое сложившееся раньше мнение о вашей стране полностью изменилось. Если по обе стороны океана люди будут знать, что повседневная жизнь в наших странах внешне выглядит во многом одинаково, это должно помочь развитию отношений между СССР и США. Игры доброй воли как раз и дают возможность лучше узнать друг друга. Советские люди знакомятся с американцами, а мы в своих репортажах рассказываем о жизни в вашей стране. Конечно, трудно привыкнуть и к существующим между нами различиям. Но они совсем не смертельны. Мы можем жить в мире и ладить.

По-моему, короткая цитата из послания Генерального секретаря ООН участникам Игр доброй воли будет здесь вполне уместна и не придаст моим заметкам излишней официозности: «...Миролюбивые устремления спортсменов должны вдохновлять нас всех... Необходимость в международном сотрудничестве сегодня сильнее, чем когда бы то ни было...» И если так, Игры доброй воли внесли свою лепту в оживление и укрепление этого сотрудничества. Конечно, мосты взаимопонимания навести гораздо труднее, чем перекинуть телемост СССР — Соединенные Штаты. Но и хрупенький телемосточек лучше, чем разделяющая народы пропасть. А ведь можно же подвести под мост опоры крепче, расширить движение...

Ну, а я хотел бы знать, чем занят сейчас Тед Тернер. Возможно, уже планирует, как поинтереснее провести в 1990 году Игры доброй воли-II в Сиэтле? По крайней мере еще дней за восемь до отъезда из Москвы Тед говорил мне:

— Хочу сделать так, чтобы церемония открытия следующих Игр у нас дома выглядела не хуже, чем у вас в Лужниках.

ВИКТОР СЛАВКИН

LOVE STORY

[История любви]

Клара Федотова часто оставалась вечерами на работе. И не потому, что она была какой-то там невозможной передовицей — нет. Она была довольно обыкновенной сотрудницей вычислительного центра, обслуживающего одно из министерств легкой промышленности, старательной, четкой, но не более. А оставалась она после работы, потому что сидеть в светлом, хорошо вентилируемом зале за своим, стоящим у стены столом, в удобном вертящемся кресле, под матовыми лампами, льющими сверху неумотительный, слегка синеватый свет, было куда приятнее, чем идти в свою, похожую на спичечный коробок квартирку, где вечно гудело отопление, через вентиляционную решетку заползал запах жареной рыбы из нижней квартиры, а на потолке цокали каблук соседки сверху, даже под страхом товарищеского суда не желавшей сменить свои старомодные шпильки на мягкие домашние тапочки. Лучше уж здесь, на работе, рядом с большим чистым компьютером, весело мигающим своими лампочками красного и зеленого цветов. И как эти японцы достигают такой кровавой насыщенности и обморочной зелени в сигнальных лампочках своей электронной аппаратуры?.. Смотришь на них, и кажется, что перед тобой не просто сложнейшая, исправно работающая машина — а там за серыми матовыми панелями туго движутся и закипают соки какой-то неведомой прекрасной жизни. Яркие краски, чистые тона, только что прошел дождь, не прекращаясь звучит ритмичная музыка, солнце отражается в зеркальных дымчатых стеклах, бесконечная бодрость и любовь разлиты всюду в избытке, так что и к нам затекают несколько тоненьких струек через красные и зеленые глазки.

Клара могла часами смотреть на этот красно-зеленый балет, но, увы, днем приходилось работать, гнать продукцию, поэтому по вечерам она домой не спешила. И все в отделе к этому привыкли.

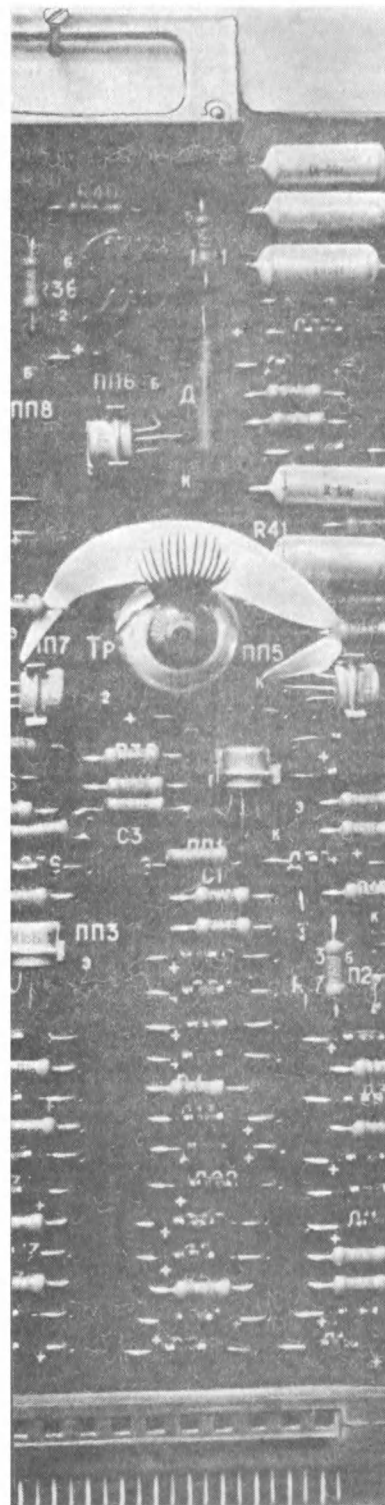
Только с какого-то момента сослуживцы стали обращать внимание на перемены, происходившие с Кларой. Перемены в лучшую сторону. Клара как-то подтянулась, в глазах ее появился блеск, в движениях плавность, все увидели вдруг, какие у нее красивые волосы и белые зубы, потому что Клара переменяла прическу и стала чаще улыбаться.

Особенно хорошо смотрелась она на фоне компьютера. Всякий раз в ее туалете было что-то красное или зеленое — то платочек, то клипсы, брошка или поясок. И казалось, сигнальные лампочки электронной машины светились ярче, когда рядом находилась Клара.

Теперь довольно часто к ней подруливал недавно пришедший в отдел молодой инженер Борька. Черные жесткие кудри его торчали во все стороны, а глаза постоянно бегали, как бы ища в развернувшейся перед ним картине жизни крепкого выступа, надежного заусенца, за который можно было зацепиться глазом. Но гладкая, полированная поверхность этой возможности ему не предоставляла, каждый раз взгляд его соскальзывал с того или иного объекта и неслился дальше, пока однажды не наткнулся на похорошевшую Клару.

Борька стал запускать в сторону Клары банальные мужские петли, мол, не посидеть ли нам после работы в новой пиццерии, или не забрести к одному приятелю на видеомагнитофон?.. Однако новая Кларины красота продолжала набирать силу, оставаясь недостижимой ни для кого.

Однажды Борька попытался ос-



таться вместе с Кларой после работы, но более пяти минут не выдержал в пустом зале. Словно сумасшедший, он выскочил в коридор, пробежал до лифта, но не стал его ждать, а выпал из лестницы и только на улице пришел в себя — что это было?.. Как только все ушли домой и Борька поднялся со своего стула, чтобы подойти к Кларе, его черные волосы зашевелились, стали постреливать электричеством, кожа начала зудеть, как будто прямо на голое тело натянули комбинезон из стекловолнока, воздух вокруг стал сгущаться, пространство сжигаться... И только, повторяем, на улице он очнулся. Ну, и Клариссочка — тыфу ты!

А Клара тем временем, раскрасневшаяся и легкая, стояла у компьютера, его лампочки бешено мигали, бобины лихорадочно крутились, обычно низкое гудение набирало высоту... И Борька там, внизу, на тротуаре, увидел, как свет в окнах стал разгораться, разгораться — и вдруг потух. Борькино сердце екнуло и упало. Сверкнула молния, грянул гром, стекла звякнули, напряглись, надулись, словно паруса, — и опали, как только по ним ударили первые капли теплого весеннего дождя и тяжелыми струями потекли вниз. Борька дунул в сторону пиццерии.

А наутро компьютер ошибся.

Вот вам и хваленая японская техника! Допустил элементарную ошибку, не приняв в расчет коэффициент частоты колебания конъюнктурной линии, определяющий в их отрасли. Был вызван главный специалист с целой бригадой наладчиков. Ребята раскрыли свои чемоданчики, вынули оттуда длинные тонкие отвертки, маленькие острые ломтики, хищные хваткие пассатижи и двинулись к компьютеру.

И тут на их пути выросла Клара.

— Не надо, — сказала она тихим голосом. — Ничего не надо. Я знаю, в чем дело.

— Но, Кларочка... — удивился их старенький начальник.

— Специалистка! — буркнул Борька.

Клара подошла к компьютеру.

— Вчера после работы я оставалась здесь, была гроза, и в этом месте что-то щелкнуло. Вот, — сказала она, выдвинув из компьютера небольшой ящик, — сгорел предохранитель, надо просто заменить проволочку.

Специалист поставил новый предохранитель, его ребята попрытали в чемоданы свои жуткие инструменты и удалились. А Клара,

бледная, дрожащая, села на свое место.

Компьютер больше никогда не ошибался.

Кларе же с тех пор начальник стал поручать самые сложные операции, связанные с компьютером. И всегда она, Клара, выполняла их точно и в срок.

Правда, теперь ей приходилось задерживаться на работе еще дольше. Да она бы вообще не уходила оттуда, ночевала бы там, жила, но каждый вечер часов в девять, обходя коридор, в отдел заглядывал вахтер, и Клара, застигнутая врасплох, отскакивала от компьютера, бросалась к своему столу, судорожно запихивала в сумочку вещи и, не попрощавшись, вылетала из комнаты. Вахтер смотрел ей вслед, затем переводил взгляд на компьютер и думал: «Когда этих шкафов не было, народ-то спокойней был, учтивей...»

Так прошла весна, наступило лето, надвигалась осень, закончился квартал, потом еще один, отдел получил премию, сотрудники ликовали, начальник ходил довольный, и только Клара выпадала из общего торжества. С ней опять что-то стало происходить. На этот раз в сторону ухудшения. Клара снова поблекла, оплыла, в ее одежде появилась небрежность, вместо маленьких коротких платяниц она стала носить серые бесформенные балахоны, надежно скрывающие фигуру. Женщины в отделе понимающие переглаживались, мужчины заговорщицки подмигивали Борьке, он делал загадочный вид, начальник деликатно предложил Кларе отпуск, она взяла его и исчезла.

Но ровно через двадцать четыре рабочих дня Клара как ни в чем не бывало сидела на своем месте, глаза ее, как прежде, в лучшие времена, были подведены зелеными тенями, а постройневшую талию перехватывал красный лакированный пояс. И все, мужчины и женщины, тотчас поняли, что насчет своей молодой сотрудницы они ошибались, просто Клара отдохнула, покаталась на лыжах, подышала свежим воздухом и вновь обрела форму.

Посраженный же Борька сидел, низко склонившись над своим столом, только к концу дня решил, что метнуть быстрый жаркий взгляд в тот угол, где рядом с компьютером обитала Клара.

И сразу заметил там нечто новое. В последующие дни Борька продолжил свои наблюдения.

В руках у Клары появилась какая-то маленькая блестящая штучка, какой-то маленький кубик, на одной из граней которого можно

было рассмотреть кругленькую красную кнопочку. Каждый раз, когда Клара вынимала кубик из ящика стола... впрочем, скорее это был не кубик, а средней величины параллелепипед... лицо Клары прояснялось, в глазах появлялась какая-то мягкость, поволока, и Борька ловил себя на том, что его в Кларе привлекает не только сохранившаяся девичья свежесть, но и возникающий в ней зрелый женский покой. «Теряю форму», — думал Борька.

Клара чувствовала прожигающие Борькины взгляды, спина ее напрягалась, затылок холодел, и она прятала в стол ту самую вещь, бередающий Борькино воображение параллелепипед... собственно, довольно объемный ящик с несколькими рядами кнопок. «Калькулятор! — догадался Борька. — Конечно, калькулятор! Эта Клариссочка, видно, сошла с ума. Мало ей огромного компьютера, небольшой ЭВМ на столе начальни-ка, казенного калькулятора, стоявшего перед ней, — она еще свой, частный завела. Ну, Кларунчик! В науку ударилась». Борька терпеть не мог ученых женщин, требования к образовательному цензу прекрасного пола были у него минимальными — максимум ПТУ, а тут эта ретивая программистка, этот, по сути дела, придаток электронной вычислительной машины, и на тебе — не отпускает! И волосы на голове Бориса становились черней и жестче.

Однажды Клару срочно вызвали к начальству в соседнюю комнату, и она выскочила за дверь, забыв запереть верхний ящик своего стола. Борька тотчас засек это, встал со стула, подошел, как бы по делу, к компьютеру, отгородился от остальных сотрудников спиной, выдвинул ящик Кларино-го стола и взял в руки ее калькулятор.

Первое, на что обратил внимание Борька, это то, что машинка имела вполне ощутимый вес, впрочем, и размеры ее были гораздо большими, чем казались со стороны. На верхней панели располагалось множество кнопочек и клавиш, а также несколько рычажков, назначение которых Борис не понимал. «Интересная модель», — подумал он и нажал кнопку включения. Тотчас на табло загорелись две буквы «игрек» и «а». «Странная формула», — успел отметить Борька, тем временем компьютер пикнул, и буквы на табло побежали непрерывной строкой: «УА-УА-УА...» И тут Борька почувствовал исходящий от большого компьютера сильный жар. Будто вместо японского чуда

стены располагалась обширная русская печь. Рука же Бориса, державшая калькулятор, при этом, наоборот, стала неметь, холодеть, он даже почувствовал на пальцах какую-то влагу... Едва успел он сунуть обратно в ящик то, что без спросу из него взял, и сестра на свое место, как в комнату влетела Клара. Она кинулась к столу, схватила калькулятор, выключила его и, словно почувствовав, что кто-то посторонний касался ее собственности, обтерла машинку мягкой фланелевой тряпочкой.

И хотя, кроме Борьки, этого никто не заметил, Клара поняла, что скоро ей придется предстать перед лицом общественности.

Так и случилось.

Пришло время, когда не только Борька, но и весь отдел заметил у Клары новую вещь. В ящике бывший калькулятор уже не умещался, и Клара вынуждена была выставить его на стол.

Вокруг стола сразу же собрался народ. С пониманием дела разглядывали незнакомую машину, пытались разобраться в принципе действия, спрашивали, какой фирмы... И Клара объяснила, что это она сама вечерами из деталей списанной ЭВМ и некоторых запасных частей их большого компьютера собрала машину собственной конструкции. Вот такая тихая Кларочка! Талант. И что особенно всех поразило, так это то, что в Кларином детище явно проглядывались черты компьютеров следующего поколения по отношению к тому японскому, который работал в их комнате.

Подожел начальник, тоже похвалил. Надо будет обязательно показать нашего молодого изобретателя в телевизионной передаче «Это вы можете»... Клара стояла у стола пунцовая, смущенная всеобщим вниманием, а за ее спиной с несколько большей частотой, чем обычно, мигали красные и зеленые лампочки.

— Кларочка, еще раз поздравляю, — протянул ей начальник сморщенную ручку. — А теперь за работу, товарищи. — И все двинулся по своим местам.

Все, кроме Борьки, потому что со своего места он не вставал, к столу Клары не подходил, не ахал и не расспрашивал, сидел на стуле, вперив невидящий взгляд в чистый листок бумаги, лежащий перед ним.

А наутро в их отдел пожаловал замдиректора по административно-хозяйственной части. Он сразу направился к Клариному столу, поздравил начальника отдела и потребовал, чтобы новая электронно-

вычислительная техника была инвентаризирована.

— Но это наш сотрудник... — залепетал начальник, — в свободное от работы время... Так сказать, самодеятельность...

— А из чего самодеятельность? Из государственных деталей. Время, затраченное на конструирование и сборку, мы ей оплатим. Вы сколько времени затратили? — обратился замдиректора к Кларе.

— Мне ничего не надо, — тихо сказала она.

— Ну вот, — улыбнулся зам. — Сотрудник согласен.

И машину заприходовали.

А через неделю, придя на работу раньше всех, Клара свое творение на столе не обнаружила. Она заметалась по комнате и, как только начальник переступил порог, кинулась к нему.

— Где, где?.. — вопрошала она сквозь слезы. — Где?..

— Что где? — не понял сначала начальник, а когда до него дошло, сказал: — Кларочка, меня попросили передать ваш малый компьютер подшефной школе. На время.

— Как?! Как вы могли?! — глаза Клары наполнились ужасом.

— Но, дорогая, эта вещь принадлежит теперь не вам и даже не нам, а, так сказать, государству. Вы же сами согласились...

В обед Клара помчалась в школу. Она носилась по этажам, забегала в классы, кабинеты, наконец нашла завуча, сказала, что она их шеф, что ей поручено осуществлять, короче, где компьютер?

— Знаете, милочка, преподавание основ информатики только начинается, работа предстоит большая, но пока, что греха таить, дети не умеют пользоваться электронной вычислительной техникой. Но вы не волнуйтесь, мы уже отправили ваш прибор в мастерскую, дети что-то не то нажали...

Клара уже летела вниз, на улицу... такси, такси, умоляю!

В мастерской ей сказали, что случай с компьютером редкий, да и фирма неизвестная, они отдали его на завод, там разберутся скорее.

На заводе Клару встретил мастер цеха. Узнав, что она хозяйка компьютера, мастер отвел от нее глаза, вздохнул и попросил следовать за ним. Пройдя по лабиринту узких полутемных коридоров, они спустились в подвал, согнувшись, проследовали вдоль бетонной стены, увешанной толстыми черными проводами, и остановились перед небольшой железной дверью. Мастер потянул

дверь на себя и вошел внутрь, за ним Клара.

Посередине низкого со сводчатым потолком помещения стоял длинный обитый цинком стол, и на нем были разложены детали, в которых, похолодев, Клара узнала части своего компьютера.

— Остальное мы выбросили, — сказал мастер. — Это самодеятельность какая-то. Теперь будет, как положено.

Клара медленно подошла к столу, бледная и прямая постояла над ним и осторожно двумя пальцами взяла маленькую проволочку, лежащую с краю. Проволочка была еще теплой. А в ее руке стала совсем горячей, засветилась сначала слабым розовым светом, потом покраснела, стала раскаляться, раскаляться...

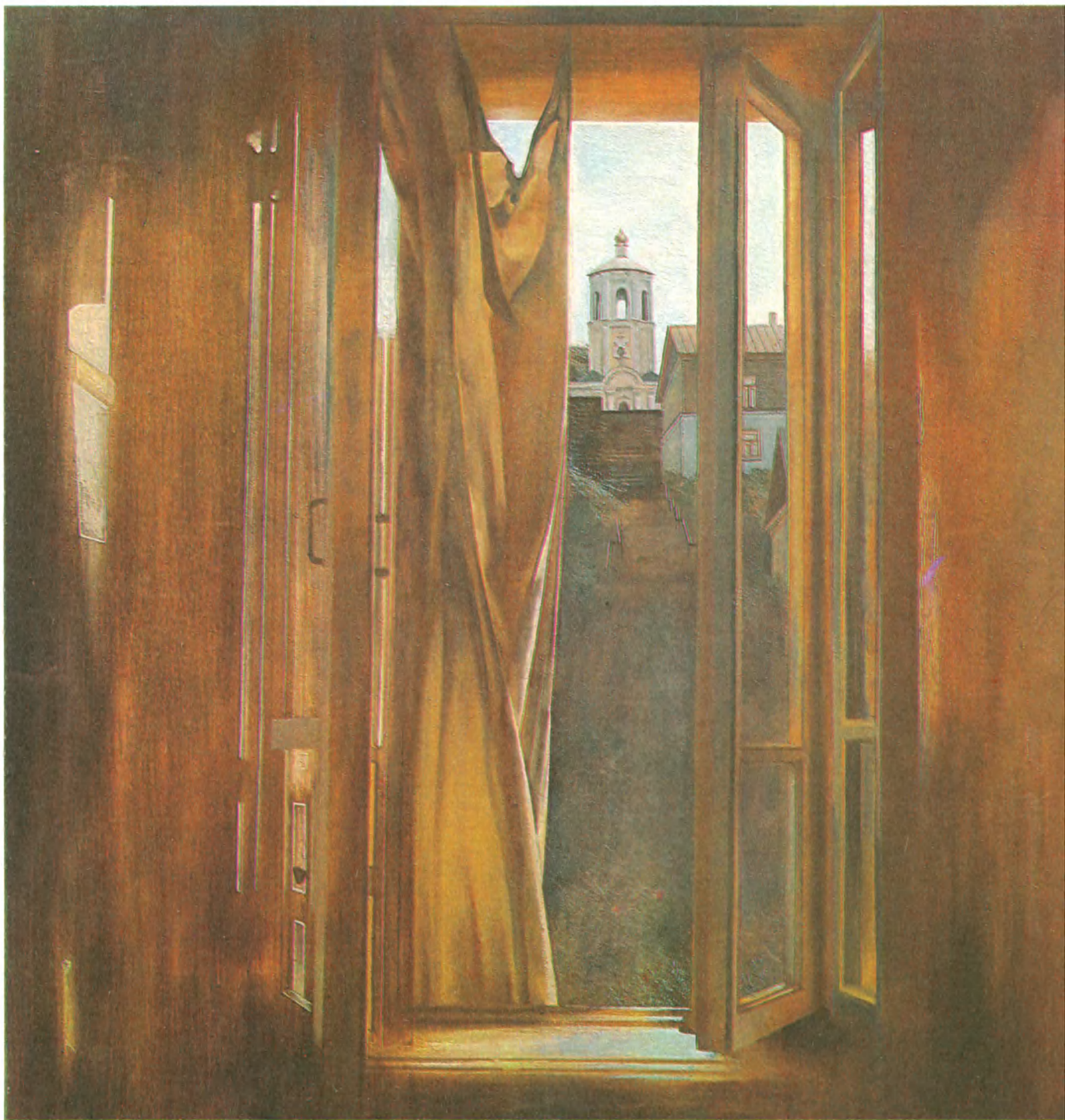
Клара рухнула на холодный каменный пол.

Проволочка выпала из ее рук, отскочила на кучу каких-то пластмассовых коробочек, те вспыхнули, огонь, однако, быстро потушили и вызвали для Клары «Скорую помощь».

Больше в свой отдел она не вернулась.

Прошло время, и, когда начальник ушел на пенсию, во главе отдела совершенно неожиданно поставили Борьку. Он и разыскал Клару в одной богом забытой конторе. Тихая, незаметная, сидела она в углу и считала что-то на допотопных деревянных счетах. На Борькино предложение снова перейти на старое место ответила решительным отказом: нет, нет, ей и здесь очень хорошо. Борька говорил, что им в отдел поставили новый компьютер, с тем, старым, что-то произошло, он сгорел, а новый еще более совершенный, однако прост в обращении... Нет, нет, Клара даже слушать не хочет.

Рабочий день кончался, они с Борькой вместе вышли на улицу и спустились в метро. Борька кинул в автомат двугривенный и, получив четыре пятикопеечные монеты, две сунул в карман, одну из оставшихся взял себе, а другую протянул Кларе. Но Клара уже направилась к маленькому окошечку, в котором когда-то давно, в незапамятные времена, продавали биеттики, а теперь разменивали бумажные деньги. Клара достала из крошечного кошелька десять копеек, протянула их в окошечко пожилой женщине в форменной куртке. Женщина улыбнулась и выдала Кларе два пятака.



А. ВОЛКОВ.

Торжок. Бабье лето.

«Юность». 1986. № 10. 1—112.
Индекс 71120
Цена 70 коп.

